АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
XIV

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1965

СОДЕРЖАНИЕ

А. К. Матвеев (Свердловск) Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. М. Щербак (Ленинград). Лингвистические заметки. 16
А. В. Десницкая (Ленинград). Древние германо-албанские языковые связи в свете проблем индоевропейской ареальной лингвистики 24
А. В. Бондарко (Ленинград). Об относительном и абсолютном употреблении времен в русском языке (в связи с вопросом о «темпоральности») . . . 44
Г. А. Хабургаев (Москва) О фонологических условиях развития русского аканья 55
С. К. Шаумян (Москва). Теория трансформаций 64
М. М. Фалькович (Москва) К вопросу о понятийной стороне слова . . 74

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. М. Маковский (Москва) Теория лексической аттракции 80
Н. Н. Прокопович (Москва) Сложные предложения с приадъективной придаточной частью 93
А. К. Соловьева (Москва). О некоторых общих вопросах диалога 103

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

О. С. Ахманова, С. Е. Никитина (Москва). О некоторых лингвистических вопросах составления дескрипторных языков 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Т. М. Николаева, Б. А. Успенский (Москва). О новых работах по паралингвистике 116
У. Ф. Леман (Остин, США). «Сравнительная грамматика германских языков», I, II, III 122
Г. И. Мачавариани (Тбилиси) «Основные направления структурализма» 133
В. С. Сорбала (Кишинев). *Р. Я. Ублер.* Молдавские говоры Черновицкой области в сравнении с говорами Молдавской ССР, Закарпатской области УССР и других смежных областей дако-романского массива. Консонантизм 137

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки. 143
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию. 155
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1961 г. (№ 1—6) 157

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

А. К. МАТВЕЕВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИКИ

Продолжающаяся до сих пор дискуссия о методах изучения топонимов субстратного происхождения, начало которой было положено статьями А. П. Дульзона и Б. А. Серебренникова [1], способствовала проникновению в методику топонимических исследований весьма плодотворных приемов типологического, лингвогеографического и статистического анализа. Несмотря на то, что разрешены еще далеко не все спорные вопросы, связанные с техникой применения этих методов, сам факт внедрения их в практику свидетельствует о прогрессе в области топонимической методики. Однако появившееся в последние годы увлечение «объективными» методами, само по себе вполне оправданное, привело к некоторой односторонности в разработке приемов топонимического анализа и, в частности, к забвению теоретических проблем, связанных с этимологизацией топонимов. В то же самое время применение «объективных» методов встретило значительные трудности, поскольку до сих пор не выработаны единые принципы отбора топонимического материала. Между тем при всей ценности этих методов исследования применение их дает удовлетворительные результаты только в тех случаях, когда, во-первых, топонимика определенной территории обладает минимумом необходимых для такого анализа качеств, и, во-вторых, соблюдаются сами принципы отбора топонимического материала.

Задачи этой статьи: 1) установив соотношение «объективных» и этимологических приемов изучения субстратной топонимики, определить наиболее важные принципы отбора материала; 2) охарактеризовав специфические особенности топонимической этимологии, наметить возможные пути топонимического этимологизирования.

I. Изучение субстратной топонимики связано с рядом трудностей. О языках ее создателей в одних случаях вообще нет никаких данных, в других — имеются самые общие сведения. Так, о дорусском населении нашего Севера — чуди — известно, что оно генетически было связано с финно-угорскими народами — саами (лопью), карелами (корелой), вепсами (весью), древнепермянами (пермью). Однако о «чудских» языках почти ничего неизвестно, так как они не были закреплены письменно. Если не считать топонимических данных, то источником знаний в этой области могут быть только субстратные и заимствованные элементы рус-

[1] См.: А. П. Дульзон, Вопросы этимологического анализа русских топонимов субстратного происхождения, ВЯ, 1959, 4; Б. А. Серебренников, О методах изучения топонимических названий, ВЯ, 1959, 6; А. К. Матвеев, Историко-этимологические разыскания, «Уч. зап. [Уральск. гос. ун-та], 36 — Языкознание, Свердловск, 1960; его же, Субстратная топонимика русского Севера, ВЯ. 1964, 2; А. И. Попов, Основные принципы топонимического исследования, сб. «Принципы топонимики», М., 1964; В. А. Никонов, Неизвестные языки Поочья, ВЯ, 1960, 5; его же, Язык неизвестен, сб. «Топонимика Востока», М., 1964; Е. М. Поспелов, О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике, ВЯ, 1965, 2.

ских говоров, издавна контактирующих с финно-угорскими языками, а также живые финно-угро-самодийские (уральские) языки. Этого, разумеется, крайне мало даже для того, чтобы получить самую общую характеристику какого-либо субстратного языка. Только в некоторых случаях, когда процесс ассимиляции коренного населения завершился относительно недавно, в распоряжении исследователей могут оказаться более или менее значительные словарные материалы по вымершим языкам. В таком сравнительно благоприятном положении находятся, например, специалисты по топонимике Западной Сибири, которые имели возможность ознакомиться с вымершими южносамодийскими языками и кетскими наречиями по словарным записям XVIII—XIX вв. [2].

Естественно, что субстратная топонимика, возникшая сравнительно недавно (XVIII—XIX вв.), представляет собою благодатный материал для топонимических исследований по сравнению с древними субстратными названиями, восходящими к неизвестным языкам: когда сведения о языке-источнике отсутствуют, приходится обращаться только к топонимике, изучение которой в силу специфики географических названий отличается как от дешифровки забытых письменностей и языков [3], так и от этимологических исследований в области лексики.

Существенные различия между «дешифровкой» языкового и топонимического материала обусловлены тем, что последний не представляет таких возможностей для интерпретации, как связный текст. Топонимическая система как по своей функциональной ограниченности, так и потому, что в нее входит только часть элементов системы языка, не способна породить текст; с утверждением В. Н. Топорова о том, что карта, схема или даже определенным образом построенный список являются текстом для топонимических названий [4], можно согласиться, только понимая это в общесемиотическом смысле.

Если интерпретация текста на неизвестном языке может быть подтверждена анализом других текстов, то интерпретация субстратного топонимического материала почти всегда условна, поскольку в большинстве случаев не может быть проверена. Поэтому значение субстратных топонимов, точнее, значение апеллятивов, от которых они были образованы, установить крайне трудно даже в том случае, когда изучаются многочисленные однотипные факты, например, сотни названий на гласный + *-нъга* [5] или *-ас*. Отсюда следует, что этимологическим разысканиям в области субстратной топонимики должно предшествовать тщательное топологическое, лингвогеографическое и статистическое изучение материала для того, чтобы иметь хотя бы минимум надежных исходных данных. Однако полученная таким путем информация всегда будет очень неполной, во-первых, в силу ограниченности самого топонимического материала по сравнению с породившим его языком, во-вторых, вследствие того, что возможности изучения субстратной топонимики имеют свои пределы,

[2] K. Donner, Samojedische Wörterverzeichnisse, MSFOu, LXIV, Helsinki, 1932; «K. Donners kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik», bearb. und hrsg. von A. J. Joki, Helsinki, 1944; L. P. Potapov, Zum Problem der Herkunft und Ethnogenese der Koibalen und Motoren, JSFOu, 59, Helsinki, 1957 (в последней из названных работ приведены словари койбальского и моторского языков, собранные Г. Спасским); А. П. Дульзон, Словарные материалы XVIII в. по кетским наречиям, «Уч. зап. [Томск. пед. ин-та]», XIX, 2 — Лингвистические науки, 1961. В ходе работ Саянского отряда Севернорусской топонимической экспедиции (1963—1964 гг.) было установлено, что некоторые из обрусевших южносамодийцев-камасинцев еще помнят в той или иной степени свой родной язык.

[3] Вопреки мнению И. М. Дунаевской, высказанному в предисловии к кн.: И. Фридрих, Дешифровка забытых письменностей и языков, М., 1961, стр. 6.

[4] В. Н. Топоров, Из области теоретической топономастики, ВЯ, 1962, 6, стр. 5.

[5] В дальнейшем этот тип именуется: на *-нъга*.

зависящие от объективных качеств материала. Функционирующая топонимическая система не содержит полной информации даже о фонетической структуре языка (например, об интонации) и об именном словообразовании, так как в топонимике может быть представлен далеко не весь деривационный инвентарь; что касается лексики, то она отражена здесь в высшей степени однобоко и избирательно, а словоизменение и синтаксис — вообще фрагментарно.

Разумеется, в разных языках доля морфологии и синтаксиса в формировании топонимической системы различна. Императивные конструкции в русской микротопонимике встречаются в таком количестве, что о них можно говорить как об особом топонимическом типе, а не просто казусе (ср. на территории Архангельской области названия урочищ: *Боли сердцо*, *Вали вон*, *Вздерни ножки*, *Гуляй меги*[6], *Кол тащи*, *Разломи ноги* и т. д.). Однако намного богаче глагольная топонимика Казахстана (*Бие ольген* «лошадь издохла», *Той берген* «пир устроили» и т. д.)[7], своеобразие которой бросается в глаза, как бы подчеркивая то более общее правило, что топонимическая система обычно в очень слабой степени отражает морфологический и синтаксический ярусы языка. Не случайно русские императивные конструкции, примеры которых были приведены выше, обнаруживают явную тенденцию к субстантивации, о чем свидетельствуют такие параллельные формы, как *Вздернибожка*, *Разломи́нога*, склоняемые по обычной модели: *на Вздернибожку*. По-видимому, и тюркские глагольные топонимы могут рассматриваться как субстантивированные атрибутивы: *Бие ольген* «(место, где) издохла лошадь».

Так как семантику лексических и грамматических элементов субстратной топонимики раскрыть крайне трудно, первоначально необходимо обработать топонимический материал количественными методами — выявить форманты и основы, установить соотношение типов, составить топонимические карты, определить характер адаптации, провести фонетический анализ. Только после этого можно переходить к этимологическим построениям.

Успех исследования во многом обусловливается объективными качествами самого топонимического материала, т. е. теми его особенностями, которые не зависят от исследователя и методов его работы. Так, во-первых, чем выше ф о р м а л ь н о с т ь географических названий, тем легче они классифицируются и интерпретируются. В частности, субстратная топонимика с четко выраженными лексическими детерминативами проницаемее тех названий, в которых такие детерминативы отсутствуют. Например, в субстратной топонимике русского Севера ряд лексических детерминативов устанавливается при сопоставлении с номенклатурными географическими терминами живых финно-угорских языков (детерминатив *пельда* увязывается с карел. *peldo* «поле»; *оя* — с финно-карел. *oja* «ручей»; *нема*, *немь* — с финно-карел. *niemi* «мыс»). Выявление и интерпретация детерминативов позволяет соотнести топонимический материал с географическими объектами и установить значение тех топоосновов языка-источника, которые связаны с областью географической терминологии. В отличие от финно-угорской топонимики для русских географических названий классные показатели нехарактерны (топонимы *Белый* могут с равным основанием относиться к ручью, хребту, поселку, мысу, покосу, оврагу, логу; *Белая* — к реке, горе, деревне; *Белое* — к озеру, селу, полю, болоту).

---

[6] Сев.-русск. диалектн. *мег* «излучина реки; мыс» < коми-зырян. диалектн. *мег* «излучина».

[7] Казахские топонимы приведены в русской передаче.

Вторым, столь же важным объективным обстоятельством, которое во многом определяет успех исследования, является количество зафиксированных топонимических фактов одного порядка. То обстоятельство, что тот или иной топонимический тип представлен большим числом названий, позволяет точно установить ареал этого типа, определить фонетическую структуру, а также путем сравнения с другими типами выявить общие топоосновы (например, сопоставление топонимов *Челмус*, *Челма*, *Челмозеро*, *Челмужи* и т. д. дает возможность установить общую для этих типов топооснову *челм*).

В-третьих, представляется существенной степень плотности ареала данного типа. Названия могут быть многочисленны, но рассеяны на обширной территории, не образуя значительных компактных скоплений. Если же имеется несколько зон уплотнения, то это всегда вызывает сомнение в единстве происхождения данной топонимики. Названия на *-юга*, например, образуют довольно обширный, но четко локализованный плотный ареал между р. Онегой, Сухоной и Коми АССР. В единстве их происхождения сомневаться не приходится. Наоборот, названия на *-ньга* отмечены не только в треугольнике между р. Онегой, Сухоной и Пинегой, но и на Кольском полуострове, в Карелии, бассейне р. Юг, в Марийской АССР, в Коми АССР и даже в Сибири. С уверенностью можно говорить о единстве происхождения только тех топонимов на *-ньга*, которые засвидетельствованы на территории русского Севера, где их ареал необыкновенно плотен. Что касается сибирских названий на *-ньга*, то они, видимо, восходят к иным источникам, образуя другой очаг этого ареала, а если учитывать зону, свободную от *-ньга*, на Урале, то, очевидно — и другой ареал. Следовательно, чем плотнее ареал, тем меньше сомнений в единстве происхождения топонимов, входящих в его пределы. Чем ареал неопределеннее, чем больше в нем зон уплотнения, тем больше вероятности, что он восходит к разным источникам, тем труднее данный топонимический тип поддается объективным методом анализа. В таких случаях необходимо раздельно произвести фонетический анализ наиболее компактных сгущений, сравнить полученные результаты, и только после этого ставить вопрос о генетической связи двух или более топонимических ареалов. Отсюда становится ясным, почему точечному методу воспроизведения топонимов должно быть отдано предпочтение по сравнению с изображением изоглосс, штриховкой или качественным фоном.

Наконец, четвертое объективное обстоятельство, которое может затруднить или облегчить изучение субстратной топонимики, связано с характером и интенсивностью адаптации. Здесь следует остановиться на ряде вопросов. Прежде всего, многое зависит от того, непосредственно ли усвоена топонимика данного субстратного языка адаптирующим (русским) языком или через язык-посредник, иными словами является ли она субстратной или субсубстратной. Можно с уверенностью считать, что древняя топонимика Среднего Урала (*Висе́рть*, *Кише́рть*, *Сысе́рть*, *Тавда́*, *Ревда́*, *Салда́*), в основном, по-видимому, финно-угорская, была первоначально тюркизована и уже в этой тюркизованной форме усвоена русскими. В этом случае мы имеем дело с субсубстратом, который, естественно, гораздо труднее поддается формальному и фонетическому изучению, чем субстрат[6].

Кроме того, многое определяется тем, насколько адаптирующий язык отличается по своей структуре от языка усваиваемой топонимики: например, тюркизация сопровождается переносом ударения на последний слог

[6] Эта сторона вопроса подробно рассматривается в статье А. П. Дульзона «Вопросы этимологического анализа русских топонимов субстратного происхождения».

и в ряде случаев развитием сингармонизма, что может полностью изменить систему вокализма субстратной топонимики, тогда как севернорусское наречие при ассимиляции топонимов сохраняет дорусскую акцентуацию — ударение на первом слоге, а также весьма отчетливые рефлексы сингармонизма.

Наконец, приходится считаться с особенностями адаптации, обусловленными диалектными различиями как в языке-источнике, так и в языке усвоения. Так, в субстратной топонимике русского Севера есть безусловно родственные названия на *-езьма ~ -озьма* (*Нерезьма, Селезьма, Векозьма, Колозьма*) и *-ежма ~ -ожма* (*Колежма, Нилежма, Луньдожма, Торожма*). Единственное отличие между звуковой трактовкой формантов состоит здесь в отражении субстратного звонкого спиранта типа **z/ž* в виде *з'* (*Колоз'ма*) и *ж* (*Колежма*). Ареалы этих названий не выяснены, но даже если они окажутся различными, то будет трудно ответить на вопрос — отражает ли это различие диалектную черту языка-источника или оно вызвано спецификой произношения соответствующего звука в смежных русских диалектах. Вполне возможно, например, что шепелявый звонкий спирант типа **z"* воспринимался в одних русских диалектах как мягкое *ж'*, с последующим отвердением *ж' > ж* в соответствии с общерусской тенденцией, а в других диалектах — как шепелявое *з"* или мягкое *з'*.

Есть еще ряд объективных обстоятельств, которые могут способствовать исследованию топонимического субстрата, например, наличие дублетных топонимов (ср. русск. *Нювюга* и коми *Нювью*) или наличие аналогий в структуре топонимических названий территориально близких языков (ср., например, карел. *Korbijärvi* и севернорусское субстратное *Корбозеро*). Однако эти обстоятельства, хотя и важные, все же не имеют такого решающего значения для успеха исследований в области субстратной топонимики, как степень формальности, многочисленность фактов одного порядка, плотность ареала и, наконец, характер адаптации — качеств, которые предопределяют характер исследования и ограничивают его возможности.

К этим объективным моментам следует добавить ряд субъективных требований, которые надо соблюдать, чтобы получить надежные результаты.

Первое из этих требований состоит в том, что каждый топоним должен быть достаточно точно привязан географически, а вся исследуемая территория равномерно изучена. При нарушении этого требования искажается плотность ареала и его конфигурация. Кроме того, неравномерность изученности территории может привести к тому, что будет утрачен ряд данных, важных для целей словообразовательного и фонетического анализа. Поэтому в основу исследования должна быть положена или карта определенного масштаба, или материал, собранный при сплошном обследовании территории.

Второе требование, которому следует уделить особое внимание, так как оно нарушается очень часто, сводится к тому, что топонимический материал, используемый для словообразовательного и фонетического анализа, должен быть однороден. До сих пор приходится встречаться с мнением, что все необходимые для изучения топонимики той или иной территории данные можно найти в письменных источниках, например в писцовых книгах и актах генерального межевания, или извлечь из топографических карт. Нет сомнения, что исторические документы и топографические карты всегда будут очень важным источником для топонимических исследований и особенно при составлении топонимических словарей и атласов; однако трудно, например, производя формальный и фонетический анализ, полагаться на разновременные фиксации в пис-

цовых книгах, где одно и то же название предстает в самом разном облике прежде всего вследствие ошибок при записи и переписке[9].

Субстратная топонимическая система, в частности словообразовательная и фонетическая системы субстратной топонимики, должна изучаться прежде всего на основе полевых материалов. Суть дела состоит в том, что сохраняемые в народной памяти многочисленные топонимы одного типа образуют строгую систему, которая подвергалась регулярным изменениям. Информаторы, хорошо владеющие местной топонимической системой (например, коренные жители деревни), почти всегда употребляют субстратное название в одной форме, которую можно считать основной. Таким образом, субстратные топонимы очень устойчивы. В противном случае они, не имея внутренней формы, не могли бы выполнять свою основную функцию выделения объекта из ряда ему подобных. Это доказывается всем топонимическим материалом, собранным на местах. Исключено, чтобы топоним *Мехреньга* имел параллельные формы *Мехрега* или *Мехрела*, а топоним *Юрас — Юрола* или *Юрома*. В топонимической системе субстратные топонимы обычно функционируют в одной основной форме, которая может усложняться различными деривативами на почве языка усвоения (*Ракула > Ракулка, Ракульская*), при этом во многих случаях субстратный топоним доходит до нас только в форме, осложненной русским словообразовательным суффиксом — *Турасский ручей* (*<* Турас*). Между тем в исторических документах чаще всего фигурируют разные варианты субстратных топонимов, порожденные как разновременностью фиксации и эволюцией названий, так и небрежностью составителей и переписчиков. Для целей структурно-словообразовательного и фонетического анализа этот материал использовать нельзя до тех пор, пока на основе изучения полевых материалов не будут установлены основные словообразовательные типы и фонетические особенности субстратной топонимики. Когда это будет выполнено, извлеченный из исторических документов материал можно привлечь для пополнения фактов и объяснения их эволюции, т. е. для уточнения данных о топонимической системе, особенно в диахроническом плане.

Для целей словообразовательного и фонетического анализа непригодны в полной мере и топографические карты. И дело здесь не только в том, что на них не отмечается ударение и отсутствуют многие микротопонимы, а прежде всего в ошибках, допущенных топографами при записи названий и при составлении карт.

Разумеется, надо иметь в виду, что топографические карты все же передают основные черты топонимической системы, хотя и с разной степенью точности (в зависимости от масштаба). Поэтому они могут быть использованы для того, чтобы получить общее представление о топонимической системе, что может быть сделано довольно быстро ввиду компактности источника. Однако к топонимическому материалу, извлеченному из топографических карт, надо относиться с большой осторожностью. Выделяя субстратный элемент *гусь* со значением «река»[10], Е. М. Поспелов исходит из картографической формы *Кыргусь*, в то время как в действительности, по данным Картотеки севернорусской топонимики, местное население произносит *Кыргус*, что доказывает связь этого топо-

[9] Не случайно Е. М. Поспелов, настаивая на использовании топонимических данных, содержащихся в исторических источниках (указ. соч., стр. 38), в собственной исследовательской практике предпочитает исходить из однородного материала, извлеченного из географических карт. В противном случае он оказался бы перед неразрешимой проблемой, какую из приведенных им четырех форм — *Савыпелды, Сялыпелды, Сапелда* или *Сайпелда* — избрать для структурно-фонетического анализа.

[10] Е. М. Поспелов, указ. соч., стр. 35.

нима с ареалом *-ус* и опровергает тезис о том, что этот топоним будто бы представляет собою словосложение коми-зырян. *кыр* «обрыв» с неизвестным по происхождению словом *гусь* «река».

Вопрос об однородности топонимического материала заслуживает особого рассмотрения еще в одном аспекте. Дело в том, что при выявлении ареалов необходимо считаться, во-первых, с языковыми границами, а, во-вторых, с данными лингвогеографического анализа топонимов.

Критика регионального подхода к топонимике, сопровождаемая интенсивным внедрением «глобальных» исследований [11], имеет свою отрицательную сторону, способствуя установлению обобщенных псевдоареалов для формально совпадающих топонимов разного происхождения. Карта 2, приведенная Е. М. Поспеловым, воспроизводит именно такой обобщенный ареал [12], включающий в себя по крайней мере три топонимических зоны: 1) прибалтийско-финских названий на *-as*, *-us* на территории Финляндии и Карелии, 2) севернорусских субстратных топонимов на *-ас* и *-ус*, 3) волго-окских названий на *-ус* [13].

Обобщение этих ареалов недопустимо, во-первых, потому, что существует языковая граница между ареалами I, II и III, а во-вторых, потому, что ареал III не содержит названий на *-ас*. Первоначально надо было сравнить между собою фонетическую структуру этих трех ареалов по отдельности и только после этого ставить вопрос об их тождественности (или нетождественности). Однако Е. М. Поспелов, признавая разное происхождение изучаемых названий, при типологических и структурно-фонетических сопоставлениях исходит из обобщенного ареала, совмещая в одной плоскости различные факты и постулируя их однотипность. Это производится тем легче, что Е. М. Поспелов считает возможным объединять названия на *-с* и *-с'* как двусложные, так и односложные (ср. *Вангус* и *Кусь* — стр. 36), не считаясь тем самым с элементарными принципами типологического анализа и не замечая к тому же, что названий с формантом *-усь* в севернорусском ареале вообще нет.

Для того чтобы доказать прибалтийско-финский характер части севернорусских субстратных топонимов на *-ас* и *-ус* (ареал II), нужно прежде всего объяснить, почему в них отсутствуют типичные прибалтийско-финские группы *кш* и *кс*. Так как таких групп в ареале II нет, то Е. М. Поспелов приводит, исходя из обобщенного ареала, прибалтийско-финские топонимы из ареала I: *Коксус-Ярви*, *Ваксаус-Ярви* (стр. 34). Чтобы доказать, что элемент *гусь* в уже приведенном *Кыргусь* (фактически *Кыргус*) из ареала I означает «река», приводятся топонимы *Пьягус* и *Лёхгус* из ареала III (стр. 35). Наконец, чтобы доказать, что группа *ндр* не имеет дифференцирующего значения (стр. 32), приводятся в одном ряду факты из ареалов II (*Нондрус*) и III (*Индрус*), при этом автор умалчивает, что в названиях на *-ас* эта группа не встречается. Ясно, что такой отбор фактов не может способствовать точности типологического и структурно-фонетического анализа, а кроме того, ведет к просчетам в области этимологии. Из карты 3, приведенной Е. М. Поспеловым, следует, что прибалтийско-финские названия на *-ас* и *-ус*, этимологизируемые из финского языка, обнаруживаются на всей территории русского Севера вплоть до бассейна р. Мезени (стр. 36), т. е. почти во всем ареале II. Далее автор приводит в качестве иллюстрации те этимологии, которые,

[11] См., например: В. А. Никонов, Пути топонимического исследования, сб. «Принципы топонимики», стр. 83—86.

[12] Е. М. Поспелов, указ. соч., стр. 31. Ссылки на статью Е. М. Поспелова далее приводятся в тексте.

[13] В дальнейшем соответственно ареалы I, II, III. Заметим, что если бы Е. М. Поспелов был последователен, то он присоединил бы к обобщенному ареалу *-ас*, *-ос*, *-ус* и балтийские названия на *-as* и *-us*, образующие ареал IV.

по-видимому, считает наиболее убедительными[14]. Однако почти все удачные этимологии относятся к ареалу I. Таковы: *Гирвас* (фин. *hirvi* «лось»), *Корбас* (фин. *korpi* «глухой лес»)[15], *Нурмас* (фин. *nurmi* «лужайка, луг»), *Варусова гора* (фин. *vaara* «горка»).

В конечном счете получается так, что прибалтийско-финское происхождение топонимов на *-ас* и *-ус* из ареала I доказывается путем приведения примеров из заведомо прибалтийско-финского ареала II.

Разумеется, в ареале II, т. е. на территории русского Севера, могут встретиться отдельные названия на *-ас* и *-ус*, связанные по происхождению с прибалтийско-финскими источниками[16]. Однако большинство севернорусских гидронимических названий на *-ас* и *-ус* не имеет отношения к прибалтийско-финским языкам.

Из всего сказанного следует, что при «объективном» изучении субстратной топонимики необходимо основываться только на однородном материале, строго соблюдая при этом принципы типологического, лингвогеографического и структурно-фонетического анализа.

II. Второй этап изучения субстратных географических названий, в принципе отличный от первого,— топонимическое этимологизирование — представляет собой область, в которой до сих пор процветает крайний субъективизм. Основной задачей этимологических разысканий в топонимике является поэтому объективизация метода, т. е. установление способов проверки (критериев достоверности) топонимических этимологий.

Уточняя наше прежнее положение о различии задач этимологических разысканий в области лексики и топонимики, заметим, что целью этимологических исследований в области субстратной топонимики является раскрытие внутренней формы названий, т. е. значения апеллятивов, лежащих в основе топонимов, так как лексического значения как такового топонимы не имеют. Утверждение, что собственные имена образуются путем сужения значения нарицательных, а нарицательные путем расширения значения собственных[17], неверно по существу, так как не может сужаться или расширяться то, чего вообще нет. Собственное имя имеет только внешнюю и внутреннюю форму, которую в субстратных названиях необходимо раскрыть.

Итак, топонимическая этимология отличается от лексической, во-первых, по своей цели — следует установить значение, а не происхождение слова, а, во-вторых, по характеру — она почти всегда условна, так как в огромном большинстве случаев ее невозможно доказать. Поэтому среди топонимических этимологий выделяются две неравные группы: 1) т о ч н ы е, или д о к а з а н н ы е, которых сравнительно немного, и 2) п р е д п о л о ж и т е л ь н ы е, или у с л о в н ы е, относящиеся к подавляющему большинству названий.

Точные, или доказанные, этимологии, вообще говоря, встречаются не так редко, но на фоне множества предположительных они всегда являются событием. Здесь речь идет, разумеется, о таких субстратных топонимах, которые не имеют дублетных (русских) соответствий (ср. саам. *Акк-яур* и русск. *Бабозеро*), так как наличие дублетных топонимов (калек и полу-

[14] Среди них есть явно ошибочные. Например, топонимы *Пяртос, Пяртус* нельзя сопоставлять с фин. *pirtti*, карел. *pertti* «изба» по той причине что прибалтийско-финские *i, e* никогда не передаются русским *'а*.

[15] Предпочтительнее сравнение с карельскими данными (ср. фин. *korpi* и карел. *korbi*)

[16] См. об этом нашу статью «О происхождении севернорусской топонимики на *ас* и *ус*» («Вопросы топономастики. Доклады кружка сравнительно-исторического языкознания [Уральск. гос. ун-та]», 1, Свердловск, 1962, стр. 13).

[17] См. об этом, например: Э. Б. А г а я н, Введение в языкознание, Ереван, 1959, стр. 223.

калек) делает излишней этимологизацию. Каким путем можно установить точную этимологию субстратных топонимов при отсутствии таких дублетов? Топоним этимологизируется точно в тех случаях, когда значение названия находит подтверждение в свойствах соответствующего географического объекта, иными словами — когда значение подтверждается характером реалий.

Разумеется, географические реалии в разной степени обладают свойством подтверждать этимологическую интерпретацию топонимов; в наибольшей степени таким свойством обладают обычно лишь те реалии, которые не являются линейными объектами[18].— озера, возвышенности, населенные пункты. При этом следует иметь в виду два весьма различных по трудности случая: этимологизацию лексических детерминативов и топоснов. Систематическое соответствие топоформанта и класса топонимических реалий всегда наводит на мысль, что перед нами лексический детерминатив; при этом этимологии получают убедительное подтверждение в характере реалий. К этой группе относятся, например, этимологии детерминативов *юга, юг, курга, важ, сара, енгарь, оя* «река, ручей», *вожа* «исток», *курья, курье* «речной залив», *лахта, лохта* «залив», *салма* «пролив», *немь, нема* «мыс», *вара, вар, вера, беръ, бера* «гора (или лес)», *пельда* «поле», *ранда, ронда* «берег» и др. Из многочисленных доказательств точности этимологий такого рода ограничимся одним примером. Названия на *немь, нема*, как правило, связаны с населенными пунктами или лугами, которые расположены на мысах в течении реки. Регулярность соответствий между топоформантом и реалиями обычно является достаточным основанием для того, чтобы отличить лексический детерминатив от морфологического форманта и установить значение этого лексического детерминатива, так как особые топонимические морфемы (типа русского *ск* в названиях городов) встречаются редко, особенно в языках, где топонимика характеризуется лексическими детерминативами, например в финно-угорских.

Значительно сложнее обстоит дело с точной этимологизацией топоснов. Принцип сопоставления с реалиями и здесь имеет решающее значение, но в силу единичности факта соответствие между топоосновой и реалией не носит такого ясного характера, как связь между лексическим детерминативом, в роли которого обычно выступает номенклатурный географический термин, и классом топонимических объектов. Поэтому «точные» этимологии топоснов установить значительно труднее, и они относятся главным образом к часто повторяющимся топоосновам.

Сказанное можно пояснить примерами «точных» этимологий:

1. На русском Севере часто встречаются названия рек с топоосновой *явр* (*Яврожка, Явроя*), увязываемой с саам. *jaur* «озеро». Все топонимы этого рода обозначают реки, протекающие через озера, что подтверждается как топографическими картами, так и экспедиционными материалами.

2. На территории Архангельской области и Карелии есть много названий с топоосновой *челм* (*Челмус, Челмозеро, Челмохта, Челмужи*), сопоставляемой с саам. *čoalme* «пролив». Все названия с этой топоосновой

[18] Линейные объекты имеют сравнительно небольшое значение для проверки этимологий, поскольку географические характеристики таких реалий варьируются на различных участках объекта вследствие его протяженности. Объясняя *Вержа* как «лесная река» (коми зырян. *вӧр* «лес»), а *Шуя* как «болотная» (карел. *šuo* «болото»), не следует забывать о том, что наличие соответствующих реалий в условиях русского Севера не является сколько-нибудь серьезным доказательством правильности этимологии, так как здесь трудно найти реки, которых нельзя было бы назвать «лесными» или «болотными».

обозначают или озеро, состоящее из двух водоемов, соединенных проливом, или населенный пункт, находящийся на берегу пролива.

3. Село *Шотогорка*, расположенное на высоком берегу реки Пинеги, состоит из деревень *Чуга*, *Холм*, *Гора*, *Заручей*. Субстратное название *Чуга* интерпретируется на финно-угорской почве как «гора» (ср. саам. *čokka*, коми *чук.* хант. *чугас* «гора, возвышенность, холм»). Таким образом, названия *Холм* и *Гора* являются дублетными топонимами (калька-ми) дорусского *Чуга*. Правильность этимологии подтверждается тем, что другая деревня *Чуга*, находящаяся в низовьях р. Пинеги, расположена на очень высоком холме.

4. В низовьях р. Вашки есть гидронимы *Лумбожа* и *Войвожа*, которые истолковываются из коми-зырянского языка как *Южный* и *Северный приток* (*Лунь вож* и *Вой вож*). Действительно, эти реки являются соответственно южным и северным истоками р. Нессы, впадающей в Вашку.

5. Название деревни *Керас* (верховья р. Пинеги) истолковывается на почве коми языка как «возвышенность, покрытая лесом; крутой берег» (коми-зырян. *керӧс*). Эта деревня действительно расположена на крутом обрывистом берегу р. Пинеги.

6. Название луга *Лохта* (нижнее течение р. Суры, притока Пинеги) объясняется из прибалтийско-финских языков как «залив» (фин. *lahti*). Как оказалось, этот луг прямыкает к длинному речному заливу, существующему до сих пор.

Можно было бы привести и другие случаи «точной» этимологизации топоосновы, но сколько бы их ни было, они все равно встречаются очень редко по сравнению с множеством предположительных или условных этимологий, к которым часто приходится относить на первый взгляд несомненные интерпретации, например, такие как *Изюга* «каменная река» (коми-зырян. *из* «камень»), *Верюга* «лесная река» (коми-зырян. *вӧр* «лес»), *Чухчанемь* «глухариный мыс» (саам. *čuhč* «глухарь»), *Кургозеро* «журавлиное озеро» (карел. *kurgi* «журавль»). При всей убедительности этих этимологий они все же остаются недоказанными, а вероятность их достоверности — различной.

Использование реалий для подтверждения правильности этимологий в некоторых случаях может дать хорошие результаты, однако не все исследователи считают целесообразным применение этого метода. Так, В. А. Никонов сформулировал принцип «относительной негативности названий», считая наивным географическим натурализмом любую попытку обнаружить прямое отражение свойств объекта в названии[19]. Общий смысл этого нового принципа В. А. Никонова сводится к тому, что чем реже то или иное явление встречается в действительности, тем возможнее называние топообъекта соответствующим апеллятивом. Парадокс называния, следовательно, заключается в том, что частота соответствующих реалий и топонимов обратно пропорциональна. Отсюда с неизбежностью следует, что нельзя видеть в названии прямое отражение свойств объекта.

Тезис о том, что название часто дается по редкому предмету, явлению, признаку, разумеется, не вызывает никаких сомнений, но абсолютизировать его нельзя, так как те факты топонимики, которые можно объяснить на основе «относительной негативности» (пример В. А. Никонова: *Стеклянная падь*, названная так за вставленный в окно фанзы осколок бутылки), представляют собою частный случай номинации. Возникновение большинства топонимических названий не имеет к этому принципу ника-

[19] См.: В. А. Никонов. Пути топонимического исследования, сб. «Принципы топонимики», М., 1964, стр. 77—79; его же, Закон ряда в географических названиях, «Onomastica», IV, 1, 1958.

кого отношения. Действительность топонимики намного сложнее. С точки зрения упомянутого принципа невозможно, например, объяснить происхождение метафорических названий гор и скал (*Копна, Зарод, Стожок, Старик, Старуха, Колокольня, Барабан, Коврига, Бубен, Боярин, Сокол, Пуп* и т. д.). Однако ход рассуждений В. А. Никонова парадоксален даже по отношению к самым обычным случаям называния. Если последовательно применить сформулированный им принцип, то окажется, например, что оз. *Медвежье* получило свое название не по той причине, что около него медведи часто встречаются (или встречались), а непременно потому, что они в этом месте являются (или являлись) поражающей редкостью.

Разумеется, можно найти сколько угодно убедительных примеров действия «относительной негативности». Так, в Карелии нет озер с названиями *Чистое, Питное*, потому что там во всех озерах чистая вода, и наоборот, в Казахстане, изобилующем солеными озерами, топонимы такого рода встречаются достаточно часто. Однако сколько бы ни было фактов, подтверждающих существование «относительной негативности», намного больший материал всегда будет свидетельствовать против нее. На территории Архангельской области сотни озер называются *Глубокими, Долгими, Кривыми, Круглыми, Белыми, Светлыми* и *Черными*, но никому не удастся доказать, что перечисленные топонимы обязаны своим происхождением тому обстоятельству, что глубокие, долгие, кривые, круглые и прочие озера здесь являются редкостью.

С утверждением о том, что в актах топонимической номинации отражаются только случайности и раритеты, нельзя согласиться, прежде всего, с точки зрения психологии наименования, так как нельзя отказывать любому народу в способности объективно отражать и закреплять в названиях черты окружающей природы и своего быта; это противоречит также фактам топонимической науки.

Что касается утверждения В. А. Никонова о том, что в названии нельзя видеть прямое отражение свойств объекта, то он упускает из виду еще одно обстоятельство. Топоним может нести различную информацию[20], в том числе — истинную, отражающую какое-либо действительное свойство объекта (оз. *Еловое*, окруженное еловым лесом) и ложную (оз. *Еловое*, окруженное березовым лесом). Первым родом информации В. А. Никонов вообще пренебрегает, хотя ее действенность подтверждается, например, широко известными в геологической практике открытиями месторождений полезных ископаемых по топонимическим данным[21]. В. А. Никонову, очевидно, представляется, что преобладает второй род информации, обусловленной действием «относительной негативности». Однако В. А. Никонов не учитывает, что во многих случаях истинная информация со временем могла стать ложной вследствие изменения географических условий местности, например, замены одного типа леса другим.

Естественно, что в субстратной топонимике в скрытой форме могут содержаться оба вида информации — истинная и ложная, поэтому при сопоставлении топонимов с реалиями надо иметь в виду, в каких случаях при этимологизации скорее всего следует ожидать ложную информацию. По-видимому, максимум случаев ложной информации приходится на те топонимические названия, которые прилагаются к сравнительно быстро изменяющимся географическим объектам, например, типам лесных угодий.

[20] Подробнее см.: Н. В. Подольская, Какую информацию несет топоним, сб. «Принципы топонимики».

[21] См., например: Г. В. Вахрушев, Значение топонимики в познании недр Башкирии, в кн.: «Всесоюзная конференция по топонимике СССР [Географического общества Союза ССР]. 28 января — 2 февраля 1965 г. Тезисы докладов и сообщений», М., 1965, стр. 110—114.

Сопоставление топооснов с реалиями — не единственный путь установления истинности топонимических этимологий. К тому же возможности применения этого метода ограничены сферой лексических детерминативов и тех топооснов, которые отражают географические особенности топообъекта. Второй путь, за которым, очевидно, будущее, состоит в следующем. Если на какой-нибудь территории выявлен достаточно многочисленный топонимический тип, обладающий звуковым единством, то можно попытаться установить для такого типа серию условных этимологий. Высокий процент семантически оправданных этимологий будет свидетельствовать о том, что хотя бы часть из них истинна.

Этот прием основан на том соображении, что семантика топонимической лексики ограничена, поэтому при этимологизировании топооснов надо учитывать смысловую (семантическую) мотивированность (или немотивированность) того или иного названия[22]. Принцип семантической мотивированности топонимов, разумеется, нельзя абсолютизировать. В разных языках и на различных территориях характер семантической мотивированности изменяется. Но, по-видимому, существуют и общие семантические закономерности топонимики, как, например, преобладание именных образований над глагольными, терминологической лексики над абстрактной, широкое отражение в названиях географических объектов особенностей местности, растительного и животного мира, хозяйства и культуры, значительный процент антропонимических и этнонимических по происхождению названий в топонимике населенных пунктов и нелинейных объектов, имеющих хозяйственное значение (полей, лугов, озер и т. д.), метонимический характер многих названий угодий, метафоризация названий гор и т. д.

Все эти общие закономерности применительно к определенным языкам, территориям и видам топообъектов, конечно, реализуются по-своему. Поэтому возникает задача изучения общих и частных принципов, по которым даются топонимические названия. Конечно, в топонимике много случайного, например, такие названия озер, как *Рубашечное*, *Постельное* или *Штанное*. Они, вообще говоря, и не столь случайны, хотя предугадать их появление в плане семантической мотивированности невозможно. Но разве можно считать случайным, что в русской топонимике Карелии нет *Камышных* озер, весьма обычных для Западной Сибири и Северного Казахстана, но часто встречаются *Верхние*, *Нижние* и *Средние*? В то же самое время в озерной гидронимике Карелии есть много общего с названиями озер Западной Сибири и Северного Казахстана. Оба эти региона характеризуются, например, многочисленными *Каменными*, *Большими*, *Кривыми*, *Долгими*, *Светлыми*, *Белыми*, *Черными*, *Лебяжьими*, *Щучьими* озерами. Общие черты в семантике озерной гидронимики Карелии, Западной Сибири и Северного Казахстана становятся особенно показательными при сопоставлении названий по смысловым группам, в которых отразилась номинация по определенным признакам (см. табл. 1).

Изучение семантической мотивированности топонимов имеет большое значение для этимологических разысканий в области субстратной топонимики. Установление как общих, так и частных принципов наименования различных топообъектов, по-видимому, откроет новые перспективы для исследования топонимического субстрата. Выявив наиболее важные субстратные топооснозы определенной территории и установив предпо-

[22] О необходимости изучения семантической мотивированности топонимов писал А. Л. Дульзон («Вопросы этимологического анализа...», стр. 46), указывавший на своеобразие топонимических систем различных языков. Однако в тех случаях, когда мы не знаем языка, особенно важно иметь представление об общих принципах номинации топонимических объектов.

Таблица 1

Регион и количество топонимов	Семантические группы в %				
	географические особенности объекта	фауна и флора	антропонимические	разные	неясные
Западная Сибирь, Северный Казахстан 347	43	21	24	8	4
Карелия 207	34	18	22	17	9

ложительно их значение, необходимо обратиться к русской топонимике, в которой могут быть компоненты, калькированные с языка-источника, а также семантически общие элементы, возникшие в языке-субстрате и в русском языке независимо друг от друга, вследствие одинаковых географических условий. Так, например, в топонимике русского Севера в названиях рек часто встречается топооснова *явр* «озеро», причем реалии подтверждают правильность такой интерпретации. Можно получить и другое доказательство достоверности этой этимологии: в гидронимике Севера имеются десятки русских по происхождению топонимов, образованных от слова «озеро» — *Озерная*, *Озерница*, *Озериха* и т. п., поэтому приведенная этимология топоосновы *явр* семантически оправдана. Точно так же можно получить дополнительные доказательства правильности этимологий топооснов *муст* «черный», *карг* «медведь», *нюхч* «лебедь», *сярг* «плотва», *куз* «ель», *мянд* «сосна» в наличии многочисленных *Черных*, *Медвежьих*, *Лебяжьих*, *Плотичных*, *Еловых* и *Сосновых* озер, рек, лугов и т. д. Для иллюстрации сказанного в табл. 2 ряд севернорусских субстратных названий сопоставлен с соответствующими финско-карельскими топонимами[23] и эквивалентными по значению русскими названиями, общность принципов номинации наглядно подтверждает и приведенный для сравнения казахский материал.

Таблица 2

Субстратные топонимы	Финские или карельские	Русские	Казахские
Валгозеро	*Valkeajärvi*	*Белое*	*Акколь*
Калозеро	*Kalajärvi*	*Рыбное*	*Балыктыколь*
Кивозеро	*Kivijärvi*	*Каменное*	*Тастыколь*
Кондозеро	*Kontiojärvi*	*Медвежье*	*Аюколь*
Мустозеро	*Mustajärvi*	*Черное*	*Караколь*
Мяндозеро	*Mändäjärvi*	*Сосновое*	*Карагайлыколь*
Роговеро	*Ruokojärvi*	*Тростниковое*	*Курайлыколь*
Шуозеро	*Šuurijärvi*	*Большое*	*Улькенколь*

Семантическая мотивированность интуитивно уже давно учитывается топонимистами. Надо надеяться, что изучение как общих, так и частных языковых и региональных принципов наименования топообъектов даст еще одно действенное средство этимологической интерпретации субстратных топонимов.

[23] С. В. Григорьев, Г. Л. Грицевская, Каталог озер Карелии, М.— Л., 1959.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. М. ЩЕРБАК

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Поводом для написания настоящих заметок послужила полемическая статья В. И. Абаева[1]. В этой статье немало интересных и полезных высказываний, проникнутых заботой о судьбах науки. Они несомненно привлекут к себе внимание языковедов и будут должным образом оценены. Вместе с тем указанная статья содержит очень субъективную, неточную и местами пристрастную характеристику истории и современного состояния советского языкознания, с которой никак нельзя согласиться.

О чем говорит история советского языкознания?

«История советского языкознания,— пишет В. И. Абаев,— ждет правдивого и беспристрастного освещения. Если мы не осмыслим правильно наше прошлое, то нам трудно будет разобраться в настоящем и наметить ясную перспективу на будущее» (стр. 22).

В самом деле, только благодаря правдивому и беспристрастному освещению истории нашей науки можно получить правильное представление о характере ее развития (прогрессе или регрессе), предохранить ее от проявления весьма нежелательных, пагубных тенденций и создать все предпосылки для успешного движения вперед.

Объективное освещение истории науки большая, ответственная и очень трудная задача, которую невозможно решить в пределах одной журнальной статьи или одной монографии. Необходимы тщательные разыскания, глубокий анализ огромного количества фактов и большой терпеливый труд, связанный с их обобщением. Понятно, что выполнение такой задачи является перспективой весьма отдаленного времени. В настоящий же момент могут быть высказаны лишь некоторые частные соображения, носящие характер предварительных замечаний.

Не секрет, что развитие языкознания в нашей стране было неровным, напряженным, полным драматических ситуаций. Несмотря на наличие большого количества специалистов, теоретическое языкознание развивалось медленно и достигнутые успехи являются очень скромными. Недостаточно высок уровень и незначительны масштабы этимологических, сравнительно-исторических и типологических исследований, до сих пор не выработаны строгие принципы составления описательных грамматик. Причиной этому, однако, являются не «вульгарно-материалистические ошибки» Н. Я. Марра и не «вмешательство» И. В. Сталина, как принято считать.

Ошибки Н. Я. Марра были слишком грубы и очевидны, чтобы ввести в заблуждение всех или большинство советских языковедо, а «вмешате-

[1] В. И. Абаев, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 1965, 3. Ссылки на эту статью далее приводятся в тексте.

льство» И. В. Сталина не могло иметь серьезных отрицательных последствий, так как работа «Марксизм и вопросы языкознания» содержала, хотя и элементарные, но в общем верные положения и по существу, что очень важно, не ограничивала приемы и тематику лингвистических исследований. Причиной хронического «недомогания», частых застоев и спадов является та ненормальная обстановка, которая возникла в языкознании еще при жизни Марра, продолжала существовать после его смерти и которая, так или иначе, дает знать о себе и сейчас.

Основным средством решения научных споров на долгое время стало умышленное перенесение их в область политики. Поток разоблачительных выступлений принижал роль теоретического языкознания и способствовал в целом ряде случаев замене его легковесной наукообразной публицистикой.

Разгрому подверглись все лингвистические школы, кроме яфетидологии, забвению или поруганию были преданы все крупнейшие представители русской и западной лингвистики. Печальная судьба не миновала и В. Гумбольдта, о котором так много хорошего пишет В. И. Абаев и идеи которого по существу призывает развивать.

«Публицистическая» деятельность Н. Я. Марра и его некоторых учеников, на многие годы затормозившая развитие советского языкознания, способствовавшая забвению имевшихся дореволюционных достижений и выхолащиванию всего разумного, что появилось в нем после революции, не была, как пытаются внушить нам, «порождением революционной действительности». Пышное псевдореволюционное фразерство, сочетавшееся с недопустимой грубостью в отношении тех, кто осмеливался мыслить иначе, не имело никакого отношения к революции и сознательно использовалось в целях завоевания монопольного положения в науке.

К сожалению, и в настоящее время изредка появляются «основополагающие» статьи, касающиеся языкознания, которые пестрят установочными высказываниями, рекомендациями и указаниями на необходимость оценки любого конкретного метода с методологических позиций марксизма. Очевидно, печальный опыт опошления марксистско-ленинской философии, когда на протяжении сравнительно небольшого периода времени те или иные приемы лингвистического исследования безответственно назывались то марксистскими, то вульгарно-материалистическими, то субъективно-идеалистическими, не пошел впрок.

Языкознание — общественная наука?

Автор статьи «Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке» безоговорочно относит языкознание к числу общественных наук, объединяет последние в рамках так называемого гуманитарного сектора с литературой и искусством и утверждает, что поскольку все общественные науки, литература и искусство имеют надстроечный характер, их развитие принципиально отличается от развития естествознания, математики и техники (стр. 25, 26).

Так ли обстоит дело в действительности?

Надстройка неразрывно связана с определенным экономическим строем общества, базисом, так что исчезновение этого базиса обязательно приводит к исчезновению или коренному изменению соответствующей надстройки. С появлением нового экономического строя появляется и новая надстройка. При этом политические, правовые, религиозные и отчасти эстетические взгляды общества претерпевают существенную ломку, изменяются в своей основе. Нельзя сказать, что то же самое происходит с языкознанием.

Совершенно очевидно, что фундаментальные понятия языкознания как науки развиваются независимо от экономической структуры общества и замена одного общественного строя другим не приводит к существенным изменениям этих понятий. Достаточно сравнить, например, любые традиционные грамматики или этимологические исследования, написанные в прошлом и нынешнем столетии, в нашей стране и за рубежом, чтобы убедиться в отсутствии между ними каких-либо принципиальных различий. Подобное положение объясняется тем, что далеко не все факты языка непосредственно соотносимы с объективной действительностью и отражают ход общественного развития. Фонемы, морфемы, их структурная организация, правила образования синтаксических конструкций имеют чисто лингвистическую сущность, т. е. являются принадлежностью языка как естественного явления, они не чувствительны к изменениям социального строя, развиваются по своим внутренним законам, и для науки, изучающей их объективными методами, как и для всех естественных наук, характерно непрерывное поступательное движение.

Было бы, однако, неверно отрицать вообще наличие надстроечных явлений в языкознании. Область языкознания, охватывающая такие проблемы, как определение места языка в жизни общества, языковая политика, языковые контакты, история слов в связи с историей общества, т. е. все то, что принято называть экстралингвистикой, не может не отражать борьбы разных идеологий и всегда несет отпечаток определенного мировоззрения. Кстати сказать, именно в этой области нередко происходит отложение вульгарно-социологических наслоений, и эволюция ее действительно является извилистой, спиральной.

Что такое структурализм?

Как известно, в настоящее время советские языковеды проявляют большой интерес к достижениям структуралистов и осваивают и дополняют все то полезное, что они внесли в практику лингвистического исследования.

Об исторических и методологических основах структурализма и его отличительных чертах написано очень много, и нет никакой необходимости говорить об этом еще раз. Мы ставим перед собой другую цель: дать критическую оценку некоторым высказываниям о структурализме, встречающимся в нашей литературе.

Некоторые представители традиционного языкознания часто подчеркивают связь структурализма с современным прагматизмом и неопозитивизмом, рассматривают структурализм как проявление упаднического зарубежного модернизма и утверждают, что сущность его — в антиисторизме и в дегуманизации языкознания путем его предельной формализации.

Знакомство с историей возникновения структурализма, изучение литературы и собственный (правда, очень скромный) опыт применения структурных методов позволяют сделать вывод, что такая характеристика является односторонней и необъективной.

Вопрос о том, где возник структурализм, за рубежом или в нашей стране, в данном случае не принципиален. Все же нельзя не отметить здесь, что Э. Бенвенист основоположниками структурализма считает «трех русских лингвистов»: С. Карцевского, Н. Трубецкого и Р. Якобсона[2].

[2] E. Benveniste, «Structure» en linguistique, «Sens et usages du terme structure dans les sciences humaines et sociales», ed. par R. Bastide, 's-Gravenhage, 1962 стр. 34.

Для любого, лишенного предубеждений, языковеда ясно, что самое примечательное и значительное в структурной лингвистике — не философские взгляды ее отдельных представителей, действительно не имеющие ничего общего с марксизмом, а специальные приемы анализа языка, применение которых не может быть безусловно поставлено в прямую зависимость от мировоззрения.

Возникновение структурализма не явилось чем-то внезапным или неожиданным. Почву для него подготовили младограмматики, которые первыми глубоко осознали особую природу языка и избрали объектом исследования язык как таковой, и именно эту сторону младограмматической концепции всесторонне развили структуралисты, противопоставившие ее атомизму и индивидуализму системность и универсализм[3]. В замене атомистических взглядов системными нашли свое выражение общие тенденции науки к всеобъемлющему охвату явлений, ограничению их разнообразия посредством выделения обобщенных типов, или инвариантов, образующих различные системы, и разработке логических принципов анализа самих систем[4]. Таким образом, структурная лингвистика имеет длительную историю, представляет закономерный этап в развитии мировой науки и никак не может быть подведена под определение модернизма.

Важной опознавательной чертой структурализма, по мнению В. И. Абаева, является формализм «как идеология, т. е. когда он пытается выдать форму явлений за их сущность» (стр. 27).

Традиционное употребление слова «форма» по отношению ко всему материальному в языке является условным. Выразительные средства языка не просто формальная оболочка его идеальной сущности — понятийного содержания, это — то специфическое, без чего язык перестает быть языком, а наука, изучающая его,— языкознанием. Сам факт многообразия, многовариантности материальной стороны, получивший выражение в существовании большого количества разных языков и диалектов, при идентичности, однотипности содержания, свидетельствует об ее особом положении в языке. «Язык есть тоже форма мысли,— писал еще в конце прошлого столетия А. А. Потебня,— но такая форма, которая ни в чем, кроме языка, не встречается. Поэтому формальность языкознания вещественна сравнительно с формальностью логики»[5]. Нельзя игнорировать также тот очевидный факт, что форма в языке живет и развивается независимо от значения и независимо от воли использующих ее людей. «...форма языка есть нечто объективное, стоящее вне всяких личных мнений, взглядов и вкусов»[6].

Подход к анализу языка со стороны формы не означает игнорирования содержания. Основной целью структурной лингвистики является не просто логически непротиворечивое описание или моделирование выразительной стороны языка, а исследование ее как средства передачи содержания.

Что касается огульных обвинений сторонников структурной лингвистики в антиисторизме, то они явились в значительной мере следствием недоразумения. Достаточно напомнить, что представители пражской школы никогда не игнорировали историю языка и придерживались той

[3] См.: N. Trubetzkoy, La phonologie actuelle, «Psychologie de langage», Paris, 1933, стр. 245, 246.

[4] См.: В. А. Лекторский, В. Н. Садовский, О принципах исследования систем, ВФ, 1960, 8, стр. 67—79.

[5] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I, Введение, Воронеж, 1874, стр. 83.

[6] Е. Ф. Будде, Методология русского языкознания, «Научно-педагогический сб.», III, Казань, 1926, стр. 12.

точки зрения, что системность одинаково характерна и для синхронного и для диахронического плана[7].

Упрекать структуралистов в дегуманизации языкознания все равно, что ставить в вину Колумбу существование Америки; языкознание как негуманитарная наука существовало параллельно гуманитарному языкознанию задолго до возникновения структурализма. Античная, древнеиндийская и арабская грамматические традиции не пренебрегали собственно лингвистическим описанием языка. Еще в период их зарождения появились теории звуков, перечни синтаксических правил и списки форм — прообразы современных парадигм и, следовательно, уже тогда в изучении языка наряду с «человеческим фактором» его происхождения и существования (язык возник в человеческом обществе и не мыслим вне его) важную роль играл естественный фактор его функционирования и развития.

Вряд ли можно согласиться и с тем определением структурной лингвистики, которое дает ей С. К. Шаумян — «наука, имеющая своим предметом изучение естественных языков с точки зрения их преобразования в абстрактные коды, служащие формальными моделями естественных языков»[8].

Лингвистические модели являются абстрактными гипотетическими построениями, которые создаются дедуктивным путем, на основе определенных логических посылок и правил, не выводимых непосредственно из анализа конкретных языковых фактов.

Моделирование — методический прием исследования, используемый для получения новых, более точных, более достоверных знаний об объекте, но не сами эти знания[9]. Сами по себе модели ничто. Можно создать бесчисленное количество моделей, и все они окажутся фикциями, если «коэффициент полезного действия» их, их объяснительная способность будет ничтожной или равной нулю. Иными словами, моделирование не самоцель, не конечная цель лингвистического исследования, а только начало его, точнее, одно из начал, так как вполне допустимы и другие приемы. Поэтому нет оснований сводить к нему все содержание структурной лингвистики и, тем более, считать его центральной задачей теоретического языкознания вообще.

Те советские языковеды, которые разделяют взгляды на язык представителей пражской школы (так называемый функциональный структурализм) и пользуются соответствующими приемами структурного анализа, рассматривают структурную лингвистику как новое и в основном прогрессивное направление традиционного языкознания[10], отличающееся

[7] См.: «Problèmes de méthode découlant de la conception de la langue comme système...», TCLP, I, 1929, стр. 7, 8. Ср. об этом у Б. Трнка: «Уже с самого начала своего существования пражская школа выдвигала в противоположность женевской школе мысль о том, что язык представляет собой не только синхронную систему, в которой „tout se tient", но и систему, находящуюся в определенном временном движении» (Б. Трнка и др., К дискуссии по вопросам структурализма, ВЯ, 1957, 3, стр. 47).

[8] С. К. Шаумян, Лингвистические проблемы кибернетики и структурная лингвистика, ВФ, 1960, 9, стр. 122.

[9] См.: А. А. Зиновьев, И. И. Ревзин, Логическая модель как средство научного исследования, ВФ, 1960, 1, стр. 83.

[10] Возникшая в среде представителей нового лингвистического направления тенденция отрицать преемственность теоретических взглядов и какую-либо связь с предшествующими направлениями и датировать начало истинно научного языкознания временем возникновения своей школы является неоправданной, странной и непонятной. Любопытно, что она проявляет себя и в отношении нетрадиционных школ. На один из таких случаев указывает, в частности, Э. Хауген. «В американской теоретической литературе,— пишет он,— редко встречаются ссылки на произведения де Соссюра, Трубецкого и какого-либо другого европейского лингвиста, хотя это были теоретики, вооружившие нас знаниями, которыми мы пользуемся и теперь. И хотя автор настоя-

от всех предыдущих направлений главным образом методической и в меньшей мере предметной стороной. Такая оценка структурализма, по-видимому, больше других соответствует фактическому положению вещей.

Что является содержанием теоретического языкознания?

Название этого раздела может показаться несколько смелым и претенциозным, но мы далеки от того, чтобы что-то категорически устанавливать, отвергать или навязывать. Все изложенное ниже — частные замечания и соображения по вопросу, который неоднократно ставится в статье В. И. Абаева и который должен быть подвергнут всестороннему рассмотрению.

Содержанием теоретического языкознания являются различные взгляды на о б ъ е к т, ц е л ь и м е т о д ы лингвистического исследования, и вся история языкознания, история многочисленных школ и направлений отражает эволюцию этих взглядов и их борьбу.

I. Наиболее важное место в языкознании занимает проблема объекта, которая на первый взгляд кажется надуманной или по крайней мере не представляющей никаких трудностей. В действительности же эта проблема настолько сложна, что вплоть до настоящего времени вызывает большие споры и решается по-разному.

В самом общем смысле объектом лингвистического исследования является язык, что совершенно очевидно и не требует доказательства. Трудности объясняются неодинаковым пониманием языка. Язык рассматривается: 1) как совокупность выразительных средств, 2) как единство звуковой формы и понятийного содержания в его особом преломлении, 3) как система чистых отношений (ср. у Ф. де Соссюра: «язык есть форма, а не субстанция»), 4) как деятельность, связанная с порождением текста, служащего целям коммуникации, и т. д. Примечательно, что Л. Ельмслев предлагал даже определять язык негативно [11].

Язык необычный, уникальный объект, многоплановый и многосторонний, и существо проблемы заключается совсем не в том, чтобы доказывать или оспаривать возможность разных подходов к его исследованию. Важно установить, что́ в языке собственно языковое, создающее его специфику, и какой из подходов является собственно лингвистическим.

Разного рода мысленные эксперименты, сама языковая действительность и анализ некоторых давно сложившихся научных понятий и определений приводят к выводу, что собственно языковое в языке — его материальная, или выразительная, сторона, имеющая сложную и чрезвычайно подвижную структурную организацию, и что в исследовании языка лингвист должен исходить из его формы. Что же касается идеальной стороны — содержания мышления, то она выступает как нечто внеязыковое, хотя проявляется лишь в форме языка, который в свою очередь выступает только «как непосредственная действительность мысли». Иногда наряду с понятийным содержанием выделяют специфически языковое

щей работы является одним из самых преданных почитателей Блумфилда и Сепира, тем не менее, он считает ограниченной точку зрения, что настоящее языкознание будто бы начинается с деятельности этих ученых» (З. Х а у г е н, Направления в современном языкознании, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 245). См. также у А. Мартине: «Название книги Ельмслева, весьма претенциозное, уже само представляет собой целую программу: речь идет об основах не одной из лингвистических теорий, а об основах лингвистической теории вообще» (А. М а р т и н е, О книге «Основы лингвистической теории» Луи Ельмслева, сб. «Новое в лингвистике», I, стр. 440). К сожалению, этой же «болезнью» страдают и некоторые советские структуралисты.

[11] L. H j e l m s l e v, Principes de grammaire générale, København, 1928, стр. 23.

содержание — значение[12], однако наличие двух содержаний или двух уровней одного содержания, внеязыкового и собственно языкового, является иллюзорным. Значение действительно свойственно языку, и язык существует постольку, поскольку существует значение, но это значение вовсе не содержание, не эманация мышления, а функция фонической формы, заключающаяся в передаче определенных понятий, в соотносимости с определенным понятийным содержанием, функция, закрепляемая общественной практикой и лежащая в основе того, что принято называть единством языка и мышления. Это значение обычно не входит в круг исследовательских интересов лингвиста, и им занимаются психологи.

Разрыв выразительной стороны и содержания, т. е. обособление языка от мышления, а мышления от языка, не отражает внутренней природы ни языка, ни мышления. Подобный разрыв носит эвристический характер. Он является приемом, способствующим выделению той стороны явления, исследование которой обеспечивает наиболее глубокое и правильное понимание его в целом. Иначе говоря, мы имеем дело с единым комплексным явлением («язык и мышление»), объектов исследования же может быть два и больше («язык», «мышление», «значение»).

Выразительные средства обладают признаками системы и структуры. Это значит, что объектом лингвистического исследования могут быть парадигматические отношения и синтагматические связи. При этом системный подход к языку предполагает рассмотрение его структуры, анализ же структуры может ограничиваться простой констатацией последовательностей текста, что характерно, например, для классического американского дескриптивизма.

Особого внимания заслуживает возможность восприятия языка как процесса, отмеченная еще В. Гумбольдтом (язык — организм и язык — деятельность, «беспрестанное повторение действия духа на членораздельный звук для претворения его в выражение мысли») и Ф. де Соссюром («в любую минуту язык есть и живая деятельность и продукт прошлого») и абсолютизированная сторонниками трансформационного анализа. Необходимо только отметить, что при всем различии восприятия языка как организма или продукта прошлого и восприятия его как деятельности или процесса, одно из них не исключает другого, а дополняет. И было бы не вполне правильно видеть в исходящем из этого различия делении грамматики на классификационную, или таксономическую, и трансформационную, или порождающую, отражение[13] разных уровней развития новейшей теории и следствие ее дальнейшего полного раздвоения.

II. Общую цель лингвистического исследования можно предположительно сформулировать так: выяснение принципов организации и функционирования выразительных средств языка в отношении к содержанию.

III. Со способами решения проблемы объекта и цели тесно связан выбор методов исследования.

Основные методы исследования языка — анализ по дифференциальным признакам, дистрибутивный анализ, трансформационный анализ, моделирование и т. д. Почти каждый из них имеет ограниченную сферу применения: анализ по дифференциальным признакам рассчитан главным

[12] Ср. у Т. П. Ломтева: «...установление того факта, что значение языкового знака наряду с понятием, представлением, ощущением является одной из форм отражения объективной действительности, имеет принципиальное теоретическое значение», и далее: «Значение есть выражаемое: оно идеально» (Т. П. Ломтев, О природе значения языкового знака, ВФ, 1960, 7, стр. 130).

[13] См.: N. Chomsky, The logical basis of linguistic theory, «Proceedings of the IX International congress of linguists, Cambridge, Mass., August 27—31, 1962», London, 1964, стр. 922—924.

образом на фонологический уровень, дистрибутивный анализ используется на любом уровне [14], однако наиболее эффективен он в морфологии и синтаксисе, область плодотворного применения трансформационного анализа — синтаксис. Поиски универсального метода лингвистического исследования связаны с попыткой построения дедуктивной теории языка, впервые предпринятой Л. Ельмслевом.

Обособленное место в иерархии методических приемов занимают сравнительный и сравнительно-сопоставительный методы.

В разных науках, в зависимости от характера исследуемых явлений, используются или индуктивные, или дедуктивные, или и те и другие методы. Когда явление неоднородно и многообразно, наиболее эффективный путь его познания — в восхождении от частного к общему, когда же явлению свойственна однородность, повторяемость тех или иных элементов, полезнее вести исследование в обратном направлении, двигаясь от общего к частному.

Знакомство с языком и его спецификой приводит к заключению, что собственно лингвистическая теория может успешно развиваться только при сочетании индукции с дедукцией, однако в своей основе она должна быть индуктивной. Недостатки традиционного языкознания, имеющего большие достижения, объясняются не тем, что оно пользовалось индуктивными методами, а тем, что эти методы не были в достаточной мере строгими, объективными.

Возможность создания лингвистической теории чисто дедуктивным или преимущественно дедуктивным путем кажется сомнительной. Язык как в статическом восприятии, так и в его интерпретации как процесса, неоднороден, нерегулярен и противоречив, и формализация его как целостной системы или структуры представляет большие трудности. Формализация же эволюции языка, по-видимому, вообще исключена: никакая дедуктивная схема не может стать аналогом (моделью) естественного исторического процесса, так как последний регулируется не только внутренними импульсами системы, но и воздействием внешних факторов (кроме того, действие языковых закономерностей в отличие от естественных законов ограничено их взаимным противодействием, временем, пространством и даже средой) [15].

Необходимо ли размежевание традиционной и структурной лингвистики?

Сама постановка подобных вопросов необычна, противоестественна для науки: у науки есть своя, внутренняя, логика развития, не имеющая ничего общего ни с капризами моды, ни с конъюнктурными соображениями и особенностями вкуса, ни с произволом отдельных, даже влиятельных лиц. Эта логика такова, что все случайное, поверхностное в науке быстро отступает на задний план и предается забвению и, напротив, все основательное, глубокое, открывающее перспективы ее дальнейшего развития в конце концов пробивает себе дорогу.

Попытки конъюнктурного административного воздействия на ход развития науки никогда не приносили успеха и слишком дорого обходились государству.

---

[14] Разумеется, понятие уровня в языке весьма относительно.

[15] См.: J. V a c h e k, On some basic principles of «classical» phonology, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationforschung», 17, 5, Berlin, 1964, стр. 414.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1963

А. В. ДЕСНИЦКАЯ

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНО-АЛБАНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

I. Вопрос о древних германо-албанских языковых связях составляет часть проблемы определения места, занимаемого албанским языком в составе индоевропейского лингвистического единства. При изучении этого вопроса необходимую историческую предпосылку составляет положение о том, что Балканский полуостров, как и другие полуострова южной Европы, не входил в ареал первоначального распространения индоевропейской речи. Заселение его индоевропейскими племенами, передвигавшимися к югу из более северных областей, происходило в основном на протяжении III—II тысячелетий до н. э. (если не считать более поздних германских и славянских передвижений, а также возможностей появления отдельных групп носителей индоевропейской речи до III тысячелетия). В процессе этих древнейших переселений появились на Балканах и предки современных албанцев, жившие до того времени где-то в центральной Европе, рядом с другими индоевропейскими племенами.

Древние связи албанского с другими индоевропейскими языками, сложившиеся в добалканский период его истории, представляют большой интерес для изучения ареальных отношений внутри индоевропейской лингвистической общности, так как это единственный, помимо греческого и, возможно, армянского (если считать его связанным с фригийским), живой язык, представляющий речь индоевропейских племен, заселявших в древности Балканский полуостров. Как бы ни решать вопрос о его происхождении — в пользу иллирийской, фракийской, дако-мизийской гипотезы — в любом случае албанский продолжает непрерывную линию развития некоего древнего языка, принадлежавшего к одной из центральных частей индоевропейского лингвистического ареала. В силу превратностей исторической судьбы эта часть оказалась выпавшим звеном в системе лингвистических фактов, составляющих предмет индоевропейского сравнительного языкознания. Именно поэтому изучение связей генетического и контактного характера, определяющих положение албанского в кругу родственных языков, важно как один из путей заполнения весьма ощутимой лакуны в сети фактических данных, находящихся в распоряжении индоевропейской ареальной лингвистики.

II. Для индоевропейского сравнительного языкознания проблема соотношения албанского с родственными ему индоевропейскими языками имеет два аспекта: 1) собственно генетические связи и 2) связи, обусловленные историческими контактами древнейшей поры, т. е. периода, предшествовавшего переселению праалбанцев на Балканы. Что касается связей, сложившихся позднее, уже на Балканском полуострове, то они относятся к области проблем собственно «балканской лингвистики».

1. Принадлежность албанского к индоевропейской языковой семье была впервые определена еще в 1835 г. в работе И. Ксиландера[1]. На этапе первичной систематизации генетических отношений между индоевропейскими языками албанский привлек к себе внимание основоположников сравнительного языкознания прежде всего с этой точки зрения. А. Шлейхер, составляя свою схему родословного дерева индоевропейских языков, поместил албанский в «греческую семью пеласгийской ветви» и усматривал в нем результат изменения или «разложения организма» древнегреческого языка[2]. Это суждение Шлейхера не было основано на детальной проработке языковых материалов, но скорее на чисто внешних соображениях, в основном географического порядка. В дальнейшем оно было отброшено ввиду его полного несоответствия реальному соотношению лингвистических фактов. В 1854 г. Фр. Бопп убедительно доказал, что албанский, принадлежа к индоевропейской семье языков, не связан, однако, более тесными отношениями родства ни с одним из сохранившихся представителей этой семьи. При этом Бопп специально подчеркнул полную несостоятельность мнения о ближайшем родстве албанского с греческим[3].

Со второй половины XIX в. попытки определения непосредственно генетических связей албанского языка внутри индоевропейского лингвистического единства направлялись на установление его отношения к исчезнувшим языкам древних народов Балканского полуострова. Поскольку область современного расселения албанцев частично покрывает территорию, занимавшуюся в античную эпоху иллирийскими племенами, с самого начала казалась естественной мысль о том, что албанцы — потомки иллирийцев, а язык их — продолжение древней иллирийской речи. Это положение, высказывавшееся и ранее[4], сформулировал в своих исследованиях Г. Мейер, выдающийся албановед конца XIX в.[5]. Его мнение разделяли С. Бугге, К. Бругман, П. Кречмер, Г. Педерсен и др. В 20—30-х годах XX в. гипотезу об иллиризме албанского поддержал Н. Йокль, обосновавший свою позицию детальным анализом скудных остатков иллирийской речи[6]. Йокль не отрицал возможности участия также фракийских элементов в формировании албанской народности и ее языка.

Против иллирийской гипотезы в определении генетических связей албанского выступил еще в конце XIX в. Г. Хирт[7]. Исходя из прямолинейной концепции деления всех индоевропейских языков на группы centum и satəm, он отрицал какую-либо возможность сближения иллирийского, который он относил к числу языков centum, с сатемным албанским. Его точка зрения надолго утвердилась в языкознании, особенно благодаря полемической статье Г. Вейганда[8], который сформулировал

---

[1] J. Ritter von Xylander, Die Sprache der Albanesen oder Shkipetaren, Frankfurt am Main, 1835.

[2] A. Schleicher, Linguistische Untersuchungen, II, Bonn, 1850, стр. 138 и след.

[3] Fr. Bopp, Über das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen, «Abhandl. der Kön. Akad. der Wissenschaften zu Berlin», Berlin, 1855, стр. 459.

[4] См.: J. Thunmann, Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, Leipzig, 1774.

[5] G. Meyer, Essays und Studien zur Sprachgeschichte und Volkskunde, I, Berlin, 1883, стр. 53.

[6] N. Jokl, Albaner, в кн.: «Reallexikon der Vorgeschichte», hrsg. von Ebert, I, Berlin, 1924.

[7] H. Hirt, «Indogermanica. Forschungen über Sprache und Geschichte Alteuropas», hrsg. von H. Arntz, Halle/Saale, 1940.

[8] G. Weigand, Sind die Albaner die Nachkommen der Illyrer oder der Thraker? «Balkan-Archiv», III, Leipzig, 1927.

целый список аргументов против иллирийской гипотезы и отстаивал собственное мнение о фракийском происхождении албанского языка. Аргументация Вейганда приобрела известную популярность главным образом среди языковедов, не занимавшихся албановедением специально. С точки зрения научного албановедения нельзя не заметить слабость этой аргументации[9].

Тезис о фракийском происхождении албанского языка Вейганд обосновывал в первую очередь тем, что старые албано-румынские языковые связи могли возникнуть лишь на фракийской почве. В целом, предлагавшаяся в работах Г. Вейганда трактовка вопросов албанской языковой и этнической истории была полностью подчинена разделявшейся этим автором концепции сложения румынской народности в центре Балканского полуострова, к югу от Дуная[10].

Собственно албановедческая аргументация, привлекавшаяся Вейгандом, была довольно поверхностна и в ряде моментов субъективна[11].

Сторонниками фракийской гипотезы в вопросе о происхождении албанского языка были также Г. Барич и Д. Дечев[12].

В недавнее время Вл. Георгиев выдвинул точку зрения о том, что албанский является продолжением дако-мизийского языка, отличного в

---

[9] Наиболее убедительным из доводов Вейганда многим казалось повторяемое нередко и сейчас утверждение его о том, что албанцы не могут считаться потомками иллирийцев, в частности, потому, что албанская терминология мореплавания и рыбной ловли является заимствованной; между тем иллирийцы были известны в древности как опытные мореплаватели. Искусственность этого аргумента совершенно очевидна для всякого, кто имеет более или менее конкретное представление о территории Албании и образе жизни ее населения. Дифференцированной терминологией морского судоходства и рыбной ловли пользуются лишь жители рыбачьих поселков, непосредственно расположенных на берегу моря. Терминология эта действительно (и это отмечалось еще до Вейганда) включает в себя большое количество иноязычных элементов (итальянских, греческих, турецких), что вообще характерно для этой специальной лексической сферы в странах восточного Средиземноморья. Что касается жителей албанских сел и городов, лежащих в некотором расстоянии от моря и не связанных с морскими промыслами, то они этой лексикой не владеют по вполне понятным причинам. В особенности это относится к горным районам, составляющим значительную часть албанской территории.

Аналогичное соотношение, без сомнения, существовало и в античную эпоху. Мореплавателями были, конечно, отнюдь не все иллирийцы, но лишь некоторая часть их, жившая на побережье. Основная масса иллирийских племен, населявших северо-западную часть Балканского полуострова, занималась земледелием и скотоводством, будучи, по всей вероятности, столь же мало связана с морем, как и современные албанские крестьяне. Поэтому отсутствие унаследованной от иллирийцев, т. е., иначе говоря, исконно албанской, терминологии мореплавания и рыбной ловли никак не может служить аргументом против гипотезы об иллирийском происхождении албанцев.

Утверждение Вейганда об отсутствии старых географических названий на иллирийской территории, отразивших исторические закономерности фонетики албанского языка, было в свое время убедительно опровергнуто в исследованиях Н. Йокля (N. J o k l, Zur Geschichte des albanischen Diphthongs *-ua- -ue-*, IF, 50, 1932, стр. 33—34; е г о ж е, Balkanlateinische Studien, «Balkan-Archiv», IV, Leipzig, 1928; е г о ж е, Zu den lateinischen Elementen des albanischen Wortschatzes, «Glotta», XXV, 1936). Новейшие данные по этому вопросу содержатся в исследованиях Э. Чабея (см.: E. Ç a b e j, Problemi i autoktonisë së shqiptarëvet në dritën e emravet të vendeve, «Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës», Seria Shkencat Shoqërore, 1958, 2; е г о ж е, Einige Grundprobleme der älteren albanischen Sprachgeschichte, «Studia Albanica», 1, Tirana, 1964).

[10] G. W e i g a n d, Vorwort, zugleich Programm des Balkanarchivs, «Balkan-Archiv», I, Leipzig, 1925. См. также: е г о ж е, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, 1924, стр. 11 и сл.

[11] Критический разбор точки зрения Вейганда содержится в рецензии Н. Йокля («Indogermanisches Jahrbuch», XIII, стр. 188).

[12] Н. B a r i ć, [рец. на кн.:] N. Jokl, Albaner, «Архив за арбанаску старину, језик и етнологију», II 1, Београд, 1924; е г о ж е, Istorija arbanaškog jezika, Sarajevo, 1959; Д. Д е ч е в, Характеристика на тракийския език, София, 1952.

ряде своих фонетических признаков от фракийского[13]. В интересной концепции Вл. Георгиева остается неясным существенно важный вопрос о соотношении дако-мизийского с иллирийским или, иначе говоря, с языком тех племен, которые населяли в древности западную часть Балканского полуострова и, подобно фракийскому и дако-мизийскому, оставили следы в виде обширной ономастики и единичных глосс. Нельзя не заметить, что бо́льшая часть фонетических признаков, реконструируемых Георгиевым для дако-мизийского[14], совпадает с фонетическими чертами балкано-иллирийского типа речи; сходную картину обнаруживает и так называемый мессапский язык, известный по многочисленным надписям из южной Италии[15]. Отсюда может следовать вывод о том, что некоторыми из фонетических особенностей, отличавших, согласно Георгиеву, дако-мизийский от фракийского, охватывалась довольно большая часть древнебалканского языкового ареала, включая не только дако-мизийский и праалбанский, но и тот тип индоевропейской речи, который условно можно обозначить как иллирийский. С другой стороны, сама широта распространения этой суммы фонетических признаков делает ее недостаточно специфичной для отождествления праалбанского с дако-мизийским. В отношении лексики гипотеза Вл. Георгиева недостаточно подкреплена надежными собственно албанскими этимологиями.

В последние годы иллирийская гипотеза снова находит много сторонников. Кроме В. Пизани[16], ее поддерживают В. Цимоховский, Э. Хэмп и Э. Чабей, выдвинувшие ряд новых аргументов[17].

При крайней бедности фактических сведений об иллирийской и фракийской (соответственно и дако-мизийской) речи (немногие глоссы и обширная ономастика, дающая, однако, мало реальной лингвистической информации), а также при исторической неопределенности самих понятий «иллирийцы»[18] и «фракийцы», вряд ли можно ожидать достижения полной ясности в определении генетических связей албанского с тем или иным из древних языков Балканского полуострова.

Тем не менее, если понимать под условным названием «иллирийский» или точнее — «балкано-иллирийский» — остатки языка (или языков) племен, населявших в античную эпоху северо-западную часть Балканского полуострова[19]; оказывается, что именно в этих материалах до сих

[13] В. Георгиев, Тракийският език, София, 1957; его же, Albanisch, Dakisch-Mysisch und Rumänisch. Die Herkunft der Albaner, «Балканско езикознание», II, София, 1960; его же, Българска етимология и ономастика, София, 1960.

[14] См.: Vl. Georgiev, Albanisch, Dakisch-Mysisch und Rumänisch, стр. 14.

[15] Ср.: O. Haas, Messapische Studien, Heidelberg, 1962, стр. 166 и сл.

[16] V. Pisani, Les origines de la langue albanaise. Questions de principes et de methode, «Studia Albanica», Tirana, 1964, 1, стр. 63 и сл. См. также: его же, Linguistica generale e indoeuropea, Milano, 1947.

[17] W. Cimochowski, Prejardhja e gjuhës shqipe, «Bul. i Univers. të Tiranës», Ser. Shk. Shoq., 1958, 2; E. P. Hamp, Albanian and Messapic, «Studies presented to J. Whatmough», 's-Gravenhage, 1957; E. Çabej, Disa probleme themelore të historisë së vjetër të gjuhës shqipe», «Bul. i Univers. të Tiranës», Ser. Shk. Shoq., 1962, 4.

[18] См. критическую оценку состояния исследований в области иллиристики, содержащуюся в статье Г. Кронассера (H. Kronasser, Zum Stand der Illyristik, «Балканско езикознание», IV, София, 1962).

[19] На постановку вопроса об албано-иллирийских связях не должно, как я полагаю, повлиять то существенное изменение, которое произошло во взглядах Г. Крае на иллирийскую проблему. Как известно, в ряде своих последних работ Крае в сущности снимал понятие «иллирийского» языка, заменяя его понятием «древнеевропейского» (alteuropäisch) языкового состояния (см. его предисловие к «Die Sprache der Illyrier», II, Wiesbaden, 1964, стр. VI; специальное изложение эволюции своих взглядов на этот вопрос Крае дал в статье «Vom Illyrischen zum Alteuropäischen», IF, LXIX, 3, 1964). Новая теория Г. Крае представляет собой в известной мере реакцию на «паниллирийские» гипотезы 30-х годов, в создании которых он сам тогда сыграл некоторую роль. Отправным моментом для такого рода построений было открытие объективного

пор обнаружено относительно большее число надежных лексических и фонетических соответствий с современным албанским. Значение установленных иллиро-албанских лексических соответствий было подчеркнуто в свое время Йоклем, полагавшим, что «чем скуднее наши сведения о древнеиллирийской лексике, тем важнее ее соответствия с албанской»[20].

Несомненный интерес имеет сравнение албанских фактов с материалами надписей из южной Италии на так называемом мессапском языке, связь которого с иллирийской речью на Балканах признается рядом исследователей[21]. Хотя мессапские надписи лаконичны и однообразны в отношении лексики и набора грамматических форм, все же они дают некоторые точки опоры для установления определенных мессапо-албанских соответствий в области лексики и фонетики[22].

В то же время количество надежных этимологий, которыми пока располагают сторонники теории о фракийском происхождении албанского языка, гораздо более ограничено. Это касается и дако-мизийской гипотезы Вл. Георгиева.

В дальнейшей разработке этой проблемы значительную роль должен играть более углубленный и тщательный сравнительно-исторический анализ албанских языковых материалов, которым предшествующие исследователи далеко не всегда уделяли достаточно внимания. Внутренняя реконструкция древнеалбанской языковой модели сама по себе несомненно поможет в установлении лингвистических характеристик исчезнувших индоевропейских языков Балканского полуострова.

факта повторяемости некоторых типов ономастики, получивших определение «иллирийских», на обширном ареале юго-восточной, центральной, северной и северо-западной Европы — от берегов Адриатического моря до Прибалтийских земель и побережья Атлантического океана. Справедливо отвергая невероятный тезис о «незесущих иллирийцах» и ища иного объяснения упомянутым фактам, Крае в последние годы жизни развивал идею о существовании древнеевропейского языкового единства, предшествовавшего выделению отдельных лингвистических групп в западной части индоевропейского языкового ареала. Разрабатывая эту свою новую концепцию, Крае развернул целую серию интересных исследований в области ономастики. Независимо от направления и результатов этих исследований, нельзя, однако, игнорировать тот объективный факт, что в античную эпоху в северо-западной части Балканского полуострова проживали племена с индоевропейской речью (это определяется с достаточной убедительностью, несмотря на скудность материалов), не относившиеся ни к числу греческих, ни к числу италийских и иногда обозначавшиеся античными авторами как «иллирийские». Речь этих племен, конечно, не может быть определена как «древнеевропейская» — в том смысле, как употреблял этот термин Г. Крае. При всей скудности документации, здесь все же следует искать какой-то определенный индоевропейский язык, находившийся в специфических отношениях с другими, более или менее близкородственными ему языками. Раскрытие этих отношений составляет одну из конкретных проблем современной компаративистики; в частности, оно непосредственно важно для изучения древних языковых отношений Балканского полуострова. При этом вряд ли есть необходимость отказываться от привычного и поддержанного античной традицией наименования «иллирийский», отмечая, конечно, его известную неопределенность и тем самым условность.

[20] N. Jokl, Albaner, стр. 85.

[21] См.: H. Krahe, Die Sprache der Illyrier, I — Die Quellen, Wiesbaden, 1955, стр. 9. Характерно, что во втором томе этой серии (H. Krahe, Die Sprache der Illyrier, II, Wiesbaden, 1964) Г. Крае опубликовал две монографии, специально посвященные памятникам мессапского языка (C. de Simone, Die messapischen Inschriften и J. Untermann, Die messapischen Personennamen). Более сдержанную позицию в этом вопросе занимает О. Хаас, считающий преждевременным вывод о ближайшем родстве мессапского с иллирийским. См.: O. Haas, указ. соч., стр. 11 и сл.

[22] Э. Хэмп, собравший до двух десятков албано-мессапских лексических соответствий, некоторые из которых можно считать достаточно убедительными, полагает, что эти «значимые соответствия специфического характера» дадут «значительный материал дополнительного порядка, на котором мы сможем надеяться построить твердое доказательство родства иллиро-мессапского и албанского языков» (E. P. Hatp, Albanian and Messapic, стр. 87). Выявленные Хэмпом албано-мессапские фонетические соответствия также представляются довольно определенными.

Однако при всем том трудно надеяться, чтобы иллиро-фракийская или (с новейшим уточнением) иллиро-дакомизийская контроверза могла, наконец, выйти из состояния более или менее вероятных гипотез и окончательно решилась в ту или иную сторону.

2. Изучение отношений албанского с другими индоевропейскими языками выявило: а) сохранение в нем ряда общих для всей лингвистической семьи унаследованных элементов; б) соответствия, ограниченные определенными ареалами и свидетельствующие о контактных связях между индоевропейскими племенами в эпохи, предшествовавшие разделению древней языковой общности.

Результатом этимологических исследований Г. Мейера явилось определение многочисленных и характерных связей албанского прежде всего с языками северноевропейского ареала — балтийскими, славянскими и германскими. Г. Педерсен добавил к наблюдениям Мейера несколько характерных албано-армянских лексических соответствий. Н. Йокль, в результате проведенной им большой серии исследований албанской лексики в ее исторических и ареальных связях с различными индоевропейскими и неиндоевропейскими языками, пришел к выводам, подтвердившим точку зрения Г. Мейера. Йокль полагал, что специальные лексические соответствия албанского с северноиндоевропейскими языками, относящиеся преимущественно к области примитивного сельского хозяйства, леса, обработки дерева, говорят о древнем соседстве предков албанцев с предками балтийских, славянских и германских народов где-то в лесной зоне на северо-востоке Европы. В подтверждение этой мысли Йокль приводил также некоторые обнаруженные им древние албано-финноугорские лексические соответствия, свидетельствующие о древних контактах[23].

Делались и другие попытки определения места албанского (вернее «протоалбанского») языка в кругу индоевропейских диалектов доисторического периода. Так, например, Г. Барич предполагал существование особого албано-фрако-фригийско-армянского диалектного единства, в котором фракийский и фригийский языки должны были занимать промежуточное положение между албанским, с одной стороны, и армянским, с другой[24]. Гипотеза эта мало связана с реальным характером языковых фактов. Фракийский и фригийский языки почти неизвестны, а утверждение о наличии специальных связей между албанским и армянским требует доказательств более веских, чем несколько лексических соответствий, отмеченных Педерсеном. Попытка самого Г. Барича обнаружить такие связи в области фонетики и морфологии представляется очень неубедительной.

В предложенной Вл. Георгиевым схеме диалектного членения индоевропейской лингвистической общности эпохи раннего неолита[25] совсем не учтены наблюдения, сделанные предшествующими исследователями относительно связей албанского с балтийскими, славянскими и германскими языками. Эти языки Георгиев выделил в особую «северноиндоевропейскую группу», а албанский объединил вместе с греческим, македонским, индо-иранским, фригийско-армянским, фракийским, пеласгским и карийским языками в составе «центральноиндоевропейской» группы. Эта схема не подкреплена конкретной лингвистической аргументацией.

---

[23] N. Jokl, Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner, «Wörter und Sachen», XII, 1929, стр. 63 и сл.

[24] H. Barić, Istorija arbanaškog jezyka, стр. 28.

[25] В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958, стр. 276 и сл.

Фракийский, фригийский, пеласгский, карийский[26] — это в сущности почти неизвестные величины; специальные соответствия албанского с индо-иранской речью не обнаружены; вопрос об албано-армянских соответствиях нуждается в более углубленной разработке, а албано-греческие лексические связи в большинстве своем относятся к позднейшему периоду исторических контактов греков и албанцев, в основном уже на Балканском полуострове[27].

Более удачную схему отношений албанского с другими языками древнего индоевропейского ареала предложил В. Пизани: «мы можем различить среди индоевропейских элементов албанского, помимо тех, которые присущи большинству индоевропейских языков, также известное количество элементов отдаленной эпохи, связывающих его с языками северного центра Европы, т. е.— перечисляя в порядке нарастающей важности отношений — с германскими, балтийскими и славянскими; несколько более поздний слой показывает нам связь албанского с фракийским и через его посредство с фригийским и армянским (и иранским), кроме того, с греческим или, вернее, с некоторыми из диалектов, которые впоследствии приняли участие в образовании греческого единства, и с будущими оско-умбрскими диалектами»[28].

Эта хронологическая схема приблизительно отражает достигнутые до сих пор результаты сравнительно-исторического исследования албанских языковых фактов. Следует напомнить также, что В. Пизани считает албанский язык продолжением иллирийского.

III. Выявленные предшествующими исследованиями особые связи албанского с северноиндоевропейскими языками — балтийскими, славянскими, германскими, дают основания искать добалканскую родину той группы индоевропейских племен, к которой принадлежали предки албанцев, где-то по соседству с областью расселения соответствующих северноиндоевропейских племен. Языковые связи возникли в результате более или менее длительных исторических контактов между племенами, входившими в состав одной из региональных общностей внутри еще сохранявшего относительное единство индоевропейского ареала.

В лексических соответствиях, объединяющих албанский полностью или частично с северноиндоевропейской языковой группой, иногда участвуют также кельтские и италийские языки, что говорит о территориальной непрерывности области расселения индоевропейских племен в юго-западном направлении. Вероятно, такая же непрерывность лингвистических связей простиралась и в юго-восточном направлении. Однако большая лакуна в сети языковых фактов, образовавшаяся благодаря почти полному отсутствию конкретных сведений о языках фракийской группы, сильно ограничивает возможности исследования и воссоздания картины диалектных отношений на этом важном участке, принадлежавшем к центральной зоне древнего индоевропейского ареала.

Для определения положения албанского языка с точки зрения индоевропейской диалектной географии интересно отметить его отношение к некоторым важным изоглоссам, пересекавшим всю область древнего лингвистического единства.

---

[26] В результате специальных исследований В. В. Шеворошкина выясняется принадлежность карийского к хетто-лувийской языковой группе. См.: В. В. Шеворошкин, Исследования по дешифровке карийских надписей, М., 1965, стр. 286 и сл.

[27] Ср.: V. Pisani, Lexikalische Beziehungen des Albanesischen zu den anderen indogermanischen Sprachen, «Saggi di linguistica storica. Scritti scelti di Vittore Pisani», Torino, 1959, стр. 134.

[28] V. Pisani, L'albanais et les langues indo-européennes, «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves», X, Bruxelles, 1950, стр. 538.

1. В албанском языке и.-е краткое **o* отражено как *a* и совпало с рефлексом и.-е. краткого **a*.

И.-е. **nok^{w}-t-*: алб. *natë* «ночь», ср. лат. *nox*, *noctis*, др.-ирл. *i-nnocht* «этой ночью», ст.-слав. *нощь*, литов. *naktis*, др.-в.-нем. *naht*, др.-инд. *nakt-*.

И.-е. **ost(h)-*: алб. *asht* «кость», ср. лат. *os*, *ossis*, греч. ὀστέον, хет. *ḫaštai-*, др.-инд. *asth-*, *asthi-*.

И.-е. **kap-*: алб. *kap* «хватаю», ср. лат. *capiō* «беру», гот. *hafja* «поднимаю».

Таким образом, в албанском, как и в ряде других индоевропейских диалектов (герм., балт., слав., мессап., балкано-иллир., иран., инд., хет.), снято фонологическое противопоставление и.-е. кратких **o* и **a*. Однако в более тесное единство албанский группируется только с балтийскими, славянскими, германскими, иллирийскими и мессапским, так как в отличие от индийских и иранских указанные индоевропейские диалекты охвачены также изоглоссой сохранения и.-е. краткого **e*, которое в индоиранской области перешло в *a* и совпало таким образом с аналогичным рефлексом и.-е. **o* и **a*. Вся северноиндоевропейская область, к которой принадлежат также албанский и иллирийский (с мессапским), по признаку сведения индоевропейской схемы трех кратких гласных **e* : **o* : **a* к схеме из двух гласных[29] противополагается обширной области на юго-западе и юге индоевропейского ареала (кельт., итал., греч., фриг., арм.), где трехчленная схема сохраняется, и индо-иранской области, где трехчленная модель сведена к одночленной.

2. Индоевропейские звонкие аспирированные смычные в албанском отражены как простые звонкие смычные.

И.-е. **dher-*: алб. *bie* «несу, приношу» (**bherō*), ср. гот. *baira*, ст.-слав. *беръ*, др.-ирл. *biru*, арм. *berem*, авест. *baraiti* (3-е лицо ед. числа), но др.-инд. *bharāmi*, греч. φέρω, лат. *ferō*.

И.-е. **dheu-b-* «глубокий»: алб. *dët* (из **dheubeto-*) «море», ср. гот. *diups* «глубокий», *daupjan* «погружать в воду», литов. *dubùs*, латыш. *dubbs* «глубокий», *dùobe* «яма», *dubuo* «бассейн, водоем», ст.-слав. *дъно* (из **dъbno*) и др.

И.-е. **steigh-* «шагать, восходить»: алб. *shteg* (из **stoigho-*) «тропа, проход», ср. гот. *steigan* «восходить», *staiga* «тропа», литов. *sti a* «тропа», ст.-слав. *стигнѫ*, но греч. στοῖχος «ряд, линия».

В этом случае албанский объединяется с большим количеством индоевропейских языков, в том числе, помимо балтийских, славянских и германских, также с кельтскими, иллирийскими, фракийскими и иранскими; тем самым он резко отличен от италийских, венетского и греческого, сохранивших все три ряда индоевропейских смычных и утративших лишь звонкость аспирированного ряда.

Важной инновацией обширного ареала, протянувшегося от иранской языковой области на востоке до кельтской на западе, является объединение в один из двух рядов индоевропейских смычных — простых звонких и звонких аспирированных. В центре этого ареала лишь германская языковая область не провела этой инновации, осуществив передвижение согласных и сохранив благодаря этому исходную дистантность между тремя рядами индоевропейских смычных. Албанский, как и другие языки указанного ареала, находившиеся в контактных связях с германскими,

---

[29] Аналогичное преобразование трехчленной индоевропейской схемы кратких гласных в двухчленную (**e* : **o* : **a* > *e* : *a*) характерно также для хеттского языка. Однако в данном случае скорее можно предполагать независимость сходного развития в географически отдаленном ареале.

оказался захваченным инновацией, существенно изменившей систему консонантизма, унаследованную от праязыкового состояния.

3. Албанский относится к числу «сатемных» языков, сохранявших особый палатальный ряд индоевропейских гуттуральных и осуществивший их ассибиляцию.

И.-е. **k̂ens-*: алб. *thom* (из **k̂ēnsmi*) «говорю», ср. др.-инд. *çaṁsáyati* «возвещает», авест. *sah-* «возвещать», лат. *cēnseō* «высказываю суждение», ст.-слав. *сѫтъ* «он сказал» (изолированная форма корневого аориста)[30].

И.-е. **ĝombho-*: алб. гег. *dhâm(b)* «зуб», ср. др.-инд. *jambhaḥ*, ст.-слав. *зѫбъ*, латыш. *zùobs* «зуб», ср.-в.-нем. *kamb* «гребень», греч. γόμφος «гвоздь, клин».

Однако для албанского языка, так же как для балтийских и (в меньшей мере) для славянских, характерна «непоследовательная сатемность». Это выражается в случаях сохранения смычности на месте ожидаемой ассибиляции, что определялось в свое время явлением депалатализации индоевропейских палатальных в некоторых фонетических позициях (в частности, в соседстве с сонантами *r*, *l*). Так, в образованиях от и.-е. корня **k̂leu-* «слышать, слыть»: ст.-алб. *klunet* «слывет, зовется», ср. литов. *klausýti*, др.-прусск. *klausītton*, латыш. *klausīt* «слушать», но ст.-слав. *слоути* «слыть» и др. Ср. мессап. повелит. *klaohi* «услышь!», лат. *cluēō* «слыву, называюсь», др.-в.-нем. *hlosēn* «слушать» и др.

Также алб. *mjekër* «борода, подбородок», литов. *smãkras*, *smakrà* «борода», ср. хет. *zama(n)kur* «борода» и др.-инд. *çmaçru-* (из *smaçru-*) «борода».

В албанском вообще, как убедительно доказал Н. Йокль, ассибиляция индоевропейских палатальных осуществилась относительно поздно. Тождественность развития и.-е. **k̂* и **k* перед *t* свидетельствует о том, что и в эпоху своего самостоятельного развития древнеалбанский язык продолжал еще сохранять смычное произношение индоевропейских палатальных[31].

«Непоследовательную сатемность» можно считать признаком довольно широкой переходной полосы в центральной части индоевропейского диалектного ареала, к которой, помимо балтийских, славянских и албанского, видимо, принадлежали также иллирийские (с мессапским)[32] и фракийские языки. Тенденция к ассибиляции палатальных — мощная инновация, двигавшаяся с востока — в этой полосе заметно ослабевала, встречаясь с надвигавшейся с запада тенденцией к нейтрализации противопоставления палатальных и велярных. Непоследовательность в реализации обеих тенденций определила картину смешения признаков satəm и centum, которая в той или иной степени характеризует языки, некогда находившиеся в центре индоевропейского ареала.

Все три указанные изоглоссы, очень важные для составления диалектной карты индоевропейского ареала, являются общими у албанского с балтийскими языками. Со славянскими и германскими языками общность оказывается частичной.

С германскими у албанского полное совпадение в отношении перехода и.-е. **o* > *a*, но расхождение в отражении индоевропейских палатальных. Славянская речь отлична от балтийской, германской и албанской в от-

---

[30] В албанском языке очень мало достоверных примеров на и.-е **k*.

[31] N. Jokl, Albaner, стр. 90.

[32] Доказательства принадлежности иллирийского (балкано-иллирийского и мессапского) к группе centum обычно основываются на таких примерах, как мессап. *klaohi* «услышь!» и балкано-иллирийское имя собств. *Vescleves*. Однако в албанском и балтийских языках образования именно от этого же и.-е. корня (**k̂leu-*) обнаруживают явление депалатализации.

ражении и.-е. **o* и **a*, результатом совпадения которых в славянском явился гласный *o*.

Иллирийская речь, в особенности мессапский язык, по всем отмеченным признакам — переход и.-е. **o* > *a*, звонких аспирированных в простые звонкие смычные и «непоследовательная сатемность» —примыкает к албанскому и балтийским языкам.

IV. В исследованиях, посвященных лексике албанского языка, довольно широко разработаны его этимологические соответствия с языками северноиндоевропейского ареала — балтийскими, славянскими, германскими. В особенности большой и интересный материал содержится в трудах Н. Йокля[33]. Хотя произведение числовых подсчетов представляется пока преждевременным[34] и для окончательного обобщения результатов исследований не собран еще весь необходимый материал, уже по предварительному впечатлению более многочисленными представляются албано-балтийские соответствия. Это дает основания предполагать, что праалбанский имел некогда особо тесные контакты именно с прабалтийскими диалектами.

Картина древних лексических связей албанского со всей северноиндоевропейской диалектной группой предстанет, несомненно, еще более ясно и отчетливо, когда отдельные этимологические разработки, рассеянные по трудам Г. Мейера, Н. Йокля, Э. Чабея и других этимологов албанского языка, будут собраны воедино и дополнены дальнейшими изысканиями в этой области.

Этот важный для индоевропеистики в целом вопрос нуждается в дальнейшем специальном исследовании, тем более, что возможности этимологического исследования албанской лексики далеко еще не исчерпаны. Обильные материалы, поступающие в настоящее время в результате систематического сбора диалектной лексики, проводимого албанскими языковедами, расширяют базу для этимологических разысканий[35].

Предметом внимания в данной статье являются албано-германские соответствия. Ниже приводится несколько характерных случаев[36], лишь

---

[33] N. Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen, Berlin — Leipzig, 1923; его же, Zur Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner, «Wörter und Sachen», XII, 1912. См. также относящееся к 1920—1925 гг. специальное исследование Н. Йокля, извлеченное из его архива и опубликованное в 1963 г.: «Die Verwandtschaftsverhältnisse des Albanischen zu den übrigen indogermanischen Sprachen («Die Sprache», IX, 2, Wien, 1963).

[34] Примеры соответствий и основанные на них подсчеты, содержащиеся в работе В. Порцига «Членение индогерманской языковой области» («Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets», Heidelberg, 1954) охватывают лишь очень незначительную часть материала и поэтому не могут быть сочтены показательными. В несравненно большей степени отражают реальную картину лексических соответствий албанского с другими индоевропейскими языками списки и подсчеты, приведенные в статье В. Пизани «Lexikalische Beziehungen des Albanesischen zu den anderen indogermanischen Sprachen». Но и списки В. Пизани далеко не полны. Кроме того, в них содержится некоторое количество спорных, а иногда и ошибочных этимологий (например, сопоставление алб. тоск. *murg, -a* «монах», производн. «темный, мрачный, одинокий», с др.-исл. *myrkr* «темный». Албанское слово представляет собой заимствование лат. *monachus*, ср. алб. гег. формы *mung, muneg*. См.: E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe, XIV, «Studime filologjike», Tirana, 1964, 3, стр. 45).

[35] Новый этап в разработке этимологии албанского языка составляет капитальное исследование Э. Чабея «Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe», печатающееся в албанском научном журнале («Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës. Seria Shkencat Shoqërore», с 1964: «Studime filologjike»), начиная с 1960 г.

[36] Приводимый перечень является выборочным и не исчерпывает всех выявленных до сих пор германо-албанских соответствий. Помимо других оснований отбора, учитывалась специфичность соответствий. Поэтому в перечень не вошли многие яркие соответствия, которые нельзя, однако, счесть специфическими. Так, например, в соответствии алб. *gjalpe* «масло» — др.-в.-нем. *salba*, помимо германских языков, участвуют

часть которых учтена в этимологическом труде Ю. Покорного [37]. В некоторых из этих соответствий участвуют и другие языки североиндоевропейского ареала.

1. алб. *barrë*, *-a* f. (и.-е. **bhornā*) «бремя, груз» — гот., др.-в.-нем., др.-исл. *barn* «дитя». Ср. выражения: алб. *me barrë* «беременная» — др.-англ. *beón mid bearne* «быть беременной». Хотя именные образования, связанные с индоевропейским глагольным корнем **bher-* (алб. глагол *bie*) широко представлены в большинстве индоевропейских языков, только в германских и албанском встречаем существительные с формантами *-no/-nā* при вокализме **o* и сходстве в развитии значения.

2. алб. гег. *brî*, *-ni* (основа *brin-*) «рог» (и.-е. **bhr̥-no-*) — швед. диалектн. *brind(e)* (**bhrento*), норв. *bringe* «лось», норв. *brund* (**bhr̥nto-*). Также ср. латыш. *briêdis*, литов. *brîedis*, др.-прусск. *braydis* «лось». Сюда же относятся мессап. βρένδον (из *βρέντον) вин. над. ἔλαφον «оленя» (Гезих.), βρέντιον «голова оленя» (Гезих.), топон — *Brundisium*, Βρεντέσιον, иллир. этнон. Βρέντιοι и др.[38].

3. алб. *bun*, *-i* m. «пастушья хижина в горах», первоначально «жилье», *buj*, *bunj* «ночевать» (1-е лицо ед. числа наст. вр.) от и.-е. **bheu*, **bhū-*. Близки по значению: гот. *bauan*, др.-исл. *būa*, др.-в.-нем., др.-сакс. *būan* «жить, обитать, возделывать (землю)»; др.-исл. *bū* n., др.-англ. *bū* m. «жилье» [39]. Сюда же можно отнести иллир. топон. Βοῦνος, этнон. *Buni*. С другим суффиксом, но сходны по значению: мессап. βῦρτον, βανρία· οἰκία «жилье» (Гезих.), др.-в.-нем. *būr* m. «жилье; клетка», др.-англ. *būr* «хижина».

4. алб. *dhi*, *-a* f. «коза» (праалб. **digā*) — др.-в.-нем. *ziga*, греч. фрак. (Λάκωνες) δίζα· αἶξ (Гезих.) «коза», и.-е. **digh-* [40].

5. алб. *gjalm*, *-i* m., *gjalmë*, *-a* f. «шнурок, бечевка»— др.-в.-нем. *seil*, др.-сакс. *sēl*, др.-англ. *sāl* «канат, веревка», гот. *insailjan* «привязывать веревкой». И.-е. **sē* (*i*)-, **səi-*: *sī-*; **sei-* «завязывать, связывать».

6. алб. *halë*, *-a* f. «рыбья косточка, ость у колоса» (и.-е. **skel-* «резать») — гот. *skalja* «черепица», др.-исл. *skel* f. «чешуйка», др.-в.-нем. *scāla* «оболочка у злака». Образования от этого корня представлены и в других индоевропейских языках. Но лишь в албанском и германских отмечается специальное сходство в строении основы и в значении.

7. алб. *helm*, *-i* m. «яд, отрава, печаль, горе» (сингуляризованная форма мн. числа с умлаутом: *helme* < **halmi-* < **skolmi-*) — др.-в.-нем. *scalmo* «зараза, чума», *skelmo* m. «преступник» [41]. От и.-е.*(*s*)*kel-* «резать», ср. также фрак. σκάλμη (**skolmā*) «меч, нож» [42]. И в этом случае у германского с албанским обнаруживается аналогия в строении основы и развитии значений.

8. алб. глагол *hedh* «бросать, швырять» — др.-сакс. *skiotan*, др.-в.-нем. *skiozan*, др.-англ. *scēotan* «бросать, метать, стрелять». Ср. также литов. *skudrùs*, *skaudrùs*, латыш. *skaudrs* «проворный», русск. *кидать* [43].

также греческий и древнеиндийский. Ср. греч. ἐλπος и др.-инд. *sarpis-*. Иначе говоря, в перечень не включались соответствия с более широким, возможно, общеиндоевропейским, ареалом распространения. Таких случаев довольно много.

[37] J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1, Bern, 1959.

[38] Там же, стр. 168.

[39] Там же, стр. 148. Иначе: E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe, 1, «Bul. i Univers. të Tiranës», Ser. Shk. Shoq., 1960, 4, стр. 74.

[40] G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, Strassburg, 1891, стр. 85.

[41] Там же, стр. 151; E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe, ... «Bul. i Univers. të Tiranës». Ser. Shk. Shoq., 1963, 1, стр. 116.

[42] J. Pokorny, указ. соч., стр. 924.

[43] G. Meyer, указ. соч., стр. 150; Fr. Kluge — W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin, 1957, стр. 648.

9. алб. гег. *lâ*, тоск. *lë* (**lədnō*)[44] «оставлять, отпускать», причаст. *lanë* (**lədno-*) «оставленный»; (*i*) *lodhët* (**lēd-*)- «обессиленный, усталый», *lodhem* (**lēd-*) «утомляюсь»— гот., др.-англ. *lētan*, др.-сакс. *lātan*, др.-в.-нем. *lāzzan*, др.-исл. *láta* «оставлять, пускать», прилаг. гот. *lats*, др.-исл. *latr*, др.-в.-нем. *laz* «вялый, ленивый». Образования от этого корня представлены и в других индоевропейских языках, ср. греч. λᾶδεῖν (**lēd-*) «утомиться», лат. *lassus* (**ləd-tə-*) «утомленный». Однако только в германских и албанском языках сосуществуют дифференцированные ряды форм со значениями 1) «оставлять, отпускать», 2) «быть вялым, утомленным». Как и в германских, так и в албанском, глагол со значением «оставлять» обладает большой грамматической (модальные значения) и словообразовательной продуктивностью. Наконец, только в германских и албанском сохранились рефлексы древнего морфологического соотношения форм с огласовками, восходящими к индоевропейской формуле чередования **ə/ē*: гот. *aíƕ* (*lats* : *lētan*) — алб. *a-o* (*la-*: *lodh-*).

10. алб. (*i*)*lehtë* «легкий» (и.-е. **legᵘh-*, **lenguh-*) — гот. *leihts*, др.-в.-нем. *līht*(*i*), др.-англ. *léoht*, др.-исл. *léttr* «легкий». Прилагательные со сходным значением, образованные от того же корня, представлены в ряде индоевропейских языков, ср. лат. *levis*, литов. *lengvas*, *lengvùs*, ст.-слав. *лькъкъ*. Но только в германских и албанском основа прилагательного имеет суффикс *-t-* [45].

11. алб. *lesh*, *-i* m. «шерсть, руно»— нидерл. *vlies*, ср.-в.-нем. *vlius*, др.-англ. *flēos* «овечья шкура, руно». И.-е. **pleus-* «щипать шерсть, перья» и др. [46]. Сходные образования есть и в других языках, ср. литов. *plùskas* мн. «космы, волосы», лат. *plūma* «пух» и др. Но специализация значения «овечья шкура, руно» характерна только для германского и албанского [47].

12. алб. *miell*, *-i* m. «мука»— др.-в.-нем. *melo*, *melawes*, др.-англ. *melu*, др.-исл. *mjǫl*. Хотя образования от п.-е.**mel-* «дробить, растирать, молоть» очень широко представлены в различных языках, германские и албанский объединяются специальным соответствием в образовании именной основы со значением «мука» с помощью суффикса **-ǫo-* : **-melǫo-*. Это случай полного тождества в строении основы и значения.

13. алб. глагол *mund* «1) мочь, быть в силах; 2) побеждать, одолевать», существ. *mund*, *-i* m. «усилие, напряжение сил, тяжелый труд». Эти слова, дающие в албанском множество производных образований, обычно сопоставляются с др.-в.-нем. *muntar* «бодрый, живой», *munt*(*a*) *rî* f. «усердие, рвение», гот. *mundrei* f. «цель» [48] и возводятся к и.-е. **mendh-* «направлять мысли, быть оживленным» [49], к которому в свою очередь относятся литов. *mañdras*, *mandrùs* «бодрый, задорный», ст.-слав. *мѫдръ* «мудрый», греч. *μανθάνω* «узнавать, учиться», др.-инд. *mēdhā́* «мудрость» и др. [50].

[44] Э. Чабей восстанавливает для алб. *lâ*, *lë* основу **lən-*, без элемента *-d-*, сопоставляя ее с основами слов ст.-слав. *ленъ* «ленивый», лат. *lēnis* «мягкий» (E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shipe. XIII. «Studime Filologjike», 2, Tiranë, 1964, стр. 24 и сл.). Эта реконструкция не представляется убедительной, хотя трактовка развития сочетания **-an-* на албанской почве действительно имеет свои трудности.

[45] См.: G. Meyer, указ. соч., стр. 239. В «Этимологическом словаре» Ю. Покорного албанская форма не приведена совсем. В «Этимологическом словаре немецкого языка» Клуге — Мицка (стр. 432) наличие суффикса *-t-* отмечено как специфическая особенность только германских в сравнении с другими индоевропейскими языками.

[46] J. Pokorny, указ. соч., стр. 838.

[47] G. Meyer, указ. соч., стр. 241. В словаре Ю. Покорного албанская форма не отмечена. Для алб. *lesh* предлагались и другие этимологии. См.: E. Çabej, Studime rreth etimologjisë ..., XIII, стр. 21. Однако все они представляются менее удачными, чем этимология, предложенная впервые Г. Мейером.

[48] G. Meyer, указ. соч., стр. 291.

[49] J. Pokorny, указ. соч., стр. 730.

[50] Там же.

И.-е. **men-dh-* представляет собой расширенную форму корня **men-*, образования от которого, существующие во всех индоевропейских языках, передают различные оттенки значений, относящихся к сфере духовной жизни человека. Приведенные выше албанские слова, передающие значения «физической мощи, физических усилий, победы в борьбе», явно стоят особняком среди множества индоевропейских образований, связанных с корнем **men* .

Однако есть возможность предложить другую этимологию этих слов, также связывающую ближайшим образом албанский с германскими языками. Существительное *mund*, *-i* m. «усилие, напряжение сил» и глагол *mund* «могу; я в силах; побеждаю» хорошо сопоставляются с др.-в.-нем. *munt* f. «рука, защита, опека», др.-англ. *mund* — то же самое, др.-исл. *mund* f. «рука», *mundr* m. «право опеки». Герм. **mundō-* возводится к и.-е. **mn̥-tā*[51].

Соответствия в значении «рука» представлены только в италийских языках, ср. лат. *manus*, *-ūs* f. (и.-е. **mən-*), умбр. *manuve* «в руке», оск. *manim* (вин. пад.) «руку» и др. Значение лат. *manus* определяется следующим образом: «рука, как часть человеческого тела; символ силы и власти мужа над женой, символ власти отца семьи (pater familiās-); орудие борьбы или труда»[52].

Развитие как германских, так и албанских значений хорошо объясняется из первичного значения «рука» (албанский глагол *mund* «быть в силах, побеждать» оказывается, таким образом, древним производным образованием). Первичное значение, сохранившееся в германских и италийских языках, в албанском оказалось утраченным. К этому следует добавить, что рассматриваемые образования германских, италийских и албанского языков восходят к индоевропейской гетероклитической именной основе **mə-r*, род. пад. *mə-n-és*, *mn̥-t-os* «рука». От формы древнего номинатива (аккузатива) на *-r* произведены греч. *μάρη* «рука» и албанский глагол *marr* (**marnō*) «беру» (обозначение действия, производимого рукой)[53]. Этот факт является дополнительным подтверждением предлагаемой этимологии.

14. алб. гег. *rá*, *râni* m., тоск. *rëndës*, *-i* m. «сычуг»— ср.-в.-нем. *rennе* «сычуг»[54].

15. алб. *rē*. *-ja* f. «туча, облако», ср. др.-в.-нем. *rouh* m., др.-сакс. *rōk*, др.-исл. *reykr* «дым»— прагерм. **rauhi-* < **rougi-*[55].

16. алб. *shparr*, *-i* m. (**sparnə-*) — порода дуба (Quercus conferta) — др.-в.-нем., др.-сакс. *sparro* m., ср.-в.-нем. *sparre* «бревно, балка, стропило», др.-исл. *spari*, *sparri* «бревно, балка» (общегерм. **spar(r)an-* m.), др.-в.-нем. *sper*, др.-англ. *spere*, др.-исл. *sparr* «копье» (**sper(r)u*, **sparru-*)[56]. Сюда же относятся лат. *sparus*, *sparum* «короткое копье», греч. *σπάρος* — название рыбы[57].

17. алб. *shpreh* «выражаю, высказываю» (**spreg-sk-*), ср. др.-в.-нем. *sprehhan*, др. -сакс., др. -англ. *sprēcan* «говорить». Также в кельтских языках: кимвр. *ffraeth* (**spraktos*) «красноречивый», *ffregod* «болтовня»[58].

---

[51] Fr. Kluge — W. Mitzka, указ. соч., стр. 493.
[52] A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4-e éd., Paris, 1959, стр. 386.
[53] J. Pokorny, указ. соч., стр. 740.
[54] N. Jokl, Zur Vorgeschichte des Albanischen..., стр. 67.
[55] G. Meyer, указ. соч., стр. 362; также: Fr. Kluge — W. Mitzka, указ. соч., стр. 586.
[56] N. Jokl, Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen, стр. 187 и сл.
[57] J. Pokorny, указ. соч., стр. 990.
[58] Fr. Kluge — W. Mitzka, указ. соч., стр. 731.

18. алб. *lapë, -a* f., *lapër, -ra* f. «свисающий, дряблый кусок кожи; ременный, несъедобный кусок мяса; кожа, свисающая на шее у вола; лоскут»— др.-в.-нем. *lappo* m., *lappa* f. «свисающий кусок кожи, материю», др.-сакс. *lappo* m. «пола одежды», совр. нем. *Lappen* «лоскут» [59].

В «Этимологическом словаре немецкого языка» Клюге — Мицка для указанных германских слов восстанавливается, с учетом общегерманского передвижения согласных, праформа **labba*, с которой сопоставляются греч. λοβός «нижняя часть уха; лопасть печени», др.-прл. *labur* «слабый», лат. *labāre* «шататься» [60].

Перечисляя характерные германо-албанские лексические соответствия, не следует отказываться от этого очень яркого случая, хотя он и не подходит под закон германского передвижения согласных. Здесь перед нами слова экспрессивного характера, звуковые особенности которых нередко нарушают строгие закономерности фонетических соответствий между родственными языками. Общегерм. **lappa-* обнаруживает специфический для индоевропейской экспрессивной лексики фонетический признак — удвоение согласного [61].

Для албанского слова и его германских соответствий может быть восстановлен и.-е. корень **lap-*, имевший звонкий вариант **lab-*. Такая вариантность легко находит себе объяснение при учете экспрессивного характера соответствующих образований, передававших значения «дряблый, свисающий, слабый».

С учетом фонетических особенностей экспрессивной лексики следует трактовать и некоторые другие очень яркие германо-албанские соответствия:

19. алб. *flakë, -a* f. «пламя», *flakëroj* «мерцать, полыхать», *flakoj* «вспыхивать». Сюда же, возможно, относится глагол *flak* «швырять». Ср. ср.-в.-нем. *vlackern*, совр. нем. *flackern* «трепетать (о пламени), мерцать, полыхать». Также др.-англ. *flacor* «летучий», ср. англ. *flakeren*, др.-исл. *flǫkra* «порхать». В «Этимологическом словаре» Клюге — Мицка для всей этой германской группы слов восстанавливается и.-е. корень **plāk-/ *plāg-* «ударять», ср. греч. πλήγνυμι, лат *plangere*, что, однако, совсем не убедительно.

Сопоставление с очень близкими по форме и значению албанскими словами проводит Э. Чабей [62]. Он с полным основанием отвергает неудачное объяснение Г. Мейера, усматривавшего в алб. *flakë* «пламя» заимствование из латыни, ср. лат. *facula*, вульг. лат. *facla* (с метатезой **flaca*) [63]. Э. Чабей полагает, что связь между очень сходными албанскими и германскими образованиями имеет характер «Elementarverwandtschaft». Иначе говоря, перед нами здесь яркий случай аналогии в экспрессивном словотворчестве, давшем настолько сходные во всех отношениях образования, что вряд ли можно считать аналогию случайной. Вероятно, эти сходные образования возникли в обстановке территориальных контактов прагерманских и праалбанских племен древней поры.

Сказанное относится и к следующей группе слов:

20. алб. *flatër, -ra* f; *fletë, -a* f. «крыло», *flatroj* «порхать», *flutur, -a* f. «мотылек», *fluturoj, fluroj* «летать, порхать». Ср. совр. нем. *flattern* «порхать», ранненовонем. (Schottel) *fluttern, flotteren*, англ. *flutter, flitter*

[59] G. Meyer, указ. соч., стр. 237.
[60] Fr. Kluge — W. Mitzka, указ. соч., стр. 422.
[61] Ср.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М., 1938, стр. 154.
[62] E. Çabej, Studime rreth etimologjisë së gjuhës shqipe, «Bul. i. Univers. të Tiranës», Ser. Shk. Shoq., 1962, 1, стр. 99.
[63] G. Meyer, указ. соч., стр. 107.

«порхать, трепыхать крыльями». Есть варианты со звонким интервокальным смычным: ранненовонем. *vladern*, ср. *Fledermaus* (англ. *flittermouse*) «летучая мышь». Экспрессивное звукоподражание, нарушающее закономерности звуковых соответствий, привело к созданию поразительно сходных лексических единиц в ныне территориально удаленных друг от друга, но некогда (в доисторическую эпоху) контактировавших германских и албанском языках. Соответствующие образования широко распространены как в германских, так и в албанских диалектах, что свидетельствует об их древности.

V. В области грамматики соответствия албанского языка с германскими обнаруживаются как в сохранении некоторых специфических особенностей древней индоевропейской флексии, так и в типологическом сходстве процессов их преобразования. Соответствия эти отмечаются в системе глагола, которая в албанском более устойчиво, чем система именной флексии, сохраняет элементы морфологической структуры, унаследованной от общеиндоевропейского состояния.

В исторически гетерогенной по своему составу системе форм албанского аориста сохранились образования, восходящие к формам индоевропейского перфекта с гласным *ē* в корне, ср. лат. *lēgi* (1-е лицо ед. числа перфекта от *legō* «собираю»), *vēni* (от *venio* «прихожу»), гот. *qēmum* (1-е лицо мн. числа претерита от *qiman* «приходить») *sēhwum* (от *saihwan* «смотреть») и др. Так как и.-е. **ē* > алб. *o*, соответственно и формы аориста некоторых албанских глаголов (только первичных, непроизводных), исторически восходящие к формам индоевропейского перфекта с гласным **ē* в корневой части основы, имеют огласовку *o*. В формах презенса эти глаголы имеют гласный *e* (*ie*) в корневой части основы, ср. *mbledh* «собираю»— 1-е лицо ед. числа аориста *mblodha*, *bredh* «брожу» — *brodha*, *dredh* «верчу»— *drodha*, *siell* «приношу»— *solla* и др.[64].

Таким образом, индоевропейское количественное чередование гласных *e* : *ē* на албанской почве переоформилось в качественное: *e*(*ie*) : *o*. Албанская основа *lodh-* в форме *mb-lodh-a* «я собрал» (1-е лицо ед. числа аориста от *mb-ledh*) полностью соответствует латинской основе *leg-* в форме *lēg-i*. (К тому же и корень в алб. *lodh-* и лат. *lēg-* один и тот же — и.-е. **lēg-*.)

В этом случае мы имеем дело со специфическим соответствием при сохранении одной из форм индоевропейской флексии, охватывающим определенный ареал внутри индоевропейской общности — италийские, германские и албанский языки. Если считать албанскую речь продолжением иллирийской, то это соответствие может послужить дополнительным аргументом в пользу неоднократно высказывавшейся точки зрения относительно особых связей между германскими, италийскими и иллирийскими языками[65].

Тот же языковой ареал (германские, албанский и италийские языки) охватывается типологической изоглоссой преобразования индоевропейских перфектных и аористных форм в единую парадигму претерита. Речь идет о сильном претерите германских языков, об албанском аористе и о перфекте италийских языков.

Во всех трех языковых типах исторически гетерогенная система форм претерита построена как своеобразный конгломерат элементов более древнего формообразования. Так, например, в албанском аористе, как и в ла-

---

[64] Это соответствие было открыто Г. Мейером (G. M e y e r, Zum indogermanischen *ē*-Perfectum, IF, V, 1895, стр. 480 и сл.).

[65] Ср.: H. K r a h e, Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, стр. 71 и сл.; также стр. 98 и сл.

тинском перфекте, ясно обнаруживаются сигматические формы, ср. *ap* «даю»— 1-е лицо ед. числа аориста *dhashë*, *bie* «падаю»— 1-е лицо ед. числа аориста *rashë*, *lë* «оставляю» — 1-е лицо ед. числа аориста *lashë*, а также формы, продолжающие индоевропейские перфектные образования с гласным *ē* в корневой части основы. В германском сильном претерите, помимо древних перфектных форм с гласным *ē*, в некоторых глагольных типах сохранились, как и в латинском перфекте, остатки форм с удвоением корня.

Вопросы, связанные с развитием глагольной системы в отдельных группах индоевропейских языков, могут получить различную трактовку. Существует довольно старая точка зрения, согласно которой для праязыка реконструируется богато развитая система видо-временных форм, аналогичная древнегреческой и древнеиндийской. Согласно другой концепции, в индоевропейском праязыке не могло быть столь развитой парадигмы видо-временных категорий, но существовало значительное разнообразие типов образования глагольных основ с различными видовыми значениями. Как бы то ни было, типологическое единство создания архаической схемы претерита, со включением в нее морфологически гетерогенных элементов, отражающих былое видовое различие глагольных основ, в албанском, германских и италийских языках не подлежит сомнению.

Таким образом, и в этом случае перед нами проходит одна из очень важных для индоевропейской ареальной лингвистики изоглосс, которая, помимо италийских и германских (это отмечалось и ранее [66]), охватывает также албанский язык.

С направлением развития глагольных систем связана еще одна албано-германо-италийская изоглосса, также имеющая типологический характер. Это образование двух резко противопоставленных типов спряжения: 1) архаического, включающего в себя, как правило, большую часть древних непроизводных глаголов с разнообразными вариантами основообразования, и 2) относительно более нового, отличающегося морфологическим единообразием, регулярностью и широкой продуктивностью.

Термины «сильное» и «слабое» спряжения, введенные в свое время в немецкую грамматику Я. Гриммом, могли бы, при всей их условности, быть применены в этом смысле к аналогичному противопоставлению в албанском и латинском языках. Во всех случаях определяющим моментом является характер «сильного» спряжения. «Сильное» спряжение — это не группа исключений, отличающихся особой иррегулярностью или «неправильностью». Это особая модель, по которой спрягается значительная часть непроизводных и существенно важных для лексической системы языка глаголов, в формообразовании которых широко используются исторически обусловленные варианты строения основы. «Сильные глаголы» древнегерманских, латинского и албанского языков — это, хотя и непродуктивный, но тем не менее обладающий своей собственной внутренней системностью морфологический тип, отнюдь не сводимый к серии исключений.

Аналогия в развитии двух моделей глагольного спряжения, которые можно условно обозначить как «сильное» и «слабое», является общей особенностью лингвистического ареала, в котором исторически складывались структуры германских, италийских и албанского языков.

VI. Очень большое сходство обнаруживается в типах албанской и германской морфонологических структур.

---

[66] Ср.: Н. С. Чемоданов, Место германских языков среди других индоевропейских языков, в кн. «Сравнительная грамматика германских языков», I, М., 1962, стр. 47.

В развитии фонетического строя албанского, так же как в германских языках, значительную роль играли процессы ассимилятивного варьирования, охватившие вокализм ударенных слогов. Возникавшие чередования широко использовались в албанской морфологии, в которой внутренняя флексия играет очень большую роль.

В развитии чередований гласных и их морфологическом функционировании германские и албанский языки очень сходны. Сходство не ограничивается остатками индоевропейского количественного аблаута [67] в некоторых глагольных парадигмах, о которых упоминалось выше. Особенно выразительно сходство это проявляется в хронологически более поздних перегласовках ассимилятивного характера, очень распространенных в албанском языке и представляющих, в их морфологическом использовании, полную аналогию подобным явлениям германских языков. Можно заметить, что оно выглядит более ярким и убедительным, чем сходство процессов ассимилятивного варьирования в германских и кельтских языках, отмечаемое авторами «Сравнительной грамматики германских языков» [68] в качестве одной из изоглосс кельто-германского ареала.

Сопоставление морфологических структур современных албанского и германских, например немецкого, языков показывает близкие аналогии в распределении и функционировании явлений внутренней флексии в качестве средства выражения грамматических значений. В именном словоизменении чередования гласных (точнее — умлаут) в обоих языковых типах используются при образовании основ мн. числа существительных, например алб. *dash* «баран»— мн. *deshe*, *natë* «ночь»— мн. *netë*, ср. нем. *Gast* «гость»— мн. *Gäste*, *Nacht* «ночь»— мн. *Nächte* (др.-в.-нем. *nahti*).

В глагольном словоизменении чередования гласных (различные по своему происхождению) широко участвуют в образовании форм лица и числа, а также временных основ. Типологическая аналогия довольно отчетливо обнаруживается при сопоставлении парадигм настоящего времени «сильного» спряжения.

	Алб.		Нем
		Ед. число	
1.	*dal* «выхожу»,	*marr* «беру»	*(ich) fahre* «еду», *(ich) nehme* «беру»
2.	*del*	*merr*	*(du) fährst* *(du) nimmst*
3.	*del*	*merr*	*(er) fährt* *(er) nimmt*
		Мн. число	
1.	*dalim*	*marrim*	*(wir) fahren* *(wir) nehmen*
2.	*dalni, dilni*	*merrni, mirrni*	*(ihr) fahrt* *(ihr) nehmt*
3.	*dalin*	*marrin*	*(sie) fahren* *(sie) nehmen*

Также ср. образование форм повелительного наклонения:

	Алб.	Нем.
Ед. ч. 2.	*dil* «выйди»	*nimm* «возьми»
Мн. ч. 2.	*dilni*	*nehmt*

Образование временных основ в албанском:

Имперфект	1. ед.	*dilja*	«я выходил»
Аорист	1. ед.	*dolla*	«я вышел»
	1. мн.	*dualltmë*	и т. д.

[67] Пережитки индоевропейского качественного аблаута, сохранившиеся в единичных и изолированных соотношениях типа *bie* «приношу» — *barre* «ноша, бремя», уже не играют роли в морфонологической структуре.

[68] «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 76.

Аналогии не ограничиваются результатами фонетических процессов, выразившимися в создании типологически сходных морфонологических структур. Во многом сходными были и сами процессы — обстоятельство, имеющее существенное значение для установления древних германо-албанских изоглосс.

В этом отношении особенно показательным можно считать явление умлаута.

В древнеалбанский период (абсолютная хронология не может быть уточнена ввиду отсутствия письменных памятников албанского языка ранее XV в.) гласный *a* ударенного слога подвергался ассимилятивной перегласовке в *e* под влиянием *i* (*ī*) в последующем неударном слоге. Так, др.-алб. **dasī- > *deshi- > desh-* (основа мн. числа от *dash* «баран»), **naktī- > *neti- > net-* (мн. число от *natë* «ночь»), ср. др.-в.-нем. *gesti* (мн. число от *gast* «гость»), *nahti* (мн. число от *naht*, ср. новонем. *Nächte*).

Также в глагольных парадигмах: др.-алб. 1-е лицо ед. число наст. вр. **flatiō* «говорю», 2-е лицо ед. числа **flatīs*. 3-е лицо ед. числа *flatīt*, новоалб. 1-е лицо ед. числа *flas*, 2-е лицо *flet*, 3-е лицо *flet*. Ср. др.-в.-нем. 1-е лицо ед. числа *faru* «еду». 2-е лицо ед. числа *feris*, 3-е лицо ед. числа *ferit*[69].

Соотношение между гласным *a* ударенного слога, подвергавшимся ассимилятивному изменению, и воздействовавшим на него гласным *i* (*ī*) последующего неударного слога в албанском было аналогично соотношению, наблюдаемому в истории германских умлаутов. Связь с распределением ударных и неударных слогов внутри слова очевидна как для германского, так и для албанского вариантов указанного процесса. Акцентная структура той части древнеалбанской лексики (главным образом, исконные индоевропейские элементы и древнейшие латинские заимствования), в которой развилось в свое время явление *i*-умлаута, в основном была сходна с акцентной структурой слова в древнегерманских языках. Характерным для нее было преобладание слов с ударением (динамическим), фиксированным на предпоследнем слоге, который чаще всего был корневым. Это само по себе создавало предпосылки для интенсивно развивавшихся на всем протяжении истории албанского языка процессов ослабления и редукции гласных в неударенных слогах.

Наличие, наряду с указанным основным типом, также трехсложных слов, в которых ударенный корневой слог был третьим от конца, а также слов с конечным ударением, в том числе на суффиксальных элементах (главным образом, производные слова), усложняет задачу описания акцентуационной системы албанского языка и ее исторических изменений. Однако это не влияет на решение вопроса о происхождении албанского умлаута в его непосредственной связи с определенным типом акцентной структуры слова и не препятствует проведению типологических аналогий с соответствующими процессами германских языков.

В процессах дальнейшего аналогического распространения и обобщения явлений умлаута, как показателя определенных морфологических категорий, также наблюдается характерный параллелизм, усиливающий общее сходство морфонологической структуры германских языков и албанского.

Чередование *e* — *i*, широко используемое в глагольном словоизменении албанского языка[70], весьма напоминает чередование *e* — *i*, возни-

[69] Подробнее: А. В. Десницкая, О категории числа в албанском языке, сб. «Проблемы сравнительной филологии». М.— Л., 1964, стр. 172. Ср.: N. Jokl, Griechisch-albanische Studien, «Festschrift für Paul Kretschmer», Wien — Leipzig — New York, 1926, стр. 92—93.

[70] Оно функционирует также при образовании основ мн. числа существительных, ср. *peshk* «рыба» — мн. *pishq* (однако чаще *peshq*), *shteg* «тропа» — мн. *shtigje*. Но в этой функции оно менее распространено, чем умлаут *a* — *e*.

кавшее в древнегерманских языках и имевшее характер ассимилятивного варьирования.

На германской почве появление каждого из вариантов было связано с определенными условиями (наличие последующего сочетания *n* + согласный, вызывавшего огласовку *i* в корневом слоге слова; характер гласного в последующем неударном слоге). Условия, определившие возникновение чередования *e* — *i* в албанском языке с точностью не выяснены. Предполагается, что гласный *e* в ударенных слогах некогда изменялся в *i* перед сочетаниями согласных, например *mblidhni* «вы собираете», ср. *mbledhim* «мы собираем», *shisni* «вы продаете», ср. *shesim* «продаем» и т. п., также *prift* «священник» (из *presbyter*), *qind* «сто» (лат. *centum*) и др.[21]. Однако это условие надлежит далеко не во всех случаях появления чередования *e* — *i*, ср., например, формы 2-го лица ед. числа повелительного наклонения *mblidh* «собери», *dil* «выйди» и др.; также в образовании основ мн. числа существительных типа *breg* «холм, берег» — мн. *brigje* и др. С другой стороны, наличие сочетания согласных далеко не всегда обусловливает появление чередования.

Учитывая возможности распространения чередования *e* — *i* по аналогии, особенно в составе глагольных парадигм, где оно шире всего представлено, тем не менее не приходится сомневаться в том, что исторически оно являет собой один из характерных для албанского языка типов ассимилятивного варьирования, первоначально связанный, так же как и аналогичное чередование в германских языках, с наличием определенных фонетических условий.

В отношении хронологии можно считать, что мы здесь имеем дело с более поздним, чем умлаут, явлением, так как переходом *e* > *i* захвачены также формы слов с гласным *e* в корневом слоге, возникшим из *a* в результате действия умлаута, например, *dilni* «вы выходите» (наряду с *delni*, ср. *dal* «выхожу», *del* «ты выходишь», *dalim* «мы выходим»), *flitni* «вы говорите» (ср. *flas*, *flet* «говорю, -ишь») и др.

Хотя конкретные условия появления чередования *e* — *i* в албанском могли и не совпадать с условиями (также различными) появления аналогичного чередования в древнегерманских языках, общий характер явления позволяет и в данном случае говорить о типологическом параллелизме.

Прочие исторические чередования гласных, участвующие в оформлении албанских глагольных парадигм (например, *ō* — *ua*, гег. *ue*) не находят себе непосредственных аналогий в исторических закономерностях вокализма германских языков. Однако в целом принцип объединения вокалических чередований разного происхождения в большую систему морфонологических противопоставлений, используемую, наряду с аффиксацией, для выражения грамматических отношений, представляется общим у германских языков с албанским. Хотя морфологическое использование фонетических чередований встречается и в других индоевропейских языках, в столь большом количестве и системности, не говоря уже о сходствах в историческом развитии самих фонетических процессов, явление это получило развитие особенно в германских языках и в албанском.

Сходство морфонологических типов можно отнести к числу характерных германо-албанских соответствий. Правда, перед нами в данном случае не остаток общеиндоевропейского наследия и не следы непосредственных исторических контактов, но типологический параллелизм развития языковых структур, притом уже относительно позднего периода (в пределах I тысячелетия н. э.). Тем не менее, когда дело касается генетически родственных языков, типологические сходства, особенно если они имеют

[21] См.: G. Pekmezi, Grammatik der albanesischen Sprache, Wien, 1908, стр. 56.

столь специфический характер, не должны быть относимы к разряду случайных совпадений. Им должно по праву отводиться место в кругу изоглосс, учитываемых при определении доисторической конфигурации диалектных ареалов, так как закономерности позднейшего развития морфологических моделей отдельных языков имеют свои корни в значительно более ранних состояниях.

Для индоевропейской ареальной лингвистики типологические изоглоссы обладают отнюдь не меньшей степенью достоверности, чем изоглоссы лексические, которые всегда могут быть поставлены под известное сомнение благодаря возможной непрозрачности традиции.

VII. Древние ареальные связи албанского языка с северноевропейской языковой областью соответствуют ареальным связям, реконструируемым для иллирийского. Согласно концепции, развивавшейся (до недавнего времени) Г. Краэ, иллирийская речь доисторической поры (до переселения части иллирийских племен на Балканы) ближайшим образом контактировала с германской, славянской и в особенности с балтийской [72]. Тот же круг доисторических контактов восстанавливается и для протоалбанского. Содержание данной статьи составило рассмотрение этой проблемы в ее германской части. Специальное исследование албано-балтийских отношений несомненно входит в число наиболее актуальных задач индоевропейской ареальной лингвистики.

Весь этот круг фактов, частично новых для науки, частично давно уже известных, но до сих пор не оцененных в должной мере при разработке проблем индоевропейского сравнительного языкознания, в большей мере говорит в пользу иллирийской гипотезы происхождения албанского языка, чем в пользу все еще популярной фракийской гипотезы. Признание албанского продолжением древней иллирийской речи позволяет расширить и конкретизировать до сих пор еще очень скудные представления об иллирийском языке (или языках) и тем самым до некоторой степени заполнить лакуну в лингвистической карте центральной части древнего индоевропейского ареала.

Факты албанского языка до сих пор мало использовались как материал для индоевропейской сравнительной грамматики. Причиной этого была не только поздняя письменная традиция, но и сильно эволюционировавший тип языковой структуры, весьма отличный от модели древней индоевропейской речи, восстанавливаемой по образцу индоевропейских языков с ранней письменностью.

Одной из интересных проблем современного сравнительного языкознания является реконструкция морфологической модели древнеалбанского языка. При отсутствии текстов старше XV в. решающая роль в таком исследовании должна принадлежать методу внутренней реконструкции. Восстановление древнеалбанской языковой модели составит новый этап в дальнейшей разработке существенно важного для индоевропейского языкознания вопроса о древних языках Балканского полуострова и, в частности, до сих пор еще загадочной проблемы иллирийского языка.

[72] H. Krahe, Sprache und Vorzeit, стр. 114.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

А. В. БОНДАРКО

ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОМ И АБСОЛЮТНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕН В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ О «ТЕМПОРАЛЬНОСТИ»)

Объективное время отражается в языке не только в системе временных форм глагола, но и за пределами этой системы [1]. Понятийная категория, опирающаяся на различные средства языкового выражения времени, может быть названа «темпоральностью». Следует подчеркнуть, что речь идет о языковом явлении, относящемся как к плану содержания, так и к плану выражения. Темпоральность не существует вне языковых средств ее выражения. В русском языке к средствам выражения темпоральности, помимо глагольного времени, относятся глагольные формы косвенных наклонений и инфинитива, синтаксические, лексические средства и вообще все элементы контекста, отражающие временные отношения во внеязыковой ситуации. Вместе с тем важно дифференцировать систему морфологических форм времени и другие средства выражения темпоральности. Глагольное время, таким образом, охватывается понятием темпоральности. Однако, получая морфологическое выражение в специальной системе форм, понятийная категория превращается в категорию грамматическую. Поэтому глагольное время может быть противопоставлено темпоральности. В дальнейшем изложении термин «темпоральность» будет рассматриваться именно в этом смысле.

Между глагольным временем и темпоральностью такое же соотношение, как между наклонением и модальностью. Если категория наклонения представляет собой морфологическое ядро категории модальности, то категория времени — морфологическое ядро темпоральности. Средства выражения темпоральности относятся к разным уровням языка и не образуют однородной системы.

При характеристике понятия темпоральности мы во многом исходим из предложенного В. В. Виноградовым понятия синтаксической категории времени [2]. Однако между этими двумя понятиями есть различие. Синтаксическая категория времени рассматривается В. В. Виноградовым как один из элементов предикативности, одно из средств грамматической организации предложения. Темпоральность же не относится к чисто синтаксическому плану. Для ее характеристики важно, как отражаются в языке временные отношения, независимо от того, в какой мере то или иное средство их выражения участвует в формировании предложения.

Рассмотрим некоторые формы проявления категории темпоральности: временные отношения, передаваемые косвенными наклонениями глагола (в связи с другими элементами контекста), темпоральность неполных предложений, выражение времени лексическими средствами, значение

---

[1] Ср: О. Есперсен. Философия грамматики, М., 1958, стр. 297; И. К. Бунина, Система времен старославянского глагола, М., 1959, стр. 16—17.

[2] «Грамматика русского языка», II — Синтаксис, ч. 1, М., 1960, стр. 78—82.

настоящего времени в предложениях с простым именным сказуемым, а также в номинативных предложениях и некоторых типах безличных и инфинитивных.

Действие, выраженное формой сослагательного наклонения, в зависимости от окружающего контекста относится к плану настоящего, прошлого или будущего. Ср. (соответственно): [Агишин] Если *б* в девушках *развивали* побольше рассудок и трезвый взгляд на вещи, так поверьте, что они *были бы* счастливее и уже наверное здоровее!» (Островский, Женитьба Белугина) — в этом высказывании общего характера устанавливается план обобщенного настоящего; «— ... Раз привел людей — значит, условия мои приняты, надо их выполнить. Без общего вашего согласия ты *бы* сюда не *явился*» (Федин, Костер); «[Бабин] А хочешь — дам тысячу рублей? *Поехал бы* ты в Москву, *купил* новую шляпу, *закатился* в ресторан, портсигар *бы завел* серебряный» (А. Толстой, Кукушкины слезы).

Формы повелительного наклонения в прямом, императивном употреблении передают темпоральность, ограниченную планом будущего (обычно ближайшего будущего), что вытекает из самого значения побуждения. При внеимперативном употреблении этих форм обозначаемое ими действие может быть отнесено не только к будущему, но также к настоящему и прошлому. Например: «— Ну завтра, понимаешь, завтра! — А я завтра [установлен план будущего] *иди* к тебе *проверяй*?» (Троепольский, Записки агронома); «[Феона] ... У нас все одно: что честно себя *содержи*, что *пьянствуй* — все одна цена-то; от хозяина доброго слова не дождешься» (Островский. Не все коту масленица) — здесь действия относятся к обобщенному настоящему; «... А не странно ли подумать, что *умей* Зонненберг плавать или *утони* он тогда [благодаря этому лексическому показателю темпоральности четко обозначена отнесенность действий к прошлому] в Москве-реке, *вытащи* его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником...» (Герцен, Былое и думы).

В неполных предложениях, где отсутствует сказуемое, выраженное личной формой глагола, темпоральность целиком обусловлена окружающим контекстом. Например: «[Марков] Хорошо. (Идет к двери.) [Катя] *Куда ты?*» (Симонов, История одной любви). Ситуация (см. ремарку) обусловливает темпоральность конкретного настоящего времени момента речи; «[Ипполит] ... Коль скоро я пришел, так уж вон не пойду. [Ахов] *А вот я тебя за ухо*» (Островский, Не все коту масленица). Контекст обусловливает значение будущего.

В приведенных выше примерах уже встречались лексические показатели темпоральности, выступающие в сочетании с иными средствами ее выражения. Лексические локализаторы времени взаимодействуют и с временными формами глагола. Они могут уточнять, конкретизировать и даже предопределять время осуществления действия. Например: «... — *Заезжал вчера* ко мне один художник» (Чехов, Удав и кролик); «Милиционер не удержался спросить про Воронкина. Она ответила: ничего, мол, черту лысому не делается, *живет-пирует*.— И *сейчас пирует*? — спросил милиционер» (Федин, Костер). Обстоятельство *сейчас* относит действие, только что представленное в плане расширенного настоящего, к конкретному настоящему моменту речи. «[Варя] Моя судьба решилась,— теперь я ничья... [Марья Петровна] Ну, и моя *скоро* [действие еще не названо, но уже определена его отнесенность к близкому будущему] *решится*» (Островский, Дикарка). Значение лексического показателя темпоральности может расходиться, контрастировать с временным значением глагольной формы (при переносном употреблении времен): *В ы х о ж у я в ч е р а из дому*... и т. п.

Темпоральность особого типа представляет значение настоящего времени в предложениях с простым именным сказуемым (*Переплеты мучительны*; *Он шутник*; *Ты мой брат* и т. п.), а также в различных типах номинативных предложений и некоторых разновидностях безличных и инфинитивных (*Конец лета*; *Вот река*; *Тревога!*; *На небе ни облачка*; *Дороги не видать*; *Как же ему не возноситься*). В таких случаях значение настоящего времени выражено самой синтаксической структурой предложения, независимо от наличия или отсутствия соотносительности с прошедшим и будущим временем глагола-связки. Когда временное значение выражено грамматической (синтаксической) структурой, мы имеем дело с собственно «синтаксическим временем».

Вполне правомерна постановка вопроса о противопоставлении грамматического времени (морфологического и синтаксического) другим средствам выражения темпоральности. В этой статье, однако, мы сосредоточиваем внимание на противопоставлении морфологических форм времени глагола всем прочим средствам выражения понятия времени[3].

По своей семантике темпоральность однородна с временным значением, выраженным морфологически. Ср., например, темпоральность сослагательного наклонения в русском языке и временные значения форм сослагательного наклонения непрошедшего и прошедшего времени в чешском (типа *prosil bych — byl bych prosil*). Следует подчеркнуть, что речь идет об однородности значений, но не об их тождестве. В частности, необходимо учитывать, что морфологическая оформленность влечет за собой бóльшую определенность и четкость временного значения, его специфическую расчлененность, опирающуюся на противопоставление форм. Кроме того, темпоральность может заключать в себе семантику, которая выходит за пределы семантики глагольного времени в данном языке. Помимо значений, которые могут быть выражены как глагольными формами времени, так и иными средствами, к темпоральности относятся те временные семантические признаки, которые не являются различительными для данной системы временных форм. Например, в системе времен русского глагола, в отличие от некоторых других языков, отсутствует признак отнесенности действия к ближайшему времени; но такое отношение может быть выражено лексическими показателями типа *сейчас*, *скоро*, *вот-вот* и т. п.

При анализе глагольного времени необходимо различать внеязыковой момент речи и его отражение в языке. Внеязыковой момент речи — элемент объективного времени. В каждом конкретном высказывании он выступает как момент речи говорящего или того, чью речь он передает. Языковым отражением понятия о моменте речи является грамматический момент речи. Это элемент системы языка. Он заключен в самой системе именных форм глагола как признак, лежащий в основе противопоставления членов этой системы (имеется в виду современный русский язык и языки с аналогичной системой времен). Каждая форма времени (если оставить в стороне времена деепричастий) несет в своем инвариантном значении определенное отношение к этому грамматическому ориентиру. Итак, следует различать постоянно движущийся момент речи как действительный или воспроизводимый элемент объективного времени и от-

---

[3] В ряде случаев разграничение глагольного времени и темпоральности затруднительно. Таков вопрос об оборотах типа *он и спроси*, о формах типа *бац*, *бух*, *хлоп* и т. п. По-разному может быть истолковано значение настоящего времени в предложениях типа *Я рад*; *Он доволен* и т. п. в зависимости от трактовки слов, относимых частью исследователей к категории состояния. Эти вопросы должны быть рассмотрены особо.

ражение понятия об этом моменте, зафиксированное в системе морфологических форм глагола. В конкретном высказывании инвариантное временное значение формы, установленное по отношению к грамматическому моменту речи, вступает (в том или ином варианте) в определенное соотношение с моментом внеязыковым. Если временное значение формы при ее функционировании соотнесено с моментом речи говорящего, то перед нами абсолютное употребление глагольного времени. Если же временное значение функционирующей формы соотнесено с каким-либо иным моментом, мы имеем дело с употреблением относительным. Если зафиксированное во временной форме отношение к грамматическому моменту речи соответствует отношению действия к внеязыковому моменту речи, то перед нами прямое употребление глагольного времени (например, если действие произошло вчера и употреблена форма прошедшего времени). Если же заключенное в форме времени отношение к грамматическому моменту речи расходится с отношением действия к объективному моменту речи, то налицо переносное употребление глагольного времени (действие произошло вчера, а употреблена форма настоящего времени).

Обычно в определениях категории времени глагола говорится о том, что формы времени выражают отношение действия к моменту речи или ко времени другого действия (к какому-либо иному моменту). Это определение правильно, если имеется в виду план речи (parole). В языке же (langue) в системе времен инвариантное значение каждой временной формы ориентируется на грамматический момент речи.

Таким образом, глагольное время связано с грамматическим моментом речи в том или ином его соотношении с моментом внеязыковым. Темпоральность же имеет отношение только к внеязыковому моменту речи.

Для того чтобы более точно определить границы глагольного времени и темпоральности в современном русском языке, необходимо расшифровать понятие «системы времен». Система глагольных времен в современном русском литературном языке состоит из четырех подсистем. Из них основная, центральная, включает в себя личные формы глагола в изъявительном наклонении. Это ядро всей системы. Кроме того, выделяются следующие подсистемы: времена аналитических причастно-страдательных форм (*был открыт — открыт — будет открыт*), времена полных причастий (*открывающий, открываемый — открывший, открывавший, открытый*), времена деепричастий (*открывая — открыв*)[4].

Каждая подсистема характеризуется признаком, отличающим ее от других подсистем. Подсистема времен изъявительного наклонения основана на отношении одновременности, предшествования и следования к грамматическому моменту речи. Подсистему аналитических причастно-страдательных форм отличает признак перфектности. Подсистема времен полных причастий характеризуется отношением одновременности и предшествования (но не следования) к грамматическому моменту речи. Деепричастия обладают признаком выражения относительного времени.

Детальная характеристика темпоральности не входит в задачи данной статьи. Здесь будет специально рассмотрен один из элементов темпоральности в русском языке — дополнительная временная ориентация (главным образом относительная, а также абсолютная) в ее соотношении с глагольным временем. В этом случае в выражении темпоральности наряду с синтаксическими и лексическими средствами участвует глагольная форма изъявительного наклонения, но используется

[4] В основном так очерчивает границы глагольного времени А. А. Шахматов («Синтаксис русского языка», Л., 1941, стр. 486—490).

при этом не граммема времени, а другие граммемы, в частности граммема вида.

Как известно, современный русский язык, в отличие от таких славянских языков, как болгарский и македонский, а также ряда неславянских языков, не обладает (в рамках изъявительного наклонения) специальными формами относительных времен. Одна и та же временная форма глагола может выступать как в абсолютном, так и в относительном употреблении. Ср.: *Мы будем ждать* и *Я обещал, что мы будем ждать*.

Важно учитывать, чем, какими средствами выражено относительное значение. С этой точки зрения следует различать основную относительную ориентацию как проявляющееся в контексте значение форм глагольного времени и дополнительную — как проявление темпоральности. Иначе говоря, необходимо четко разграничивать относительное употребление времен и абсолютное употребление с дополнительной относительной ориентацией.

При относительном употреблении времен относительное значение выражается самой формой времени. Ее грамматическое значение проявляется в речи как значение относительное, определяемое с точки зрения времени другого действия (вообще какого-либо момента, помимо момента речи). Таково употребление глагольных форм в придаточных предложениях с изъяснительными союзами: «[Хомутов] ... Митя думает, что я до вечера *ушел* в степь» (А. Толстой, Кукушкины слезы); «— ... Мне казалось, что мы *будем говорить* с вами без умолку, до утра» (Чехов, Ионыч). Ср. также «будущее в прошедшем»: «Волны хлестали в борт лодки — вот-вот *опрокинут*» (Шишков, Угрюм-река); «Мы улеглись. Теперь в балагане было тепло, да солнце скоро *встанет* и *обогреет*, но это не помешало Шапкину наглухо запереть дверь...» (Мамин-Сибиряк, Гроза); «Сбочь дороги, постромки обрывая, бьются лошади Пахомыча, сани опрокинутые, с дышлом поломанным, лежат покорно и беспомощно, а он тройку глазами немигающими провожает. *Будет провожать* до тех пор, пока не *скроется* в балке задок саней, выгнутых шеей лебединой» (Шолохов, Коловерть)[5].

Абсолютное употребление времен с дополнительной относительной ориентацией отличается тем, что грамматическое временное значение формы выступает как значение абсолютное, определяемое с точки зрения момента речи. Отношение же ко времени другого глагола (проявление темпоральности) устанавливается средствами глагольного вида (соотношением видовых значений глагольных форм) в определенных типах предложений, при помощи обстоятельственных слов, союзов, частиц. При этом важную роль играет внеязыковая ситуация, в частности реальное соотношение действий [6]. Например: «В то время как он *подходил* к этой комнате, присяжные уже *выходили* из нее, чтобы идти в залу заседаний» (Л. Толстой, Воскресение). Формы *подходил* и *выходили* выражают грамматическое значение прошедшего времени. Этому абсолютному временному значению в данном контексте сопутствует относительное. Сочетание форм несовершенного вида в разных частях сложноподчиненного предложения с придаточным времени передает отношение одновременности двух дей-

[5] Ср.: А. Н. Гвоздев, Об одной разновидности относительного употребления будущего времени, сб. «Вопросы культуры речи», III, М., 1961.

[6] На разграничении средств выражения временного значения и основана трактовка рассматриваемого употребления как абсолютного (имеющего лишь дополнительную относительную ориентацию). Такая формулировка является более точной, чем констатация относительного употребления с двумя точками отсчета, включая момент речи; ср.: А. В. Бондарко, По поводу теории синтаксического индикатива и релятива, сб. «Вопросы современного и исторического синтаксиса русского языка», Л., 1962 («Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 225), стр. 202—207.

ствий. В выражении одновременности участвует также союз *в то время как*, соотнесенный с частицей *уже* в главном предложении. «Там, где теперь вперегонки *рвались* кверху зелеными конусами молодые деревца, тогда *кудрявились* кусты по колено человеку...» (Федин, Костер). Предшествование одного действия другому выражено противопоставлением обстоятельственных слов *теперь — тогда* в сложноподчиненном предложении с придаточным места.

Рассмотрим следующие примеры: «Пистолет и кинжал и армяк были готовы, Наполеон *выезжал* завтра» (Л. Толстой. Война и мир); «Я... уселся читать дело, которое завтра *начиналось* у нас в суде...» (Лесков, Жемчужное ожерелье); «Не без щегольства он выдернул в руку золотые часы: поезд *отходил* через минуту» (Леонов, Скутаревский). Интересно сопоставить это употребление с рассмотренными выше примерами типа *Волны хлестали в борт лодки — вот-вот опрокинут*. В том и другом случае передается относительное будущее, но имеется и существенное различие. При употреблении форм будущего времени относительная ориентация является основной, поскольку она выражена прежде всего грамматическим значением самой глагольной формы, хотя используются и лексические средства. При использовании же прошедшего несовершенного относительная ориентация оказывается побочной, дополнительной, представляющей не глагольное время, а темпоральность. Она обозначается при помощи лексических средств (*завтра*, *через минуту* и т. п.). Морфологически выражена отнесенность действия к прошлому с точки зрения момента речи [7].

Дополнительная относительная ориентация может иметь как эксплицитный, так и имплицитный характер. Все рассмотренные выше примеры представляют первый тип, поскольку относительное значение специально выражено теми или иными внешними языковыми средствами. Однако временное соотношение действий может быть специально не обозначено. Имплицитный характер относительной ориентации в таких случаях заключается в том, что известное временное соотношение событий устанавливается в результате логического анализа ситуации. Языковые средства не выражают именно это соотношение, а лишь допускают возможность того, чтобы оно подразумевалось. Например: «Время от времени к крыльцу *подкатывали* мотоциклетки, с них *слезали* молодые люди в кожаных куртках и, пребезжа по ступенькам шпорами, *вбегали* в дом» (А. Толстой, Необыкновенное приключение Никиты Ромина). То, что речь идет о последовательных действиях, вытекает из логического анализа ситуации: действия *подкатывали*, *слезали*, *вбегали* в реальной действительности могут быть лишь последовательными (именно в данном порядке), а не одновременными. Глагольные формы в данном случае не являются специальным средством выражения этого значения: прошедшее несовершенное повторяющегося действия способно обозначать и одновременность, и последовательность. Нет и других (неглагольных) показателей данного соотношения действий. «Возится долго. И когда мотор все-таки вновь оживает, *слышит* уже над собой:— Готово?..» (Сартаков, Капитан ближнего плавания). Ситуация такова, что первое действие предшествует второму, но предшествование специально не выражено (настоящее историческое

[7] Если в русском языке будущее в прошедшем представлено лишь относительным употреблением форм будущего времени или дополнительной относительной ориентацией форм прошедшего несовершенного, то в болгарском существует, как известно, будущее в прошедшем как особая форма относительного времени. Например: «Гроздан стигна до нивата и се спря на оня край, отдето *щеше да почне* да коси» (И. Йовков) «Гроздан дошел до нивы и остановился на том конце ее, откуда ему предстояло начать косить» (пример взят из книги: Л. Андрейчин, Грамматика болгарского языка, М., 1949, стр. 190).

допускает такое понимание, но оно же может выражать и действия одновременные).

Особый тип дополнительной относительной ориентации представляет употребление форм прошедшего совершенного и (реже) несовершенного в перфектном значении.

Речь идет не только о выражении состояния в настоящем как результата предшествующего действия, но и о выражении состояния в прошлом. В последнем случае обычно говорят о плюсквамперфектном значении, но для нас в данной связи это различие не столь существенно. Важно то, что в обоих случаях выражается актуальность последствий действия для более позднего временного плана [8]. Актуальность для настоящего: «— У тебя жар? Нездоров?— *Простыл*,— ответил Кирилл» (Федин. Костер); «[Клавдий] *Не спал* всю ночь и смутно вижу...» (А. Толстой. Насильники). Актуальность для прошлого: «Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. *Разостлался* светящимся туманом Млечный Путь» (А. Толстой, Детство Никиты); «Десятник нас повел по городу. К которой избе не подъедем — занята. Было холодно, я три ночи *не спал*, измучился и начал сердиться» (Лермонтов. Герой нашего времени).

Перфектное значение предполагает двоякую временную отнесенность: само действие относится к предшествующему временному плану, а его результат — к последующему [9]. Отнесенность действия к предшествующему временному плану — к прошлому — обозначается морфологически, самой глагольной формой. Это абсолютная временная ориентация, представляющая собой проявление инвариантного грамматического значения глагольной формы. Отнесенность же последствий действия, его результатов к последующему временному плану (то, что в древнерусском языке обозначалось, а в некоторых славянских языках и до сих пор обозначается специальными формами перфекта и плюсквамперфекта) не имеет в современном русском языке морфологического выражения. В выражении этой отнесенности особую роль играют особенности лексического значения глагола в определенном контексте.

Дополнительная относительная ориентация при употреблении глагольной формы в перфектном значении имеет свою специфику. Это не чисто временное, хронологическое отношение, а видо-временное (по Ю. С. Маслову, видовое в широком смысле [10]) значение. Оно включает в себя как элемент временной относительности, так и указание на самый характер действия. Элемент временной, хронологической относительности заключается в том, что выражается одновременность результата данного действия с последующим временным планом. Но вместе с тем выражается нечто большее, чем только одновременность: актуальность последствий действия,— а это уже качественная оценка самого характера действия.

Относительная ориентация за пределами перфектного употребления отражает внеязыковые временные связи между различными действиями в отношениях времен разных глаголов. Относительная ориентация перфектного типа — это прежде всего элемент семантики одного глагола, выражение связи между действием и состоянием как результатом этого действия. И лишь как вторичное, производное устанавливается отношение между временем данного глагола и других глаголов в окружающем контексте. Например: «— Это я про электрические часы. Вот светятся еще,

[8] Ср.: Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 162—164, 275—285.

[9] См. там же, стр. 162—163.

[10] См. там же.

и все еще будто часы, а стрелки уже *остановились*, стоят, не шелохнутся» (Федин, Города и годы). Перфектная относительная ориентация заключается прежде всего в соотношении действия в прошлом и состояния в настоящем (*остановились*). Отсюда вытекает отношение одновременности этого состояния со временем глаголов *светятся*, *стоят*, представляющих тот временной план, для которого актуальны последствия действия *остановились*.

Относительное употребление времен, так же как и абсолютное употребление с дополнительной относительной ориентацией, свойственно не только русскому, но и другим славянским языкам, в том числе таким, которые знают специальные формы относительных времен. Ср., например, относительное употребление времен в болгарском языке: «[Стария Бръчков] ...Ами аз сигур мислех, че сиго *видял* вече и че *ще* ми *разкажеш* понатъшко за него» (И. Вазов, Хъпове) «...А я-то был уверен, что ты его уже видел и расскажешь мне подробнее о нем» [11]. Абсолютное употребление временной формы с дополнительной относительной ориентацией: «[Гробев] ...Тия хора не *се срамят*, като *лъжат*!» (И. Вазов, Хъпове) «...Эти люди не стыдятся, когда лгут». Между двумя действиями устанавливается отношение одновременности.

Ю. С. Маслов отмечает, что в болгарском языке действия, объективно предшествующие другим действиям, могут быть выражены не формами плюсквамперфекта, а формами имперфекта или аориста. Для употребления плюсквамперфекта чисто бывает недостаточно чисто хронологического предшествия одного прошедшего действия другому. Вот некоторые из приведенных Ю. С. Масловым примеров: «Скоро и в Кирилово достигна новината за арестуването на Илия. Донесе я куриерът с червеното конче, от когото някога Илия *очакваше* писмо» (Калчев) «Скоро и в Кириллово пришла весть об аресте Илии. Привез ее курьер с рыжей лошадкой, от которого когда-то Илия ожидал (доставки) письма»; «...Той... търсеше с вълнение неземната по хубост Таис-мечтата, която *движи* живота му...» (Елин-Пелин) «Он в волнении искал неземную по красоте Таис-мечту, которая (в прошлом) наполняла (буквально: двигала) его жизнь» [12]. На наш взгляд, в таких случаях мы имеем дело с дополнительной относительной ориентацией. Заслуживает внимания интересная мысль Е. И. Деминой о наличии в болгарском языке такой оппозиции относительных и неотносительных времен, в которой первые обладают положительным коррелятивным признаком, а вторые не содержат в своей семантике этого признака и поэтому могут употребляться и абсолютно, и относительно [13].

Мы рассмотрели только одну разновидность сочетания абсолютного и относительного значений. Однако соотношения этих значений более многообразны. Анализируя отношение времени действия к моменту речи и к какому-то иному моменту, следует учитывать важную особенность относительного употребления форм времени, о которой мы до сих пор не говорили. При употреблении времен в сложноподчиненных предложениях с придаточными изъяснительными существуют как бы два измерения, два центра временных соотношений. Первый центр — момент речи говорящего S (субъекта, которому принадлежит все высказывание). Другой исходный пункт временных соотношений — момент той речи или

[11] Об относительном употреблении имен в болгарском языке см.: Ю. С. Маслов, Очерк болгарской грамматики. М., 1956, стр. 231, 233, 245—247; его же, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке..., стр. 244—248, 250—251.

[12] Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке..., стр. 163—164; его же, Очерк болгарской грамматики, стр. 233, 235, 236.

[13] «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», II — Проблемы славянского языкознания, М., 1962, стр. 222—223.

мысли, того чувства или восприятия, содержание которых раскрывается в придаточном предложении. Время действия в этом предложении представляется с точки зрения того субъекта (S_1), от которого исходит речь, мысль, чувство или восприятие. Это может быть другой субъект (*Б. говорил, что придет*) или то же лицо (S), выступающее в роли подлежащего главного предложения (*Я говорил, что он придет*). По существу аналогичные отношения наблюдаются и при употреблении типа «будущего в прошедшем»: субъект S как бы переносится в прошлое и с этой точки зрения (в роли S_1) представляет последующие действия как будущие.

То, что в придаточных изъяснительных времена определяются не с точки зрения говорящего, а с точки зрения того, чью мысль он передает, было отмечено уже давно[14] и подчеркивается в работах современных исследователей[15]. Действительно, и при относительном употреблении временной формы время действия определяется с точки зрения момента речи (или мысли, чувства, внутреннего состояния, восприятия), только не говорящего S, а субъекта S_1. Однако признание этого факта не снимает различия между абсолютным и относительным употреблением времен. Момент речи S и момент речи S_1 — это разные точки отсчета в процессе функционирования времен, разные исходные пункты временной ориентации в предложении. Момент речи S_1 фиксируется в глаголе главного предложения (иногда в каком-либо ином элементе контекста, например существительном). Таким образом, обычное определение относительного употребления времен, предполагающее, что время данного действия определяется с точки зрения времени другого действия (вообще какого-либо момента, помимо момента речи), следует считать справедливым.

Относительное употребление форм времени в русском языке есть факт синтаксиса. Глагольная форма выражает относительное временное значение только в определенных типах предложений (в частности, в сложноподчиненном предложении с придаточными изъяснительными) или в определенных типах повествовательного контекста (будущее с точки зрения прошлого). Относительное временное значение данной формы определяется только в том или ином ее сочетании с другой глагольной формой или иными элементами контекста. Тем самым различие между абсолютным и относительным значением времен в русском языке проявляется лишь на уровне синтаксиса.

Иначе обстоит дело с точки зрения морфологического инварианта. Для морфологического уровня языка существенно лишь свойственное данной временной форме отношение к грамматической точке отсчета времени (будет ли ей соответствовать момент речи S или S_1, уточняется лишь в конкретном высказывании, в речи). На уровне морфологии является инвариантным признак, лежащий в основе системы времен глагола,— отношение к грамматическому моменту речи.

Измерение времени с точки зрения S_1 не исключает возможности дополнительной, а в определенных случаях и основной ориентации на момент речи S. Отсюда вытекает постановка вопроса о соотношении двух измерений времени, двух временных центров. Между абсолютным употреблением форм времени без каких бы то ни было элементов относительности и «чисто относительным» употреблением (это как бы два полюса) можно наметить

---

[14] См.: А. Добиаш, Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка, Прага, 1897, стр. 152.

[15] См., например: Е. Кржижкова, Некоторые проблемы изучения категории времени в современном русском языке, ВЯ, 1962, 3, стр. 20—22; Н. С. Поспелов, О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени в русском языке, «Проблемы современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию академика В. В. Виноградова», М., 1965, стр. 223.

несколько промежуточных, переходных ступеней, что находит отражение в предлагаемой классификации.

1. Абсолютное употребление времен, не связанное с относительной ориентацией. Например: «[Маша] Вы меня не ожидали... Не бойтесь, я скоро *уйду*...» (Тургенев, Холостяк); «[Раиса] Тетя Варя, уже *звонят*, пора» (А. Толстой, Касатка). В таких случаях перед нами только одно измерение времени, один временной центр — момент речи S.

2. Абсолютное употребление форм времени с дополнительной относительной ориентацией. Измерение времени с точки зрения момента речи S сочетается с отношением ко времени другого действия. В сложноподчиненном предложении с придаточными изъяснительными эта дополнительная относительная ориентация связана с моментом речи S_1. Ср. примеры, в которых форма прошедшего времени зависит от прошедшего времени в главном предложении или будущее в придаточном сочетается с будущим в главном: «Егорушка... стоял около Пантелея и *смотрел*, как огонь *ел* траву» (Чехов, Степь); «[Оля] ...Я *увижу*, как вы *поедете*» (Островский, Светит, да не греет).

3. Совмещение абсолютной и относительной временной ориентации. В этом случае то и другое значение выражается глагольной формой. Ее грамматическое значение выявляется и как абсолютное (с точки зрения момента речи S), и как относительное (с точки зрения S_1). Поэтому обе ориентации должны рассматриваться как основные. Такое употребление возможно и в придаточных изъяснительных, когда формы разных времен зависят от формы настоящего времени в главном предложении. Например: «[Клавдий] ...Идет, кажется. Ты *слышишь*, как платье *шумит*» (А. Толстой, Насильники). Форма *шумит*, выражая одновременность по отношению к *слышишь* (момент восприятия S_1), проявляет свое грамматическое значение. Вместе с тем грамматическое значение этой формы выявляется и как абсолютное, так как выражается настоящее с точки зрения момента речи Клавдия (S). «[Вилицкий] Я надеюсь, Марья Васильевна, что вы *полюбите* моего приятеля...» (Тургенев, Холостяк). Форма *полюбите* обозначает будущее как по отношению к *надеюсь* (с точки зрения S_1), так и по отношению к моменту речи (не только через посредство времени глагола *надеюсь*, но и непосредственно: время данного действия определяется с точки зрения момента речи Вилицкого). Совмещение абсолютной и относительной временной ориентации происходит при совпадении момента речи S и S_1.

4. Относительное употребление времен с дополнительной абсолютной ориентацией. Грамматическое значение формы выступает как значение относительное; вместе с тем в контексте определяется (но не выражается грамматически) отношение действия к моменту речи. Такое сочетание можно наблюдать в придаточных изъяснительных, когда настоящее время зависит от прошедшего. Например: «В большой прихожей... сидела Лиля и *глядела*, как *пляшет* огонь» (А. Толстой, Детство Никиты). Форма *пляшет* выражает настоящее (одновременность) по отношению к *глядела* (с точки зрения Лили). Кроме того, действие *пляшет*, поскольку оно одновременно с прошедшим действием, определяется как прошедшее с точки зрения момента речи. Наличие этой дополнительной абсолютной ориентации подтверждается возможностью замены настоящего времени формой прошедшего несовершенного (*глядела, как плясал огонь*). При такой замене абсолютная ориентация превращается из дополнительной в основную, а относительная ориентация становится дополнительной. «...Мне *почудилось*, что какой-

то старик в белом шлафроке *сидит* за столом» (Аксаков, Детские годы Багрова-внука) [16].

Аналогичный характер имеет относительное употребление настоящего, зависящего от будущего: «[Яблоков] Наташа, конечно, обозлится сначала... Потом реветь начнет... *Увидит*, что зверь-то от нее *уходит* — тут она гордость-то свою зубами заест» (А. Толстой, Кукушкины слезы). Относительное временное значение действия *уходит* (настоящее по отношению к *увидит* с точки зрения Наташи) совмещается с дополнительной абсолютной ориентацией (будущее по отношению к моменту речи Яблокова). Абсолютная временная ориентация устанавливается через посредство действия главного предложения: *увидит* — будущее, значит, и одновременное с ним действие *уходит* относится к будущему.

Ср. также «будущее в прошедшем»: «— ...Телушка эта мирно паслась возле ограды, но хлопцы раздразнили ее до того, что она погналась за одним и вот-вот его *догонит*!» (Шолохов, Поднятая целина). Основная ориентация действия — будущее с точки зрения прошлого, однако общая линия повествования, с которой тесно связана наша форма, поддерживает вместе с тем восприятие действия как объективно прошедшего.

5. Относительное употребление времен, не связанное с абсолютной ориентацией. Такое чисто относительное употребление особенно характерно (хотя и не обязательно) для форм будущего времени, зависящих от прошедшего. Например: «Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе, как он *приедет* домой, как кухарка Марья *отворит* ему дверь, как жена Наташа *бросится* к нему на шею и *вскрикнет*...» (Чехов, Добрый немец). Действия определены как будущие с точки зрения субъекта S_1, но полностью отсутствует отношение к моменту речи S. Ср. еще: «Все, каждый порознь, *надеялись*, что где-нибудь да *найдут* они хорошее место» (Решетников, Где лучше?).

Изложенная выше классификация может быть представлена в виде следующей схемы (где *А* — абсолютное, *О* — относительное употребление времен; дополнительная временная ориентация обозначена теми же буквами в скобках):

А А(О) АО О(А) О

Соотношение основной и дополнительной временной ориентации представляет лишь один тип взаимодействия глагольного времени и темпоральности. Этот пример может дать представление о проблематике, но, разумеется, не может ее исчерпать. Необходимо подробное описание средств выражения темпоральности, детальное обследование различных типов соотношения темпоральности и глагольного времени. Было бы полезно связать этот материал с изучением модальности и наклонения. Такое исследование могло бы способствовать разработке общетеоретической проблемы соотношения и взаимодействия понятийных и грамматических категорий.

---

[16] О синтаксических и стилистических условиях употребления времен в подобного рода случаях см.: W. Boeck, Zum Tempusgebrauch des Russischen in Objekt- und Subjektsätzen, ZfS, *II*, 2, 1957; его же, Der Tempusgebrauch in der russischen Objekt- und Subjektsatzen, seine historische Entwicklung und sein stilistischer Wert, ZfS, III, 2—4, 1958.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

Г. А. ХАБУРГАЕВ

О ФОНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РУССКОГО АКАНЬЯ

0.1. Те последовательные фонетические изменения, в результате которых сложились современные манифестации безударных гласных в южновеликорусских и белорусских говорах, не могут быть правильно осмыслены без выяснения фонологической сущности аканья-яканья. Именно поэтому фонология аканья оказалась в центре внимания участников дискуссии по вопросу о происхождении русского аканья, которая сейчас развернулась на страницах «Вопросов языкознания»[1].

Нельзя не заметить, что некоторые предложенные фонологические интерпретации русского аканья не дают принципиально нового решения проблемы, а лишь возводят на уровень фонологии уже высказанные ранее фонетические гипотезы — со всеми их неточностями и противоречиями[2]. Вместе с тем в ходе дискуссии было высказано сомнение в том, что фонологические отношения могут быть непосредственной причиной фонетических изменений[3]. Действительно, фонологические отношения определенного периода базируются на существующих в данный момент фонетических особенностях; они могут меняться в зависимости от осуществившихся фонетических изменений (это обстоятельство, между прочим, объективно нашло отражение во всех указанных статьях, посвященных диахронии аканья). Вместе с тем существуют общие фонологические тенденции, которыми в целом определяется то или иное направление фонетических изменений, хотя конкретные результаты этих изменений обусловлены фонетическими же причинами. Выявление таких тенденций требует внимательного отношения к уже добытым, хорошо известным фактам русской фонетики.

0. 2. В настоящее время в русском языкознании под аканьем (в широком смысле) принято понимать неразличие гласных неверхнего подъема в первом предударном слоге — независимо от того, какие именно гласные произносятся в этой позиции в каждом конкретном диалекте[4]. При этом

[1] См.: В. И. Георгиев, Русское аканье и его отношение к системе фонем праславянского языка, ВЯ, 1963, 2; В. Г. Руделев, К фонологической интерпретации русского аканья, там же; П. С. Кузнецов, К вопросу о происхождении аканья, ВЯ, 1964, 1; В. В. Колесов, О некоторых особенностях фонологической модели, развивающей аканье, ВЯ, 1964, 4; см. также: Я. Риглер, К проблеме аканья, ВЯ, 1964, 5.

[2] Особенно характерна в этом отношении статья В. Г. Руделева, которая предлагает фонологическую интерпретацию не русского аканья, а известной шахматовской гипотезы, «подгоняя» под нее фонологические построения. В. И. Георгиев также развивает мысль, уже высказывавшуюся ранее А. Вайаном (см.: A. Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, I, Lyon — Paris, [1950], стр. 106—109; критику см. в рецензии П. С. Кузнецова, ИАН ОЛЯ, 1951, 4, стр. 398—399; см.: его же, К вопросу о происхождении аканья, стр. 30).

[3] См.: П. С. Кузнецов, К вопросу о происхождении аканья, стр. 37.

[4] Это могут быть (в разных соотношениях по говорам) гласные *а* (и *'а*), *ъ*, *ы*, *е*, *и* и др., что, как уже отмечено П. С. Кузнецовым (см. указ. соч., стр. 31), само по себе лишает состоятельности любую попытку связать русское аканье с сохранением предполагаемого праславянского **а*.

во всех известных диалектологам акающих говорах те же гласные не различаются и в остальных безударных слогах. Известно, что с точки зрения фонетической для любого акающего говора характерно:

а) различие между гласными по длительности и интенсивности звучания, определяемое отношением к ударному слогу: наиболее сильным является гласный ударного слога, второе место занимает гласный первого предударного слога, третье — гласные остальных безударных слогов[5];

б) различная фонетическая реализация гласных первого предударного слога в одной и той же словоформе в разных акающих говорах (например, словоформы *вода* и *несу* в разных диалектах могут произноситься как *вадá — вʌдá — въдá — выдá* и *н'асú — н'есú — н'ьсú — н'ʌсú — н'исú*); в тех случаях, когда не ставится задача описания конкретной системы аканья, все эти манифестации предударного гласного можно было бы условно обозначить символом *а* (*вадá* и *н'асú*), что будет передавать акающее произношение независимо от типа или разновидности аканья-яканья. Во второй позиции (т. е. во втором и далее предударных и в заударных слогах) во всех акающих говорах нормально произносится сильно редуцированный гласный неясного образования, обозначаемый в традиционной русской транскрипции знаком ъ (после мягких согласных обычно 'ь)[6];

в) отмеченное разнообразие фонетических реализаций (кроме количественного сокращения) обычно наблюдается лишь в тех случаях, когда в безударном положении оказывается гласный, звучащий в той же морфеме под ударением как гласный неверхнего подъема (т. е. *а, е, о*; например, в приведенных выше случаях: *вóды, н'ос*).

0.3. При выяснении фонологических условий развития русского аканья должно быть учтено, какие фонетические признаки безударных гласных имеют значение дифференциальных (ДП), т. е. существенна ли для фонологической системы акающего говора та фонетическая реализация гласных, которая характерна для предударных (и вообще безударных) слогов при той или иной разновидности аканья-яканья и, как известно, зависит от различных фонетических причин (качества ударного гласного, соседства твердых или мягких согласных и др.). Только в этом случае можно ответить на вопрос: следует ли считать различные типы аканья-яканья разными фонологическими системами, или они являются лишь разновидностями одной фонологической системы?

1.1. Простейшие эксперименты показывают, что носители акающих говоров безразличны к любой замене безударных гласных, даже если произношение тех или иных словоформ при этом не соответствует системе аканья-яканья данного говора (скажем, словоформа *весла* носителями акающих говоров без затруднений распознается при любом варианте реализации безударного гласного: *н'ислá — н'аслá — н'еслá — н'и'слá — н'ьслá — н'слá* и даже *н'услá*). Это может быть объяснено опытом междиалектного общения, который подсказывает возможность различных вариантов произношения гласных в безударных слогах. Этим опытом могут объясняться и постоянно отмечаемые диалектологами случаи различной реализации *а* (см. 0.2. б) в одном и том же говоре и даже в речи одного и того же лица, т. е. отсутствие последовательно проведенной системы аканья-яканья.

Вместе с нарушениями системы аканья в результате междиалектного контактирования, а в настоящее время и под влиянием литературного про-

[5] Схема эта, намеченная еще А. А. Потебней, впоследствии была поддержана многими русскими и зарубежными лингвистами; см., в частности: П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 35.

[6] Отступления, характерные для абсолютного начала и конца слова, не затрагивают системы аканья и имеют свои известные объяснения.

изношения (например, типа *вадá*, *пашлá* и под. в говорах с диссимилятивным аканьем), повсеместно распространены случаи произношения разных гласных в одних и тех же словоформах, не связанные с внешним влиянием и также фиксируемые в речи одних и тех же лиц[7]. В современных акающих диалектах такие сосуществующие варианты произношения одной и той же словоформы далеко не всегда связаны с аналогией или фонетическим окружением (что, напротив, обязательно для подобных случаев в окающих говорах), нерегулярны и совершенно определенно обнаруживают лишь безразличие к фонетическим свойствам безударных гласных со стороны носителей говора. При этом возможность различных реализаций нередко распространяется и на безударные гласные тех морфем, в которых под ударением произносятся гласные верхнего подъема *у*, *ы*, *и* (которые, как принято считать, не включаются в систему аканья), и не только во второй позиции (типа *гóлъп'* — *гóлап'*, *бáр'ен* — *бáр'ан*, *ръкавá* — *рыкавá* — *ркавá* и т. п.[8], так же, как и *за тем пóл'ъм* — *пóл'ем* — *пóл'ам* — *пóл'им̥* — *пóл'м̥* — *пóл'ум*, *ръзярвáл* — *рызярвáл* — *рзярвáл*), что отмечается постоянно, но и в первой позиции (типа *ръбáк* — *рабáк*, *в'адáл* и под.), где лишь предударный *у*, как правило, сохраняет свои основные, фонетические свойства[9] (ср., однако, распространенные случаи произношения *у* в первой позиции в соответствии с ударными гласными неверхнего подъема; *кумáр*, *пупáл*, *рукувá* и под.[10]).

1.2. Факты постоянных и нерегулярных «нарушений» системы аканья обусловлены одной фонологической причиной, общей для всех акающих диалектов. Такой общей причиной является дефонологизация фонетических свойств безударных гласных, что ведет к унификации их ДП.

Унификация ДП безударных гласных еще не означает, что в настоящее время эти гласные в акающих говорах полностью не различаются фонетически (по степени подъема, по ряду, наличию лабиализации, напряженности, компактности); но фонетические свойства безударных гласных в акающих говорах не выполняют словоразличительных функций. Те или иные артикуляционные и, следовательно, акустические различия, которые характерны в каждом конкретном акающем говоре для безударных гласных в определенных фонетических условиях (т. е. в зависимости от положения в середине, в абсолютном начале или конце слова, от качества ударного гласного, качества соседних согласных и т. д.), не имеют фонологического значения, а потому не могут быть признаны ДП: *ъ* (или *ы*), *а*, *и* (или *е*, *и*ᵉ) и т. д. в безударных слогах — это варианты реализации одной фонемы (которая выше была условно обозначена знаком *ǝ* для первой позиции и *ъ* для второй), обусловленные ее фонетическим положением. Возможные для каждого данного говора варианты фонетической реализации *ǝ*, образующие вместе так называемую систему (тип, разновидность)

[7] Ср., например, в говорах с диссимилятивным аканьем в соседстве с губными согласными *вода*, *пупáла* и под. рядом с *въдá*, *пъшлá* и т. д. (см.: Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. 1, М., 1949, стр. 71—72).

[8] См.: Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 115—116, 121—122; о широком распространении случаев типа *сънду́к'и* см., например: К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова, Группировка говоров русского языка по данным лингвистической географии, ВЯ, 1963, 6, стр. 21.

[9] П. С. Кузнецов также обращает внимание на то, что диалектологами «засвидетельствованы случаи, когда *і* (после мягких согласных), *ы* после твердых вовлекаются в те позиционные чередования, каким подвергаются гласные, соотносимые с ударяемыми гласными неверхнего подъема; что же касается *у*, то этот гласный в большинстве русских говоров как наиболее сильно лабиализованный верхнего подъема наиболее устойчив в наименьшей степени подвержен качественным изменениям» (см. указ. соч., стр. 41)

[10] Фонетическое объяснение соответствующих фактов см.: Р. И. Аванесов, указ. соч., стр. 69—70.

аканья-яканья, обусловлены артикуляционными условиями или теми фонетическими тенденциями, которые характеризовали говор при возникновении или проникновении в него аканья, т. е. отражают исторические условия перехода к противопоставлению безударных гласных ударным.

1.3. В процессе унификации ДП безударных гласных происходит обобщение отдельных фонетических свойств, противопоставляющих безударные гласные ударным, т. е. становящихся общими ДП для всех безударных гласных. Так, например, безударные гласные в акающих говорах обобщают ДП «компактность», распространяя его также на безударные *и, ы, у*, которые по отношению к соответствующим ударным гласным являются менее диффузными; заметно также и обобщение ненапряженности безударных гласных (т. е. *и, ы* безударных слогов являются менее напряженными, чем *и, ы* под ударением)[11].

1.4.1. Таким образом, с точки зрения фонологической русское аканье — это унификация безударными гласными тех ДП, которые остаются релевантными для гласных ударных слогов; при этом значение основного ДП получает позиция гласного по отношению к ударению (т. е. ДП «ударный — безударный», а среди безударных — ДП «первый предударный — не первый предударный»).

1.4.2. При таком подходе к фонологической сущности русского аканья история его развития — это история дифференциации ударных и безударных гласных при нейтрализации тех ДП безударных гласных, которые могли бы противопоставлять их друг другу.

2.1. Дефонологизация отдельных ДП гласных фонем может быть отмечена уже в праславянском языке. Когда произошло качественное разграничение индоевропейских долгих и кратких гласных (т. е. когда из индоевропейских **ē/*ĕ, *ī/*ĭ, *ū/*ŭ* и т. д. развились праславянские *ě/e, i/ь, y/ъ* и т. д., где в каждой паре гласные, различавшиеся по длительности звучания, стали различаться и по артикуляции), то это означало дефонологизацию ДП «долгота — краткость». Это привело к тому, что в дальнейшем большинство славянских языков вообще утратило не только фонологическое, но и фонетическое различие между гласными по квантитативным признакам (в одной и той же фонетической позиции), что было связано с переходом от музыкального ударения к динамическому[12].

Древнерусский язык, унаследовав систему гласных фонем с дефонологизированным ДП «долгота ~ краткость»[13] и заменив музыкальное ударение динамическим, развил тенденцию к дальнейшей нейтрализации, а затем и унификации ДП гласных фонем, в частности унифицировав квантитативные различия между гласными.

2.2. Тенденция к унификации ДП гласных фонем, наметившаяся в развитии звуковой системы древнерусского языка, должна была осуще-

---

[11] Ср. замечание В. В. Колесова (со ссылкой на соответствующие наблюдения Л. В. Щербы) о том, что ненапряженность является основным признаком качественной редукции гласных (см. указ. соч., стр. 71—72); Я. Ригелов утверждает, что «аканье действительно является следствием ослабления напряженности артикуляции в безударных и кратких слогах» (указ. соч., стр. 41).

[12] Ср., напротив, сохранение квантитативных различий между гласными в сербохорватском языке, где сохраняется и музыкальное ударение (то, что современные соотношения тонов в сербохорватском часто не совпадают с праславянскими, в данном случае значения не имеет). Только в ударных слогах сохраняются количественные различия между гласными в словенских говорах, в которых также сохраняются и различия тонов. В диалектах других славянских языков (например, в чешском, словацком) различие гласных по долготе — явление новое, не имеющее прямого отношения к старым квантитативным различиям между гласными и связанное с историей акцента.

[13] В. Г. Руделев, считая этот признак для древнерусского языка дифференциальным, тем не менее признает, что «оппозиция до ДП „долгота — краткость" была чисто исторической, пережиточной» (указ. соч., стр. 32—33).

ствиться везде, где оказывались для этого условия. За недостатком данных сейчас еще трудно сказать, послужили ли такие процессы, как переход к динамическому ударению, развитие согласных «вторичного смягчения», падение редуцированных, изменение *е* > *'о* и др., условиями или причинами, вызвавшими эту тенденцию, или, напротив, сами они явились (все или некоторые) результатами ее реализации. Но связь между ними несомненна: общую историю системы русских фонем — сокращение системы гласных (в результате унификации их ДП) при усложнении системы согласных (в результате дифференциации ДП согласных фонем) — в той или иной степени можно проследить во всех диалектах русского языка.

2.3. Противопоставление ударого слога безударным по длительности и интенсивности, являющееся неизбежным следствием перехода к динамическому ударению, вызвало в русских говорах не только утрату уже нейтрализованного ранее различия гласных одной позиции по квантитативным признакам, но и нейтрализацию (с тенденцией к унификации) ряда других ДП безударных гласных. Таковы, в частности, известные многим северновеликорусским диалектам случаи различного произношения старого *ѣ* в разных фонетических позициях — при сохранении особой фонемы *ѣ* лишь в ударных слогах, отсутствие *ѣ* в безударных слогах, так называемое ёканье [14] и ряд других явлений. Аканье также связано с реализацией этой тенденции: в восточнорусских (по терминологии А. А. Шахматова) диалектах, продолжением которых являются южновеликорусские, указанная общая закономерность под влиянием каких-то условий (внутренних [15] или внешних [16]) получила большее развитие, чем на севере, вызвав почти полную унификацию ДП ряда гласных в безударных слогах — с тенденцией к слиянию этих гласных в одну фонему.

3.1. Факты акающих говоров указывают на то, что исторически процесс унификации ДП гласных фонем в безударных слогах начался с обобщения артикуляционно и акустически близких друг другу ненапряженных компактных гласных неверхнего подъема [17], которые в разных словоформах фонетически могли реализоваться по-разному в зависимости от качества гласного ударного слога, ставшего при новом характере ударения центром фонетического слова [18].

Если унификация гласных фонем безударных слогов, противопоставленных дифференцированной системе ударных гласных, действительно связана с переходом к динамическому ударению, при котором не только

---

[14] Напомню, что именно на владимирско-поволжском ёканье (т. е. унификации гласных среднего подъема в предударном слоге) основана получившая широкое распространение среди диалектологов концепция происхождения умеренного яканья (см.: В. Н. Сидоров, О происхождении умеренного яканья в среднерусских говорах, ИАН ОЛЯ, 1951, 2).

[15] В этом плане интересна попытка В. В. Колесова связать аканье с подвижным типом ударения (см. указ. соч., стр. 68—70); однако предложенный им материал требует дальнейшего тщательного изучения.

[16] Известны попытки связать развитие аканья с иноязычным влиянием; см., например: В. И. Лыткин, К вопросу о происхождении аканья в русском языке, «Научн. конференция 1957—1958 уч. г. [Рязанск. гос. пед. ин-та]. Тезисы-аннотации докладов», 1959, стр. 71—72; его же, Еще к вопросу о происхождении русского аканья, ВЯ, 1965, 4.

[17] Нет необходимости предполагать ранее сокращение безударного *а*, как это делает А. А. Шахматов (см. «Очерки древнейшего периода истории русского языка», Пг., 1915, стр. 332): общность судьбы *е*, *о*, *а* в акающих говорах могла быть обусловлена их компактностью и напряженностью, в связи с чем они в безударных слогах легче подвергались редукции, чем напряженные диффузные гласные. Но в этом случае неизбежно предположение о раннем совпадении *ѣ* (*ѣ*) с *е* в говорах, развивших аканье.

[18] Ср. аналогичный вывод В. В. Колесова: «Интонация как важнейшая характеристика слога уступает место единому словесному ударению, которое становится структурным центром слова» (указ. соч., стр. 73).

утрачиваются различия между безударными гласными по долготе, но и происходит отчетливое выделение ударного слога по длительности и интенсивности[19], то фонетическая зависимость гласного первой позиции от качества ударного гласного в начальный период развития аканья должна была стать неизбежной. Так могла наметиться система диссимилятивного или ассимилятивно-диссимилятивного аканья-яканья.

3.2. С точки зрения фонетической проблема аканья — это фонетические варианты реализации *а* в первом предударном слоге. В остальных безударных слогах, характеризующихся резким падением силы и интенсивности по сравнению с ударным, сильная редукция привела к почти полной фонетической унификации фонологически уже нейтрализованных гласных[20], единственным ощутимым свойством которых остается функция слогообразования, т. е. самый общий ДП, противопоставляющий русские гласные фонемы согласным. На это, в частности, указывают нередко отмечаемые в беглой речи случаи нулевой артикуляции гласных второй позиции (обычно — в соседстве с сонорными), когда фонетически функция слогообразования может переходить к соседнему согласному: *прд'аржал*, *рзарвáл* и т. п.[21]. И лишь в слоге, непосредственно предшествующем ударному, артикуляция гласных оказывалась связанной с артикуляцией наиболее сильного и интенсивного гласного ударного слога. Какова природа

[19] А. А. Шахматов, отмечая, что для славянских языков с динамическим ударением характерно «ослабление гласных в слогах неударяемых и напротив усиление их в ударяемых» («Русское и словенское аканье», РФВ, 48, 3—4, 1902, стр. 2; ср. там же, стр. 38 и др.), подчеркивал: «Не подлежит сомнению, что эти изменения (редукция гласных в безударных слогах и переход к аканью.— *Г. Х.*) находятся в зависимости от ударения» (там же, стр. 34). А. М. Селищев также считал, что «основное значение, принадлежавшее роли редукции в происхождении явлений, связанных с изменением неударных гласных в южновеликорусских говорах, не подлежит сомнению» («Заметки по великорусской диалектологии. I. К изучению типов аканья», «Slavia», VI, 2—3, 1927, стр. 455—456). Связь аканья с редукцией безударных гласных, вызванной переходом к динамическому ударению, признают и участники развернувшейся сейчас на страницах «Вопросов языкознания» дискуссии; см.: В. Г. Руделев, указ. соч., стр. 32 и сл.; П. С. Кузнецов, указ. соч., стр. 34 и сл.; В. В. Колесов, указ. соч., стр. 73.

Впрочем четверть века назад Ф. П. Филин решительно отказывался связывать развитие аканья с усилением ударного и ослаблением (редукцией) безударных гласных (см.: Ф. П. Филин, Очерк истории русского языка до XIV столетия, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 27, Кафедра русск. яз., 1940, стр. 50—54), утверждая, что «аканье и редукция неударяемых гласных имеют особое, не связанное друг с другом происхождение» (его же, К вопросу о происхождении аканья, «Диалектологический сборник», II, Вологда, 1941, стр. 156) и что «редукция неударяемых гласных — явление более позднее, чем аканье» (там же, стр. 158). В неразрывной связи аканья с редукцией сомневается Я. Риглер (см. указ. соч., стр. 41 и 44).

[20] См. отмеченное выше (1.1) обычное для носителей акающих говоров фонологическое безразличие к разным вариантам произношения гласных второй позиции, на что обратил внимание уже А. А. Шахматов [ср. многочисленные приводимые им примеры типа *п'итач'óк*, *зыв'изáл*, *супаγ'и́*, *хóлуду* и т. п. («Русское и словенское аканье», стр. 57—60) и *м'и́лаjу падрýγу*, *такýjа*, *с'и́тнаи*, *бáр'ан* и т. д. (там же, стр. 84—85)]; а факты письменных памятников свидетельствуют о том, что если не унификация, то по крайней мере нейтрализация ДП гласных в этой позиции (в частности, в заударных слогах) была характерна для акающих говоров и в XVII в. Таковы, например, свидетельства южновеликорусских написаний с меной *о — а — ы — у*: *пасанак*, *почал-бала*, *приготовил-бола*, *воилыку — воилаками — воилуком*, *приемушъ*, *приимушав* [см. С. И. Котков, Южновеликорусское наречие в XVII столетии (фонетика и морфология), М., 1963, стр. 76—77].

[21] А. А. Шахматов обратил внимание и на эти случаи утраты редуцированных во второй позиции (см. «Русское и словенское аканье», стр. 61—62). Написания, видимо, отражающие такое произношение, встречаются в текстах XVII в.: *Картаяк* «Коротояк», *Глахтион* «Галактион» и под. (см.: С. И. Котков, указ. соч., стр. 76). В говорах с диссимилятивным аканьем нулевая артикуляция гласного обычна также и в первой позиции; *гал̥вá* или *гал̥ъва*, *бар̥дá* или *бар̥ъда* и т. д. (см.: Р. И. Аванесов, указ. соч. стр., 69). Между прочим, при учете тенденции к фонологической ней-

этой связи — вопрос частный при решении проблемы происхождения аканья с точки зрения фонологической, хотя и представляющий интерес для исторической диалектологии.

3.3. Схема соотношения гласных ударного и первого предударного слогов, реконструированная А. А. Шахматовым для периода развития аканья, в принципе должна быть принята — независимо от того, как относиться к шахматовской интерпретации этой схемы. Схема эта, как известно, включает две просодические модели:

1) ⌣ ⌣́, где предударный *а* (после твердого или после мягкого согласного) находится перед бывшим долгим гласным (одновременно диффузным, верхнего или верхне-среднего подъема);

2) ⋁ ⌣́, где предударный ъ (после твердого или после мягкого согласного,— по А. А. Шахматову, ɑ или ɛ) находится перед бывшим кратким гласным (одновременно компактным, среднего или нижнего подъема)[22].

Конструируя эту схему, А. А. Шахматов, как известно, ориентировался на так называемую архаическую разновидность диссимилятивного яканья, открытую Л. Л. Васильевым по записям А. С. Машкина. Установленное А. А. Шахматовым соотношение гласных ударного и предударного слогов позднее получило фактическое подтверждение для положения после твердых согласных[23]; после мягких согласных в модели ⋁ ⌣́ в большинстве акающих говоров на месте ⋁ (шахматовского ɛ) обычно произносится *и*, *и*^{е}, *е*. Однако по мере накопления материалов для атласа русских народных говоров появились записи, осуществленные в говорах с диссимилятивным яканьем, в которых находит отражение произношение, точно соответствующее модели ⋁ ⌣́[24] (с передачей предударного редуцированного после мягкого согласного посредством 'ь)[25]. В диалектологической прак-

---

трализации безударных гласных возникает возможность объяснять лингвистически многие написания с пропуском букв, относящиеся даже к периоду более раннему, чем XVII в. В традиционном нашем языкознании соответствующие факты нередко квалифицировались как описки, а на самом деле они в ряде случаев могли быть связаны с уже начавшимся процессом нейтрализации ДП безударных гласных. Таковы, например, написания *горда* «гòрода», *новгородмъ* и др., отмеченные Б. М. Ляпуновым в памятниках XIII в. и объясненные тем, что «в некоторых говорах неударяемые гласные отличались большей слабостью (редукцией) произношения» по сравнению с ударными в связи с развитием динамического ударения [см.: Б. М. Ляпунов, Исследование о языке Синодального списка I Новгородской летописи, вып. I, СПб., 1900, стр. 94, 95; напомню, что А. И. Соболевский в своей известной рецензии (см. ЖМНП, 1900, ч. 327, январь, Критика и библ., стр. 188—189) отрицал фонетическую обусловленность таких написаний]. В этой связи интересны результаты статистического анализа Смоленской грамоты 1229 г., проделанного ученицей Б. М. Ляпунова И. М. Тимчиновой: в этом своеобразном памятнике мена букв ь — *е*, *ъ* и ъ — *о* не более чем в 25 случаях сопряжена с обозначением ударных гласных (при этом часть случаев падает на слова, которые могли быть энклитиками), в то время как в соответствии с безударными гласными отмечено не менее 96 случаев (!); пропуск *е*, *о* встречается только в безударных слогах (см.: И. М. Тимчинова, К хронологии явлений, предшествующих аканью, «Уч. зап. высшей школы г. Одессы. Отдел. гум.-общ. наук», II, 1922, стр. 116).

[22] См.: А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, стр. 333.

[23] См.: Т. Г. Строганова, Одна из особенностей южнорусского вокализма, ВЯ, 1955, 4.

[24] В этой связи нельзя не присоединиться к замечанию П. С. Кузнецова о том, что «установленная в последнее десятилетие возможность полного параллелизма гласных первого предударного слога после мягких и после твердых согласных устранила многие трудности, вставшие ранее» при решении вопроса о происхождении аканья (см. указ. соч., стр. 40).

[25] Соответствующие факты см., например, в работах: К. Ф. Захарова, Архаические типы диссимилятивного яканья в говорах Белгородской и Воронежской областей, «Материалы и исследования по русской диалектологии», Новая серия, I, М., 1959 (примеры типа *зв'ър'бк*, *р'ъмн'бм*, *б'ър'бза* и мн. др. см. на стр. 32); О. Н. Мораховская, Соотношение типов яканья в говорах рязанской мещеры, там же,

тике автора этой статьи редуцированный гласный в первом предударном слоге после мягких согласных встретился только в говорах с ассимилятивно-диссимилятивным яканьем[26], т. е. только перед старыми краткими (несократившимися) *е* и *о* (*д'ьр'éвн'а*, *м'ьшóк*, *р'ьдóк*), но не перед *а*.

3.4. С. И. Котков, собравший богатый материал южновеликорусских памятников письменности, связанных с говорами, ныне характеризующимися диссимилятивным аканьем-яканьем, утверждает, что «в XVI в., согласно нашим сведениям, ассимилятивность в южновеликорусском яканье уже существовала»[27]. Эти данные, а также широкое распространение ассимилятивно-диссимилятивного аканья-яканья в рязанских и смежных воронежских говорах, т. е. на территории, где аканье, видимо, существовало изначально, наводят на мысль о том, что ассимилятивно-диссимилятивное аканье-яканье может быть не менее древним, чем диссимилятивное[28]. Если бы это оказалось так, то пришлось бы согласиться с предположением А. А. Шахматова о том, что на фонетическую реализацию унифицированной гласной фонемы первого предударного слога в начальный период развития аканья оказывала влияние долгота или краткость ударного гласного, ибо это единственный фонетический признак (но в период развития аканья, видимо, уже не ДП), объединяющий диффузные напряженные гласные верхнего (и верхне-среднего) подъема и компактный ненапряженный гласный нижнего подъема *а*, перед которыми при ассимилятивно-диссимилятивном типе аканья-яканья предударный *а* фонетически реализуется одинаково (как *а*).

В этом случае неизбежно возникает предположение о сравнительно позднем сокращении ударного *а* (более позднем, чем это представлялось А. А. Шахматову[29]) в говорах, развивших ассимилятивно-диссимилятивное аканье. Диссимилятивное аканье могло при аналогичных условиях развиться в говорах, где ударный *а*, возможно, подвергся сокращению ранее, чем другие долгие гласные.

3.5. Итак, первоначально аканье-яканье фонетически оформляется в виде соотношения:

Первый предударный	Ударный слог
а (или *'а*)	*и ы у* *е ô*
ъ (или *'ь*)	*е о* (возможно, и *а*)
а (или *'а*)	*а*

III, М., 1962 (примеры из говоров с умеренно-диссимилятивным яканьем *γр'ьм'éла*, *т'ьб'é*, *н'ьд'éл'а*, *дъч'ьр'á*, *къч'ьр'γá* и др. см. на стр. 77) и др.

[26] В хуторе Вязокрайнем и селе Вязовом Краснояружского р-на Белгородской обл. Говор с. Вязового в свое время был обследован по «Программе собирания сведений для составления диалектологического атласа русского языка»; в записях, которые хранятся в Институте русского языка АН СССР, составителями ответов на вопросы «Программы» этот гласный также передан знаком *'ь* (типа *д'ьр'éвн'а*).

[27] С. И. Котков, указ. соч., стр. 70.

[28] Ср. аналогичное, хотя и очень осторожно сформулированное замечание С. И. Коткова о том, что «распространенное мнение об ассимилятивности как позднейшем наслоении на систему яканья, основанного на диссимилятивном принципе», должно быть отклонено (указ. соч., стр. 82).

[29] Нельзя не обратить внимание на то, что вопрос о раннем сокращении *а* ставился А. А. Шахматовым только в связи с объяснением развития диссимилятивного аканья-яканья (см. «Очерк древнейшего периода истории русского языка», стр. 332 и 340) и больше никакими данными не подтверждается.

Позднее на месте ъ (ˈь) появляется в большинстве говоров после мягких согласных *и* или *е* (или *и*[е]); после твердых становится возможным *ы*. Любопытно, однако, что в южновеликорусских памятниках первой половины XVII в. ни *и*, ни *ы* как отражение аканья не встречаются; в частности, после мягких согласных находим *а* (на письме *я*) и *е* (т. е. *пятров — взела*)[30]. Видимо, по крайней мере до середины XVII в. в говорах с диссимилятивным или ассимилятивно-диссимилятивным аканьем в предударном слоге еще сохранялась фонетическая оппозиция диффузных гласных верхнего (в частности, *ы*, *и*) и компактных неверхнего подъема (*а*, *ъ*). Местные писцы, которые могли пользоваться только известными им буквами кирилловской азбуки, обозначали предударный редуцированный после мягких согласных (ˈь) посредством *е* ввиду акустической близости ˈь и ˈ*е*.

Последующее совпадение ˈь с ˈ*и* в большинстве акающих говоров, как и встречающееся реже совпадение после твердых согласных ъ > *ы*, отражает продолжающийся процесс унификации предударных гласных путем нейтрализации ДП «верхний (и диффузный) — неверхний (и компактный)».

3.6. Так как по своей фонологической сущности русское аканье стремится к ликвидации фонемных различий между гласными безударных слогов, то при переходе того или иного говора к аканью не имеет значения конкретная фонетическая реализация предударного гласного: усваивается лишь оппозиция *а* ударным гласным как основной принцип аканья. Фонетическая реализация *а* определяется при этом фонетическими тенденциями говора [в одних говорах *а* как реализация *а* может распространяться также на случаи перед ударными *е* и *о*, т. е. появляется сильное аканье и яканье; в ряде говоров перед мягкими согласными, т. е. между (!) палатальными, артикуляция гласного в результате аккомодации меняется, становясь более верхней, в то время как перед твердыми согласными (и всегда — после твердых) *а* реализуется как *а* (умеренное яканье[31]), и т. д.]. Именно так может объясняться то разнообразие типов и разновидностей аканья-яканья, которое характерно для современных говоров русского языка.

3.7. С этих же позиций должен быть решен и спор о причинах распространения аканья за счет оканья[32]. Дело здесь не в структурных «преимуществах» аканья над оканьем, относительность которых разъяснена С. И. Котковым[33], а в том, что тенденция к унификации ДП безударных гласных является общей для всех говоров русского языка, в том числе и окающих (см. 2.3). Поскольку аканье представляет более последовательную реализацию этой тенденции, то усвоение его носителями окающих говоров отвечает основному направлению развития русского безударного вокализма.

---

[30] В огромном количестве курских памятников мне встретились только *я* и *е* (см. Г. А. Хабургаев, Формы склонения имен существительных в курских памятниках деловой письменности первой половины XVII в., Автореф. канд. диссерт., М., 1956, стр. 6); большое количество примеров с *е* «на месте *я*» приводится в материалах С. И. Коткова (см. указ. соч., стр. 64—65): среди 85 примеров, отражающих аканье после мягких согласных, лишь девять с написанием *и*, при этом два — из публикаций XIX в. (см. там же, стр. 66—69).

[31] Для отдельных говоров возможен и тот путь образования умеренного яканья (на базе ёканья), который был указан В. Н. Сидоровым (см. указ. соч., стр. 173—174 и сл.).

[32] См.: R. Jakobson, Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves, TCLP, 2, 1929, стр. 93—94; Р. И. Аванесов, Вопросы образования русского языка в его говорах, «Вестник МГУ», 1947, 9, стр. 147.

[33] См.: С. И. Котков, Из истории изучения орловских говоров, «Уч. зап. [Орловск. гос. пед. ин-та]», V. Кафедра русск. яз., 2, 1951, стр. 52—53; ср. его же, Южновеликорусское наречие в XVII столетии, М., 1963, стр. 62 и сл.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

С. К. ШАУМЯН

ТЕОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ

1. **Предварительные замечания.** В настоящей работе ставится задача дать общий очерк предлагаемой мною новой теории трансформаций, без понимания которой невозможно полное уяснение сущности формализации грамматической синонимии и ряда других фундаментальных проблем структурной лингвистики[1].

Новая теория трансформаций составляет органическую часть аппликативной порождающей модели. В этой теории надо различать понятия, принадлежащие аппликативной порождающей модели в целом, и понятия, относящиеся специально к генератору фразовых трансформационных полей; такие основные понятия аппликативной порождающей модели, как аппликация, релятор и т. д., принимаются здесь без определения, и изложение теории трансформаций ниже начинается непосредственно с исходных объектов и операций генератора фразовых трансформационных полей.

Поскольку в дальнейшем речь будет идти только о фразовых трансформационных полях, то для краткости будут употребляться выражения «трансформационное поле» или просто «Т-поле» вместо «фразовое трансформационное поле».

Как будет видно из дальнейшего изложения, краеугольным камнем новой теории трансформаций является трактовка понятия трансформации как производного от понятия трансформационного ряда — в отличие от теорий З. Харриса и Н. Хомского, в которых понятие трансформации считается первичным. Построение исчисления трансформаций возможно только внутри трансформационного ряда. С понятием трансформационного ряда соотносится понятие трансформационного поля. Семантическая интерпретация трансформационного поля приводит к установлению закона смысловой инвариантности, имеющего фундаментальное значение для семантического исследования естественных языков.

2. **Исходные объекты и операции генератора трансформационных полей.** В генераторе трансформационных полей, который в дальнейшем будет называться кратко Т - г е н е р а т о р, содержатся следующие исходные объекты:

1. Бесконечное множество последовательностей фраз

$$U = \{U_1, U_2, \ldots, U_p, \ldots\}.$$

Каждая из этих последовательностей фраз, U_i, имеет вид

$$(Z_1, Z_2, \ldots, Z_k), \text{ где } k \geqslant 1.$$

Каждую из этих последовательностей фраз назовем о п е р а н д о м т р а н с ф о р м а ц и о н н о г о п о л я или, кратко, Т - о п е р а н д о м.

[1] См.: С. К. Ш а у м я н, П. А. С о б о л е в а, Аппликативная порождающая модель и формализация грамматической синонимии, ВЯ, 1965, 5; С. К. Ш а у м я н, Структурная лингвистика, М., 1965.

Символы Z_1, Z_2, ..., Z_k в формуле Т-операнда обозначают отдельные фразы, которые могут быть сами по себе одночленными или многочленными. Запятые между этими фразами означают, что эти фразы не обязательно должны быть подфразами некоторой целой фразы. Фразы Z_1, Z_2, ..., Z_k могут быть связаны друг с другом, и в этом случае они должны рассматриваться в качестве подфраз фразы, служащей Т-операндом. Но фразы $Z_1, Z_2, \ldots, Z_k$ могут быть также и не связаны между собой. Однако в обоих случаях эти фразы составляют в Т-генераторе единый абстрактный объект, и, чтобы обозначить это, мы заключаем их в круглые скобки — $(Z_1, Z_2, \ldots, Z_k)$.

2. Конечное множество операторов трансформационных полей

$$T = \{T_1, T_2, \ldots T_m\}.$$

Каждый оператор трансформационного поля, или кратко, каждый Т-оператор, T_1, T_2, ..., T_m, представляет собой множество k-членных фразовых форм. Таким образом, имеем:

$$T_1 = T_1', T_1'', \ldots, T_1^{(p)}$$
$$T_2 = T_2', T_2'', \ldots, T_2^{(q)}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$T_m = T_m', T_m'', \ldots, T_m^{(r)}$$

где T_i есть Т-оператор, а T_i^j есть k-членная фразовая форма, входящая в T_i и имеющая вид

$$(R_{i_1}, R_{i_2}, \ldots, R_{i_k}).$$

Фразовой формой называется набор k реляторов вида $(R_{i_1}, R_{i_2}, \ldots, R_{i_k})$, интерапликация которого к k-членному Т-операнду порождает фразу.

Интерапликацией называется операция, представляющая собой аппликацию первого релятора фразовой формы к первому члену Т-операнда, второго релятора фразовой формы ко второму члену Т-операнда, k-го релятора фразовой формы к k-му члену Т-операнда и сведение полученных новых объектов в единый блок, т. е. цельную фразу. Таким образом, имея Т-операнд $(Z_1, Z_2, \ldots, Z_k)$ и фразовую форму вида $(R_{i_1}, R_{i_2}, \ldots, R_{i_k})$, мы получим в результате интерапликации фразовой формы к Т-операнду фразу: $(R_{i_1}Z_1R_{i_2}Z_2 \ldots R_{i_k}Z_k)$.

Полученная фраза может в свою очередь рассматриваться в качестве Т-операнда, от которого можно путем интерапликации фразовой формы получить новую фразу, которая может служить новым Т-операндом. Таким образом, порождение фраз с помощью интерапликации имеет рекурсивный характер и в силу этого надо различать Т-операнды разных тактов порождающего процесса.

Для обобщенного обозначения Т-операнда любого такта будем пользоваться формулой

$$(X_1, X_2, \ldots, X_k).$$

Множество фразовых форм, составляющих данный Т-оператор, назовем субоператорами данного Т-оператора. Любой Т-оператор, T_i, может быть представлен в виде следующей формулы, представляющей

совокупность его субоператоров:

$$\left.\begin{matrix} (R'_{i_1}, R'_{i_2}, \ldots, R'_{i_k}) \\ (R'_{i_1} R''_{i_2}, \ldots, R_{i_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ (R^{(m)}_{i_1}, R^{m}_{i_2}, \ldots, R^{(m)}_{i_k}) \end{matrix}\right\}$$

Введем операцию подстановки. Под **п о д с т а н о в к о й** (из данных k элементов) здесь имеется в виду операция взаимно однозначного отображения на себя конечного множества, содержащего k элементов.

Изложенным исчерпывается перечень исходных объектов и операций в Т-генераторе. Мы имеем в Т-генераторе два рода исходных объектов: 1) Т-операнды и 2) Т-операторы, каждый из которых представляет собою множество фразовых форм, называемых субоператорами данного Т-оператора. В качестве исходных операций принимаются интераппликация и подстановка.

3. Трансформационный ряд и трансформационное поле. Опираясь на исходные объекты и операции, рассмотренные в предыдущем разделе, введем теперь глобальную операцию, которую назовем **т р а н с ф о р м а ц и о н н ы м р я д о м**, или кратко — **Т - р я д о м**. **Т - р я д** есть интераппликация субоператоров данного Т-оператора ко всевозможным подстановкам членов данного Т-операнда. Если обозначить подстановку символом *Per*, а интераппликацию символом *Int*, то формула Т-ряда будет иметь следующий вид:

$$\frac{(X_1, X_2, \ldots, X_k)}{\left.\begin{matrix} (X'_{j_1}, X'_{j_2}, \ldots, X'_{j_k}) \\ (X'_{j_1}, X''_{j_2}, \ldots, X_{j_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ (X^{(p)}_{j_1}, X^{(p)}_{j_2}, \ldots, X^{(p)}_{j_k}) \end{matrix}\right\}}\,Per \qquad \left.\begin{matrix} (R'_{i_1}, R'_{i_2}, \ldots, R'_{i_k}) \\ (R''_{i_1}, R''_{i_2}, \ldots, R'_{i_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ (R^{(m)}_{i_1}, R^{(m)}_{i_2}, \ldots, R^{(m)}_{i_k}) \end{matrix}\right\}$$

$$\overline{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}\,Int$$

$$\left.\begin{matrix}
\left.\begin{matrix} (R'_{i_1}\; X'_{j_1}\; R'_{i_2}\; X'_{j_2} \ldots R'_{i_k}\; X'_{j_k}) \\ (R'_{i_1}\; X''_{j_1}\; R'_{i_2}\; X''_{j_2} \ldots R'_{i_k}\; X''_{j_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ (R'_{i_1}\; X^{(p)}_{j_1}\; R'_{i_2}\; X^{(p)}_{j_2} \ldots R'_{i_k}\; X^{(p)}_{j_k}) \end{matrix}\right\} \\
\left.\begin{matrix} (R''_{i_1}\; X'_{j_1}\; R'_{i_2}\; X'_{j_2} \ldots R''_{i_k}\; X'_{j_k}) \\ (R''_{i_1}\; X'_{j_1}\; R''_{i_2}\; X''_{j_2} \ldots R'_{i_k}\; X_{j_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ (R''_{i_1}\; X^{(p)}_{j_1}\; R''_{i_2}\; X^{(p)}_{j_2} \ldots R'_{i_k}\; X^{(p)}_{j_k}) \end{matrix}\right\} \\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\left.\begin{matrix} (R^{(m)}_{i_1}\; X'_{j_1}\; R^{(m)}_{i_2}\; X'_{j_2} \ldots R^{(m)}_{i_k}\; X'_{j_k}) \\ (R^{(m)}_{i_1}\; X'_{j_1}\; R^{(m)}_{i_2}\; X''_{j_2} \ldots R^{(m)}_{i_k}\; X_{j_k}) \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ (R^{(m)}_{i_1}\; X^{(p)}_{j_1}\; R^{(m)}_{i_2}\; X^{(p)}_{j_2} \ldots R^{(m)}_{i_k}\; X^{(p)}_{j_k}) \end{matrix}\right\}
\end{matrix}\right\}$$

Множество объектов, порожденных по данной формуле, будем называть **трансформационным полем**, или кратко, **Т-полем**. Каждый объект, входящий в Т-поле, назовем **трансформом**.

Членом Т-ряда назовем интерапликацию данного субоператора ко всевозможным подстановкам членов данного Т-операнда. Так, если обратимся к формуле Т-ряда и возьмем субоператор $(R'_{i_1}, R'_{i_2}, \ldots, R'_{i_k})$, то член Т-ряда, представляющий собой интерапликацию данного субоператора ко всевозможным подстановкам Т-операнда $(X_1, X_2, \ldots, X_k)$, будет иметь следующий вид:

$$\frac{\begin{array}{l}(X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_k)\\ \hline Per\end{array}}{\begin{array}{l}(X'_{j_1},\ X'_{j_2},\ \ldots,\ X'_{j_k})\\ (X''_{j_1},\ X''_{j_2},\ \ldots,\ X''_{j_k})\\ \ldots\ldots\ldots\ldots\\ (X^{(p)}_{j_1},\ X^{(7)}_{j_2},\ \ldots,\ X^{(p)}_{j_k})\end{array}\quad (R'_{i_1},\ R'_{i_2},\ \ldots,\ R'_{i_k})}$$

$$\frac{}{Int}$$

$$\begin{array}{l}(R'_{i_1}\ X'_{j_1}\ \ R'_{i_2}\ X'_{j_2}\ \ \ldots\ R'_{i_k}\ X'_{j_k})\\ (R'_{i_1}\ X''_{j_1}\ \ R'_{i_2}\ X''_{j_2}\ \ \ldots\ R'_{i_k}\ X''_{j_k})\\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\ (R'_{i_1}\ X^{(p)}_{j_1}\ R'_{i_2}\ X^{(p)}_{j_2}\ \ldots\ R'_{i_k}\ X^{(p)}_{j_k})\end{array}$$

Множество трансформов, порождаемых членом Т-ряда, будем называть **трансформационным подполем** или, кратко, **Т-подполем**.

Элементарным членом Т-ряда назовем интерапликацию данного Т-субоператора к любой отдельной подстановке членов данного Т-операнда. Так, если обратиться к только что рассмотренному члену Т-ряда, то его можно разложить на следующие элементарные члены:

$$\frac{\begin{array}{l}(X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_k)\\ \hline Per\end{array}}{(X'_{j_1},\ X'_{j_2},\ \ldots,\ X'_{j_k})\qquad (R'_{i_1},\ R'_{i_2},\ \ldots,\ R'_{i_k})}$$

$$\frac{}{Int}$$

$$(R'_{i_1}\ X'_{j_2}\ R'_{i_2}\ X'_{j_1}\ \ldots\ R'_{i_k}X'_{j_k})$$

$$\frac{\begin{array}{l}(X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_k)\\ \hline Per\end{array}}{(X''_{j_1},\ X''_{j_2},\ \ldots,\ X''_{j_k})\qquad (R'_{i_1},\ R'_{i_2},\ \ldots,\ R'_{i_k})}$$

$$\frac{}{Int}$$

$$(R'_{i_1}\ X''_{j_1}\ R'_{i_2}\ X''_{j_2}\ \ldots\ R'_{i_k}X''_{j_k})$$

$$\frac{\begin{array}{l}(X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_k)\\ \hline Per\end{array}}{(X^{(p)}_{j_1}\ X^{(p)}_{j_2},\ \ldots,\ X^{(p)}_{j_k})\qquad (R'_{i_1},\ R'_{i_2},\ \ldots,\ R'_{i_k})}$$

$$\frac{}{Int}$$

$$(R'_{i_1}\ X^{(p)}_{j_1}\ \ R'_{i_2}\ X^{(p)}_{j_2}\ \ldots\ R'_{i_k}\ X^{(p)}_{j_k})$$

Вместо термина «элементарный член Т-ряда» будем пользоваться также термином «трансформация». Таким образом, трансформация есть не что иное, как элементарный член Т-ряда.

Изложенное можно резюмировать в виде следующей таблицы операций и порождаемых ими объектов:

Операция	Порождаемый объект
Т-ряд	Т-поле
Член Т-ряда	Т-подполе
Элементарный член Т-ряда (трансформация)	Трансформ

Т-поле и Т-подполе вовсе не тождественны простой сумме отдельных трансформов. Это специфические структурные объекты, представляющие собой сложные корреляции трансформов. Трансформационные корреляции в какой-то мере напоминают фонологические корреляции.

В интерпретированной пятиклассной форме Т-генератора, которая называется системой А (система А содержит пять реляторов, которые интерпретируются так: R_1 — аффикс глагола, R_2 — аффикс существительного, R_3 — аффикс прилагательного, R_4 — аффикс приглагольного наречия, R_5 — аффикс приадъективного наречия), имеем пять Т-операторов:

T_1, субоператоры которого имеют вид R_{i_1}

T_2, субоператоры которого имеют вид (R_{i_1}, R_{i_2})

T_3, субоператоры которого имеют вид $(R_{i_1}, R_{i_2}, R_{i_3})$

T_4, субоператоры которого имеют вид $(R_{i_1}, R_{i_2}, R_{i_3}, R_{i_4})$

T_5, субоператоры которого имеют вид $(R_{i_1}, R_{i_2}, R_{i_3}, R_{i_4}, R_{i_5})$

Процедура получения субоператоров заключается в следующем. Выписываем все размещения реляторов с повторениями, полагая $k = 1, 2, 3, 4, 5$. Согласно теореме комбинаторики, число всевозможных размещений с повторениями из s элементов по k равно s^k.

Получив всевозможные размещения реляторов, применяем матрицу смежности

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
R_1	−	+	−	+	−
R_2	+	−	+	−	−
R_3	−	+	−	−	+
R_4	+	−	−	−	−
R_5	−	−	+	−	−

(где + обозначает допустимые, а — обозначает запрещенные сочетания реляторов) и исключаем все размещения, содержащие запрещенные сочетания реляторов.

Далее исключаем все зеркальные отображения размещений.

Оставшиеся размещения должны считаться субоператорами соответствующего Т-оператора. Например, при $k = 3$ получаем следующие 11 субоператоров трехчленного Т-оператора $(R_{i_1}, R_{i_2}, R_{i_3})$.

(R_5, R_3, R_2)	(R_3, R_2, R_3)
(R_3, R_2, R_1)	(R_3, R_3, R_2)
(R_2, R_1, R_4)	(R_3, R_1, R_2)
(R_5, R_3, R_5)	(R_1, R_2, R_1)
(R_3, R_5, R_3)	(R_4, R_1, R_4)
	(R_1, R_4, R_1)

В аппликативной порождающей модели применяется алгоритмический способ порождения трансформационных полей путем построения трансформационных матриц с вписанными в них графами. Каждая трансформационная матрица имеет количество строк, равное числу

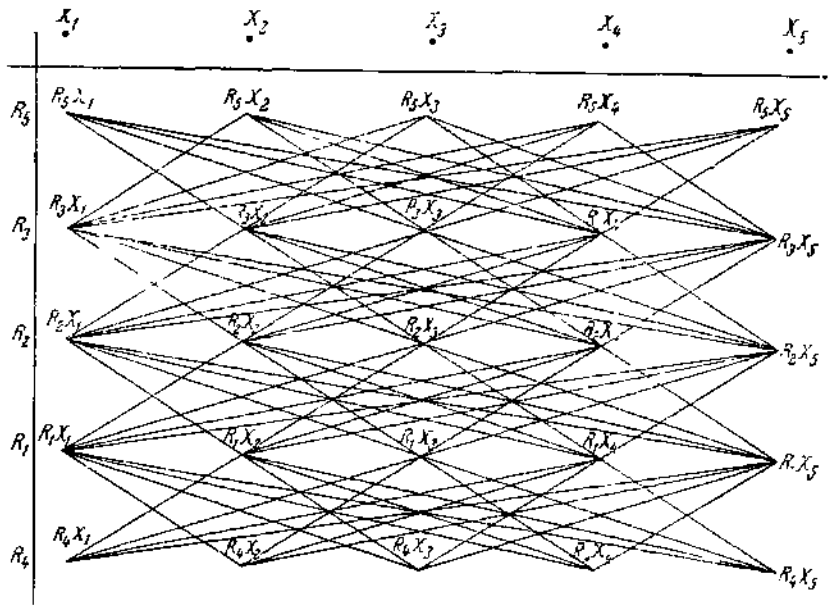

Рис. 1

реляторов в данной системе (причем смежные строки должны содержать только реляторы, допустимые по матрице смежности), и количество столбцов, равное числу членов Т-операнда.

Алгоритм построения трансформационной матрицы с вписанным в нее графом состоит из следующих правил:

1. Выбирая из множества реляторов $\{R_1, R_2, \ldots, R_n\}$ реляторы в порядке их смежности, каждый релятор по одному разу, аппликируй их к каждому члену Т-операнда и результат подпиши в виде столбца под соответствующим членом Т-операнда.

2. Интерпретируя элементы полученной трансформационной матрицы в качестве вершин графа, соедини их ребрами по матрице смежности.

3. Выпиши цепочки элементов, двигаясь по графу так, чтобы в каждой цепочке содержалось по одному элементу от каждого столбца трансформационной матрицы.

4. Путем операции аппликации преобразуй полученные цепочки элементов во фразы[2].

---

[2] В процессе преобразования цепочек элементов во фразы в некоторых случаях должно применяться правило введения в цепочки коннекторов. Это правило, как и некоторые другие технические подробности, рассматриваются в кн.: С. К. Шаумян, Структурная лингвистика, М., 1965.

5. Рассматривая каждую полученную фразу в качестве нового Т-операнда, повтори над ней указанную процедуру.

Применительно к системе А трансформационная матрица и граф показаны для пятичленного Т-операнда на рис. 1.

Выше было сказано, что члены Т-операнда могут быть связаны, а могут быть и не связаны между собой.

Наложим на порождение Т-поля следующие ограничения: 1) члены Т-операнда должны быть связаны между собой, 2) если члены Т-операнда X_i и X_j составляют аппликативную пару, то их дериваты R_kX_i и R_lX_j тоже должны составлять аппликативную пару.

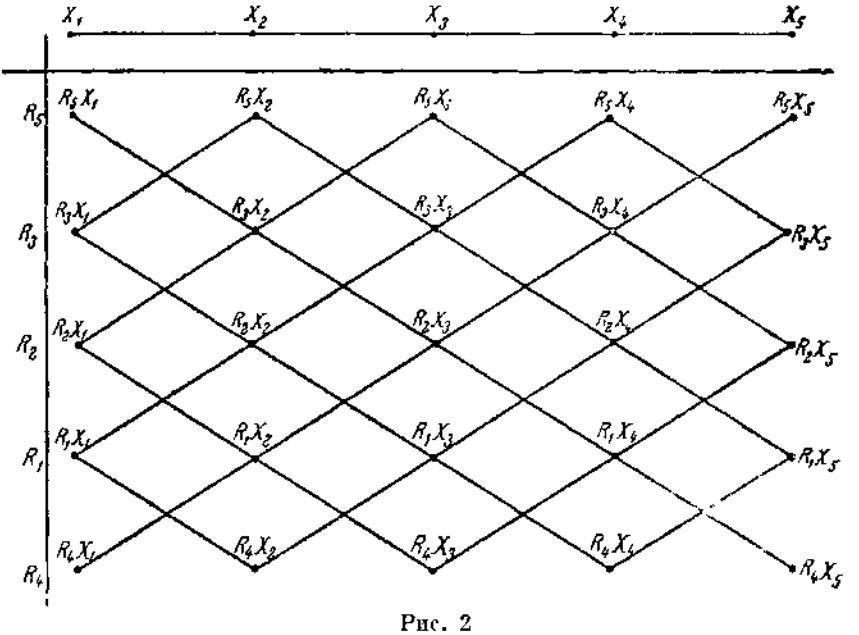

Рис. 2

Если на порождение Т-поля накладывается только первое ограничение, то порождаемое Т-поле называется полусвязанным. Если накладываются оба ограничения, то порождаемое Т-поле называется связанным. Если порождающий процесс свободен от обоих ограничений, то порождаемое Т-поле называется несвязанным.

Приведенный алгоритм применяется для порождения несвязанного и полусвязанного Т-поля. Что же касается связанного Т-поля, то для его порождения применяется этот же алгоритм, но с заменой правила 2 правилом 2а, которое формулируется так:

2а. Интерпретируя элементы полученной трансформационной матрицы в качестве вершин графа, соедини каждую вершину j-го столбца только с каждой вершиной $(j + 1)$-го столбца по матрице смежности.

Применительно к системе А трансформационная матрица и граф связанного Т-поля показаны для пятичленного Т-операнда на рис. 2.

Обращаясь к трансформационным матрицам, можно видеть, что в них отражаются все закономерности процесса порождения Т-полей. Смежные строки матрицы обозначают смежные позиции членов субоператоров и трансформов; в матрице находим все подстановки членов Т-операнда и размещения реляторов, составляющих субоператоры Т-оператора.

Таково в общих чертах формальное описание процесса порождения Т-поля. Перейдем теперь к семантической интерпретации Т-поля.

4. Семантическая интерпретация трансформационного поля, грамматическая синонимия и закон смысловой инвариантности. Вводится понятие выполнимости. Данная синтаксическая система считается выполнимой, если она интерпретируется в некоторой семантической области.

Предлагается ряд усиливающихся требований к выполнимости Т-поля.

Первым, наиболее слабым требованием является грамматичность порождаемых фраз. В соответствии с первым требованием Т-поле выполнимо в том случае, если порождаемые фразы Т-поля могут интерпретироваться грамматически правильными фразами того или иного языка. От лексического содержания фраз мы при этом отвлекаемся. Согласно первому требованию, Т-поле может интерпретироваться в терминах грамматических объектов того или иного языка, например:

0. $R_2OR_1OR_4R_2O$	Операнд	0. Сущ. им. п. + глаг. перех. + сущ. вин. п.
1. $R_5R_2OR_3R_1OR_3R_4R_2O$	Трансформы	1. Сущ. им. п. + прич. страд. + сущ. тв. п.
2. $R_3R_2OR_3R_1OR_5R_4R_2O$		2. Сущ. им. п. + прич. действ. + сущ. вин. п.
3. $R_3R_2OR_3R_1OR_1R_4R_2O$		3. Сущ. отгл. + сущ. род. п. + связка сущ. им. п.
4. $R_3R_2OR_2R_1OR_3R_4R_2O$		4. Сущ. род. п. + сущ. отгл. + сущ. тв. п.
5. $R_4R_2OR_1R_1OR_4R_4R_2O$		5. Сущ. тв. п. + глаг. безл. + сущ. вин. п.
6. $R_2R_1OR_1R_2OR_4R_4R_2O$		6. Сущ. отгл. + глаг. отым. + сущ. вин. п.
и т. д.		и т. д.

При такой интерпретации Т-поля несущественно то, что, например, трансформация 0 → 3 характерна для одного состава лексических морфем (*Попов изобрел радио → Изобретение Попова — радио. Флеминг открыл пенициллин → Открытие Флеминга — пенициллин*), трансформация 0→5 для другого (*Пуля уложила бойца → Пулей уложило бойца. Град побил пшеницу → Градом побило пшеницу*). а трансформации 0 → 1 и 0 → 2 характерны как для того, так и для другого состава лексических морфем. Существенной является сама возможность преобразования некоторой грамматической структуры в целый ряд других грамматических структур.

Лингвистический смысл первого требования к выполнимости Т-поля заключается в исследовании выводимости одних грамматических структур из других, т. е. в исследовании грамматической инвариантности.

Вторым, более сильным требованием является грамматичность порождаемых фраз при тождестве лексических морфем[3] операнда и трансформов. В соответствии со вторым требованием правильной интерпретацией Т-поля была бы, например, такая:

0. $R_2OR_1OR_4R_2O$	Операнд	0. *Поэт посещает деревню*
1. $R_5R_2OR_3R_1OR_2R_4R_2O$	Трансформы	1. *деревня, посещаемая поэтом*
2. $R_3R_2OR_3R_1OR_5R_4R_2O$		2. *поэт, посещающий деревню*
3. $R_3R_2OR_2R_1OR_3R_4R_2O$		3. *посещение поэтом деревни*
4. $R_2R_1OR_1R_2OR_4R_4R_2O$		4. *Посетитель мотивирует деревню*
5. $R_3R_2OR_2R_4R_2OR_1R_1O$		5. *Поэтическая деревня посещается*
6. $R_2R_2OR_3R_1OR_3R_4R_2O$		6. *посещаемый деревенский поэт*
и т. д.		и т. д.

[3] Лексические морфемы следует понимать как абстрактные единицы, реализующиеся в конкретных единицах, называемых лексическими морфемоидами. Например, англ. *despise* и *contempt* представляют собой два лексических морфемоида, реализующих одну и ту же лексическую морфему.

Лингвистический смысл второго требования к выполнимости Т-поля заключается в исследовании выводимости одних фраз естественного языка из других, т. е. в исследовании грамматической и лексической инвариантности.

Третьим, наиболее сильным требованием к выполнимости Т-поля является грамматичность порождаемых фраз при тождестве лексических морфем операнда и трансформов и тождестве некоторых ситуаций, с которыми соотносится Т-поле. В соответствии с третьим требованием Т-поле считается выполнимым, если ситуация, с которой оно соотносится, остается тождественной по отношению ко всем трансформам Т-поля.

Правильной интерпретацией трансформов Т-поля в соответствии с третьим требованием была бы интерпретация, соответствующая первым трем примерам из шести, приведенных выше.

Лингвистический смысл третьего требования к выполнимости Т-поля заключается в исследовании выводимости из данной фразы синонимичных ей фраз (синонимических рядов фраз), т. е. в исследовании грамматической, лексической и смысловой инвариантности.

Рассмотрение Т-полей с точки зрения их выполнимости: а) в некотором наборе фраз с грамматическим инвариантом; б) в некотором наборе фраз с грамматическим и лексическим инвариантом; в) в некотором наборе фраз с грамматическим, лексическим и смысловым инвариантом будем называть тремя видами семантической интерпретации Т-полей.

Аппликативная порождающая модель позволяет сформулировать следующий закон смысловой инвариантности:

Если Т-поле является связанным, то интерпретирующие его фразы образуют семантическое поле фраз, описывающих тождественную ситуацию, т. е. обладающих смысловым инвариантом.

Синонимические ряды фраз представляют собой не что иное, как другую формулировку семантического поля фраз, описывающих тождественную ситуацию.

Закон смысловой инвариантности является абстрактным законом, идеализирующим реальную смысловую инвариантность в естественных языках. В задачу эмпирического исследования должно входить систематическое изучение отклонений от этого закона при его реализации. Так, имеются закономерные случаи, когда полусвязанные трансформации выполняются в тождественных ситуациях. Например: *Завод выпускает продукцию → выпуск заводской продукции. Вода наполняет бассейн → наполненный водный бассейн.* В данном случае тождество ситуации не нарушается потому, что семантическая связь, существующая между словами операнда, конститутивно не связанными (*завод — продукция, вода — бассейн*), получает синтаксическое выражение в трансформе (*заводская продукция, водный бассейн*). И наоборот, имеются случаи, когда связанные трансформации выполняются в нетождественных ситуациях, например, *Мальчик поет песню → Мальчику поют песню.* В данном случае тождество ситуации нарушается потому, что семантическая связь «субъект — действие», формализуемая синтаксическими связями операнда, разрушается и заменяется семантической связью «действие — объект», формализуемой синтаксическими связями трансформа.

В связи с интерпретацией Т-полей следует также отметить, что ни одно k-членное Т-поле не выполнимо в одном и том же синонимическом ряду, но обязательно выполнимо более чем в одном синонимическом ряду. При

этом определенные синонимические ряды соответствуют определенным вырождениям Т-поля.

5. Выводы. В генераторе трансформационных полей (Т-генераторе) первичными объектами служат Т-операнды и Т-операторы, а первичными операциями — интерапликация и подстановка.

Существенную роль в Т-генераторе играет глобальная операция, называемая Т-рядом. Т-ряд есть интерапликация субоператоров данного Т-оператора ко всевозможным подстановкам членов данного Т-оператора. Т-ряд порождает Т-поле.

Т-ряд разбивается на члены Т-ряда, каждый член Т-ряда — на элементарные члены Т-ряда (трансформации). Соответственно Т-поле разбивается на Т-подполя, а каждое Т-подполе — на трансформы.

Различаются несвязанные, полусвязанные и связанные Т-поля.

Т-ряды и Т-поля могут быть представлены в виде специальных трансформационных матриц с вписанными графами.

Для семантической интерпретации Т-поля вводится понятие выполнимости. Т-поле считается выполнимым, если оно интерпретируется в некоторой семантической области. Три усиливающихся требования к выполнимости Т-поля суть: 1) грамматичность порождаемых фраз, 2) грамматичность порождаемых фраз при тождестве лексических морфем Т-операнда и трансформов, 3) грамматичность порождаемых фраз при тождестве лексических морфем Т-операнда и трансформов и тождестве некоторой ситуации, с которой соотносится Т-поле.

Лингвистический смысл третьего требования к выполнимости Т-поля заключается в исследовании грамматической, лексической и смысловой инвариантности.

Понятие связанного Т-поля позволяет сформулировать закон смысловой инвариантности.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

М. М. ФАЛЬКОВИЧ

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОЙ СТОРОНЕ СЛОВА

В течение последних 10—12 лет, как можно видеть из большого количества исследований, в языкознании и смежных ему науках возрос интерес к проблеме соотношения языка и мышления. Психологический аспект этой проблемы состоит прежде всего в том, как реализуется язык во время мыслительной деятельности, каковы механизмы формирования предложения в процессе мышления. Решение основных вопросов лингвистического плана, связанных с этой проблемой, несомненно зависит от решения психологического ее аспекта.

Новые экспериментальные данные психологических исследований[1] проливают свет на некоторые проблемы, которые оставались до недавнего времени неясными[2], в частности на вопрос о характере внутренней речи. Выдвигается и подтверждается опытами гипотеза о двухзвенности внутренней речи (предметно-изобразительный код и речедвигательный код); в первом звене мысль задается, во втором она передается и снова задается для первого звена. Предметно-изобразительный код — непроизносимый, в нем отсутствуют материальные признаки слов натурального языка, но он может автоматически переводиться в произносимые слова, так как есть правила перевода — предметы уже названы в натуральном языке.

Для лингвистики очень существенно в этом вопросе то, что каждая мысль реализуется каким-то знаком, который при переходе во внешнюю речь как бы расшифровывается. Это значит, что соответствие мысли определенному знаку,— является ли он предметным изображением в сознании или свернутым, сокращенным словесным шифром, готовым к переходу во внешнюю речь, сопровождается ли он речедвигательной реакцией или нет (это зависит от характера решаемой интеллектуальной задачи)[3] — устойчиво, постоянно[4].

Представители вюрцбургской школы психологов говорят, что мысль не выявляется в каком-либо мышечном сокращении или образе, а может быть определена только как «детерминирующая тенденция», мысль не идентична произносимым словам, ибо очень часто невозможно вспомнить слово, которое бы удовлетворительно передавало нашу мысль, и мы перебираем все возможные синонимы, пока не найдем соответствующее слово или фразу. Эти доводы представляются в какой-то степени убедительными некоторым современным западным психологам[5]. Действительно,

---

[1] Н. И. Жинкин, О кодовых переходах во внутренней речи, ВЯ, 1964, 6.

[2] Ф. Н. Шемякин. Некоторые проблемы современной психологии мышления и речи, сб. «Мышление и речь», М., 1963.

[3] Н. А. Соколов, Электромиографический анализ внутренней речи и проблема нейродинамики мышления, сб. «Мышление и речь», М., 1963.

[4] Хотя интерпретация этого соответствия может меняться в процессе общения в зависимости от контекста, что позволяет переосмысление лексических значений (см. об этом: Н. И. Жинкин, указ. соч., стр. 36).

[5] K. S. Lashley, The problem of serial order in behaviour, в кн. «Psycholinguistics A book of readings», ed. by S. Saporta, New York, 1961, стр. 184.

мы можем не сразу вспомнить необходимое для передачи нашей мысли слово, но тот факт, что нас не может удовлетворить даже самый близкий его синоним (как не удовлетворило бы неточное припоминание мелодии), а также пути припоминания этого слова (по общему его ритмическому рисунку, по какой-то одной букве, по привычным с этим словом ассоциациям) подтверждает наличие совершенно определенного соответствия мысли знаку, которое позволяет мысли реализоваться в слове при общении. Границы понятия определены той устойчивой связью, которая имеется в сознании человека между исторически сложившимся и усвоенным в процессе общения и совместной деятельности образом действительности и словесным его выражением.

Чем же является это словесное выражение понятия[6]? Можем ли мы говорить, как утверждают некоторые лингвисты, что слово называет некое общее понятие, которое присуще разным значениям одного слова в разной степени? По-видимому, если для выражения какой-то мысли человек пользуется тем же знаком, что и для выражения другой мысли, он рассчитывает быть правильно понятым благодаря контексту, который в силу языковой традиции данной группы людей допускает такое толкование, иными словами, передается иное значение (а иногда еще только окказиональное употребление), выраженное тем же знаком. Очевидно, что в слове, формой которого определенный коллектив пользуется для передачи многих понятий, т. е. в многозначном слове, есть значения, употребляемые чаще других, и они-то и вызывают наиболее привычные ассоциации с определенными понятиями. Например, слово *рукав* ассоциируется с частью одежды, хотя оно также может называть и понятия «ответвление от русла реки» и «труба, кишка». Или слово *материя* будет у большинства людей ассоциироваться в первую очередь с понятием «материал», у многих также еще с понятием «объективной реальности», хотя оно может называть и понятие «вещество» (то, из чего состоят все тела природы). Очевидно также и то, что одни значения могут быть более тесно связаны между собой, а другие — отойти довольно далеко от номинативного. Но каждое новое значение есть закрепленный в языке новый обобщенный образ действительности, новое осознанное отражение предмета, явления, отношения и т. п., т. е. новое понятие. Одним из условий общения людей в определенной языковой группе является однозначность, точность понятий, выраженных средствами языка. Тот факт, что, кроме узуальных, могут существовать различные окказиональные употребления и оттенки значений, лишь указывает на существование переходных случаев в языке и доказывает диалектический характер его развития. Поиски каких-либо «общих знаменателей значения» («common denominators of meaning»)[7], как, например, понятие «движения» в качестве общего знаменателя значений глагола *go*, только уводят в сторону от решения вопроса.

Нечеткое определение границ понятия ведет и к предположению общности всех понятий у разных языковых групп при различении значений в языке (одно понятие — много разных значений). Мысль о различных системах понятий у разных народов высказывалась еще В. Гумбольдтом, а затем Л. Вейсгербером и И. Триром. Теория лингвистической относительности, известная как гипотеза Сепира — Уорфа[8], постулирующая

---

[6] Речь идет о понятиях обыденного, а не научного языка.

[7] По выражению Е. Найды, который старается показать несостоятельность такой точки зрения: E. N i d a, A system for the description of semantic elementes, «Word», VII, 1, 1951, стр. 9.

[8] См.: B. L. W h o r f, Science and linguistics, New York, 1941; «Collected papers on metalinguistics», Washington, 1952; «The relation of habitual thought and behaviour to language» в сб. «Language, meaning and maturity», New York, 1954.

ту же точку зрения, объясняет многочисленные факты расхождений как в лексических значениях, так и в грамматических системах различных языков различным восприятием действительности под доминирующим влиянием языка. Сравнивая язык индейского племени хопи с европейскими языками, Уорф приходит к выводу о влиянии языка как на мировоззрение народа, так и на его культуру и поведение.

Если не считать этой последней части теории Уорфа, которая уже подвергалась критике со стороны американских лингвистов[9] и на страницах нашей печати, а рассмотреть только основную его гипотезу о различном восприятии мира различными языковыми группами, то следует отметить следующее: хотя эта гипотеза и преувеличивает роль языка в обратной связи (от концептуального обобщения к перцептному) и игнорирует влияние среды и общества на изменение как мышления, так и языка, в основной своей части теория Уорфа не расходится с известным положением о взаимодействии двух сигнальных систем и с теми экспериментальными данными, которые подтверждают влияние второй сигнальной системы на первую. Как известно, в результате овладения языком и усвоения накопленных человечеством знаний в процессе общения с другими людьми, отражение человеком действительности, приобретая словесную форму, становится сознательным. Всякая форма отражения действительности возникает в мозгу на основе воздействия самих отражаемых предметов, однако сознательное отражение возникает лишь при условии, если воздействующие предметы, признаки или явления так или иначе обозначены в языке человека (в форме внутренней или внешней речи). Если какой-нибудь раздражитель первой сигнальной системы не вызывает в коре больших полушарий связей с раздражителями второй сигнальной системы, то соответствующее явление не воспринимается сознательно. Это не значит, что человек не способен воспринимать это явление вообще; например, отсутствие тех или иных цветообозначений в каком-нибудь языке не означает, что носители этого языка не смогут воспринять разницу в этих цветах, если их внимание будет соответствующим образом направлено. Но в обычных условиях восприятие ими этих цветов не является сознательным. Сознательно воспринимается то, что обобщено в мышлении и языке в форме словесно обозначенных понятий.

Интересны опыты, иллюстрирующие это положение, которые проводились различными психологами[10]. Группе багандийцев, в языке которых почти отсутствуют цветообозначения, были даны куски картона различной формы, размера и цвета, задание было — разложить эти куски в разные стопки. Те багандийцы, которые мало общались с европейцами, делили куски картона по признаку размера и формы; багандийцы, обучавшиеся в европейских школах, почти во всех случаях делили картон по признаку цвета. Подобные опыты проводились с американскими детьми и детьми навахо (в языке которых очень много обозначений формы и материала). Американские дети, знающие язык навахо, могли гораздо лучше распределять предметы по форме и материалу, чем дети, не знающие этого языка.

Эти опыты свидетельствуют об обратном влиянии логического мышления на восприятие: в результате овладения новыми языковыми фактами

[9] H. H o i j e r, The Sapir — Whorf hypothesis, сб. «Language in culture», Chicago, 1954; C h. F. H o c k e t t, Chinese versus English: an exploration of the Whorfian thesis, там же; P. H e n l e, Language, thought and culture, The University of Michigan Press, 1958, стр. 6—18; «Psycholinguistics», New York, 1961, стр. 480—492; J. G r e e n b e r g, Concerning inferences from linguistic to nonlinguistic data, сб. «Language in culture»; C. K l u c k h o h n, Notes on some anthropological aspects of communication, «American anthropologist», 63, 5, 1964.

[10] Cl. K l u c k h o h n, указ. соч., стр. 904—906; P. H e n l e, указ. соч., стр. 6—9.

определенные понятия расширились, что сделало возможным сознательное восприятие определенных явлений. Обратное влияние второй сигнальной системы на первую возможно не только под воздействием языка. Советские психологи проводили ряд опытов для выяснения роли обратного влияния логического мышления на совершенствование способов познания. В частности, их интересовала роль практической деятельности людей, их профессиональных навыков в совершенствовании восприятия. В результате были получены данные, свидетельствующие о сдвигах звуковысотного различения, а также в области зрения и вкуса[11]. Новые знания рождают появление новых обозначений в виде терминов, которые в дальнейшем могут перейти и в общенародное употребление.

Понятия, которые являются продуктом неразрывного взаимодействия обеих сигнальных систем, отражены в системе языка, и о различиях в понятиях мы можем судить по соответствующим различиям в языках. В работах советских лингвистов и психологов собрано довольно много примеров таких различий[12].

Можно привести примеры из русского и английского языков, которые показывают не просто расхождения в смысловых структурах слов этих языков, т. е. несовпадение систем многозначных слов в разных языках, но разный подход к вычленению отличительных свойств предметов, на основании которых складываются понятия. Возьмем для примера самые элементарные слова, употребляющиеся в повседневной жизни, которые для англичанина выражают разные понятия, а для русского — одно[13]. Если даже начать со слов, употребляемых для описания внешности человека, его обихода и т. п. (не говоря уже о различном цветообозначении), то мы увидим насколько различны признаки, которые легли в основу обобщения в русском и английском языках. Например (опустим всем известные примеры различного названия рук и ног): *finger* «палец на руке», *toe* «палец на ноге»; *thigh* «бедро (от таза до колена)», *hip* «бедро (наружная верхняя сторона таза)»; *moustache* «усы (под носом)», *whiskers* «1. усы (растущие от наружных углов губ), а также бакенбарды, 2. усы у животных (кошек, тигров и т. п.)»; *stairs*, *staircase* «лестница (внутри дома)», *ladder* «лестница приставная (с перекладинами, а не ступеньками)»; *vase* «ваза (обычно высокая, для украшения, цветов)» *bowl* «ваза, чаша (в форме глубокого блюда — для фруктов, цветов, каши, салата и т. п.)»; *linen* «белье (льняное — столовое, постельное и т. п.)»; *underwear* «(нижнее) белье»; *blanket* «одеяло (шерстяное)», *quilt* «стеганое одеяло»; *butter* «коровье масло», *oil* «растительное или машинное масло»; *batter* «тесто (жидкое, для блинов)», *dough* «тесто (для пирогов); *cry* «плакать», *weep* «плакать (обычно беззвучно, проливать слезы)»; *smile* «улыбаться», *grin* «улыбаться („обнажая", скаля зубы в невольной улыбке, в широкой улыбке и т. д.).

Или возьмем примеры слов, которые для русского выражают разные понятия, для англичанина — одно: *рассыпать* и *разливать* — *spill*; *печка* и *плит(к)а* — *stove*; *земляника* и *клубника* — *strawberries*; *ставить* и *класть* — *put*; *мешок* и *кулек* — *bag*; *относить*, *отвозить*, *отводить* — *take*; *приносить*, *привозить*, *приводить* — *bring*.

Нет сомнения в том, что очень многие понятия совпадают у разных, тем более близких по условиям развития, народов. Нет сомнения и в том, что подавляющее большинство всех других понятий, перекрещиваясь

---

[11] Б. Г. Ананьев, Психология чувственного познания, М., 1960, стр. 42—43.

[12] О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 46—48; Б. В. Беляев, О слове и понятии, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», VIII, 1954, стр. 208; его же, Очерки по психологии обучения иностранным языкам, М., 1959, стр. 34—51.

[13] Примеры сверялись по толковым одноязычным русским и английским словарям.

в одном и расходясь в другом, также в общем имеется у всех. Иначе невозможно было бы общение между разными народами и перевод с одного языка на другой, невозможно было бы проведение ономасеологических исследований и была бы невозможна метаязыковая абстракция. Но, по-видимому, объем и содержание многих понятий разных языковых групп в силу разных путей абстрагирования, выделения общего и частного, расходятся. И этот факт, так же как и факт несовпадения систем значений (а следовательно, и понятий) в многозначных словах разных языков, открывает интересные перспективы для сравнительных лингвистических исследований[14] и для совершенствования лексикографической практики.

Что касается других спорных вопросов о соотношении понятия и значения, то они сводятся к следующим. Одни исследователи говорят о неполном совпадении понятия и значения, указывая на то, что 1) не все классы слов заключают в себе понятия[15], 2) всякое слово заключает в себе понятие лишь в своей исходной форме[16], 3) одно понятие может быть выражено сочетанием слов[17], 4) одно понятие может быть выражено разными по своей экспрессивно-эмоциональной окраске словами[18]. Другие исследователи, с разных точек зрения подходя к вопросу о соотношении значения и понятия, в целом говорят о их полном совпадении или единстве.

В значении, как известно, имеются две стороны: план содержания и план выражения. В плане содержания лингвистический знак соотносится с определенным реальным (или вымышленным)[19] предметом, признаком, явлением, чувством, отношением — это его понятийная сторона, его понятийное значение, иными словами, понятие, которое он выражает. В плане выражения лингвистический знак характеризуется определенными формальными признаками по парадигматической и синтагматической оси, конкретными лексическими связями, обусловленными языковой традицией (в отличие от связей, обусловленных предметно-логически), и определенной стилевой окрашенностью. Это — его лингвистическая сторона, его лингвистическое значение.

Понятийное значение включает в себя как предметно-логическое, так и эмоциональное значение[20], т. е. как логическое, так и экспрессивное в слове, если «это логическое и чувственное сплетаются в единое целое»[21] и их нельзя противопоставлять одно другому. Так, слова *большой*, *огромный*, *колоссальный*, *плохой*, *отвратительный*, *любить*, *обожать*, *ненавидеть*, *презирать* и т. п. имеют свои самостоятельные понятийные значения. Определенные аффиксы могут менять понятийное значение слова, придавая ему дополнительную оценочно-эмоциональную характеристику (*рука — ручка — ручонка*; *большой — большущий*). Однако в таких случаях, как *болтать* и *трепаться*, *отчитывать* и *давать нагоняй* и т. п.,

---

[14] Таких, например, как «Сравнительно-семасеологические исследования (романские языки)» Р. А. Будагова (М., 1963).

[15] Е. М. Галкина-Федорук, Слово и понятие, «Вестник МГУ», 1951, 9, стр. 42; А. Привалова, Система качеств и признаков слова в русском языке, сб. «Вопросы теории и истории языка», ЛГУ, 1963, стр. 257.

[16] Е. М. Галкина-Федорук, указ. соч., стр. 42, 43.

[17] В. А. Звегинцев, Очерки по общему языкознанию, М., 1962, стр. 348.

[18] А. Н. Уемов, Проблема синонимов и современная логика, сб. «Логико-грамматические очерки», М., 1961, стр. 29.

[19] Для лингвиста (как и для машины) не имеет значения, соотносится ли слово с чем-то реально существующим или нет, тем более, что в определении реальности существования чего-либо неизбежен субъективный фактор (ср. *небо*, *душа*, *бог*, *призрак*, *Дед Мороз*, а также *муза*, *Пегас*, *кентавр* и т. п.).

[20] См.: И. Р. Гальперин, Очерки по стилистике английского языка, М., 1958.

[21] Р. А. Будагов, указ. соч., стр. 85.

мы чаще всего вправе говорить лишь об иной стилистической окраске, а не о новом понятийном значении.

Большинство лингвистических знаков обладает как лингвистическим, так и понятийным значением, есть лингвистические знаки, не имеющие понятийного значения, и есть также определенный промежуточный слой слов, которые обладают ослабленным понятийным значением.

Понятийным (наряду с лингвистическим) значением обладает слово, а также устойчивое словосочетание, эквивалентное слову, которое соотносится с каким-либо предметом, признаком, явлением, чувством, с какими-то объективно существующими отношениями (пространственными, временными, количественными и т. п.) и которое может функционировать в языке как самостоятельная неделимая единица, имеющая свободное значение. (Например, *стол*, *ходить*, *уважать*, *безобразный*, *далеко*, *вчера*, *клевать носом*, *заморить червячка*, *паче чаяния* и т. п.)

К лингвистическим знакам, не имеющим понятийного значения, относятся те элементы языка, которые в современном языке не соответствуют никаким предметам, признакам и т. п. и не употребляются самостоятельно, а лишь помогают оформить слово, словосочетание или предложение. К ним относятся: 1) морфемы в составе слова и грамматической формы слова; 2) слова, обретающие понятийное значение только в сочетании с каким-то другим словом в составе фразеологического оборота. Некоторые слова в одном из своих значений соотносятся с определенным понятием, т. е. имеют определенное понятийное значение (*Я б у д у там до вечера. У меня болит з у б*), а в другом значении самостоятельно не соотносятся с понятием (*Я б у д у в это время с п а т ь. Иметь на кого-либо зуб*).

При отсутствии понятийного значения с понятием соотносится то целое, частью которого эта морфема или это слово являются, т. е. с понятием соотносится слово (или грамматическая форма слова) в его свободном значении или устойчивое сочетание, эквивалентное слову[22].

К промежуточному слою слов с ослабленным понятийным значением относятся слова, которые хотя и соответствуют определенным признакам, предметам, явлениям и отношениям действительности, либо 1) выполняют служебную функцию и отдельно, как правило, не употребляются (пространственные, временные и прочие предлоги, союзы, местоименные слова, модальные глаголы и др.); либо 2) имеют относительно свободное или, по определению В. В. Виноградова, фразеологически-связанное значение и обычно ассоциируются в сознании человека наряду с какими-то другими определенными словами в отстоявшихся контекстах их употребления. Например: *окинуть* (взором, взглядом, глазами), *убористый* (почерк, шрифт), *скабрезный* (анекдот, шутка) и т. п. В ходе развития языка число таких контекстов может сужаться или расширяться и соответственно может меняться соотношение этого слова с понятием.

Таким образом, можно отметить, что 1) устойчивость связи между мыслью и знаком дает основание рассматривать понятие как единственное семантическое содержание слова, соответствующее одному значению; 2) языковые факты и экспериментальные данные подтверждают правильность гипотезы о расхождении многих понятий у разных языковых групп в силу различного сознательного восприятия действительности; 3) споры о соотношении понятия и значения часто носят терминологический характер, так как при этом не всегда проводится разграничение на понятийное и лингвистическое значения.

[22] Интересны данные экспериментов, описанных Н. И. Жинкиным, относительно восприятия и воспроизведения слов и синтаксических конструкций как целостных единиц (см. указ. соч., стр. 32, 33).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. М. МАКОВСКИЙ

ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ АТТРАКЦИИ

Структурное рассмотрение языка с самого начала своего возникновения характеризовалось неодинаковым подходом к различным языковым уровням: фонологический и (в меньшей мере) морфологический уровни языка считались организованными системно, тогда как в лексической плоскости в силу самой природы словарных единиц системность и структурность не усматривались. Это мнение, которое и в наши дни разделяют многие видные языковеды[1], основывается на том, что в отличие от фонологических реалий, которые всегда строго ограничены количественно и качественно, лексические единицы представляют собой открытое множество, элементы которого сравнительно быстро изменяются и в связи с этим не вступают в более или менее стабильные оппозиционные отношения. Не случайно, что понятие системности в языке разрабатывалось главным образом на фонологическом (частично морфологическом) материале и отсюда переносилось на язык вообще, хотя последовательное проведение этого принципа приводит к выводу об асимметричности и качественной расчлененности языковой структуры.

Вполне понятно, что лингвистическая мысль постоянно искала объяснения этого contradictio in adjecto: анализ отдельных сторон лексики, основанный на материале конкретных языков, в ряде случаев заставлял исследователей усомниться в правильности изложенной точки зрения и наводил на мысль о чисто внешнем характере лексической «бессистемности», обусловленном особенностями и свойствами самого объекта исследования, которые не укладываются в привычные схемы лингвистической системности, полученные на фонологическом уровне. В этой связи показательно создание теории семантических и морфо-семантических полей, интерпретация лексики в терминах синтаксических закономерностей, использование статистических методов для изучения явлений словаря и, наконец, первые попытки структурного осмысления лексики в общеязыковедческом плане[2]. С другой стороны, теоретический анализ понятия

---

[1] В этом плане показательны, например, следующие высказывания: «Таким образом, ясно, что те обширные, подвижно и непрочно организованные категории слов, которые мы называем словарным составом (vocabulary), нельзя анализировать с такой же научной строгостью и точностью, как фонологическую и грамматическую системы языка (St. U l l m a n n, Semantics at the crossroads, сб. «Language and style», Oxford, 1964, стр. 6); ср. также более раннее высказывание: «В фонетике есть определенные законы, и именно поэтому фонетику следует признать наукой в строгом смысле слова. В семантике же никаких законов нет, и лишь с трудом можно представить себе, что они когда-либо будут обнаружены» (A. T h o m a s, Nouveaux essais de philologie française, Paris, 1904, стр. 28).

[2] Следует отметить, однако, что авторы большинства работ ограничиваются лишь констатацией наличия в языке отдельных, не связанных друг с другом проявлений системности в лексике, не пытаясь дать лингвистическое объяснение движущих сил

системности, в частности разработка общей теории систем[3], значительно изменили представление об этой категории в языке, уточнили понятия связи, отношения, соотношения, и фактически опровергли слишком суженное и одностороннее понимание языковой системы только как суммы оппозиций, особенно бинарных (традиционная концепция системы возникла, как известно, в результате неверной интерпретации некоторых положений теории Соссюра[4]). Сейчас уже не подлежит сомнению, что оппозиции — лишь частное проявление (и, видимо, не самое основное) отдельных признаков тех или иных объектов (в том числе и лингвистических[5]), причем наличие тех или иных отношений между объектами по определенным признакам далеко не всегда говорит об их связи друг с другом. Вполне понятно, что последовательное проведение традиционной концепции системности (несмотря на попытки критического пересмотра этой теории, она, к сожалению, до сих пор остается главенствующей в практике лингвистических исследований) и ее применение к любому уровню языковой структуры не только ограничивает возможности анализа, но в ряде случаев ведет к искажению языковых фактов и толкованию их с позиций, несовместимых с каким-либо системным описанием.

В настоящей работе на основе изучения фактического материала делается попытка выяснить языковой статус лексики в структуре языка, наличие и сущность соотношений и связей между отдельными лексическими элементами, возможности и закономерности их синхронного существования и диахронического изменения.

*

Возьмем произвольный ряд лексем, общих для большинства древнегерманских языков, например следующие древнеанглийские вокабулы: *ætter, beard, blad, breast, cīd, eard, earg, līd, lytel, leg, telg, woene* и спроецируем его на определенный синхронный срез позднейшего развития близкородственных языков, например на современные германские языки. Легко заметить, что изучаемые древнеанглийские лексемы манифестируются в настоящее время следующим образом: 1) в одних языках — только в

и потенциальных возможностей этих закономерностей. Ср., например: O. Lešk a, System v lexiku, «Ceskoslovenska rusistika», 1963, 2; J. Coteanu, În legătură cu sistemul vocabularului, сб. «Probleme de lingvistică generală», 11, București, 1960; I. Rizescu, Note asupra sistemului limbii, там же; St. Ullmann. Semantic universals, сб. «Universals of language», ed. by J. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963; U. Weinreich, On the semantic structure of language, там же; R. Hallig, Zum Aufbau eines Ordnungsschemas für Wortschatzdarstellungen, ZfromPh., LXX, 1954; F. Hiorth, Zur Ordnung des Wortschatzes, «Studia linguistica», Lund — Copenhague. XIV, 1960, стр. 81 и сл.; E. Klima, Structure at the lexical level and its implications for transfer grammars, Teddington, 1961; R. Longacre, Prolegomena to lexical structure, «Linguistics», 5, 1964; W. Doroszewski, Les lois générales dans le domaine du lexique, «Biul. Polskiego t-wa językoznawczego», XXIII (в печати).

[3] Ср. сб. «Sens et usage du terme „structure" dans les sciences humaines», ed. par R. Bastide, 's-Gravenhage, 1962; сб. «General systems», Ann Arbor, I — 1956; II — 1957; III — 1958; интересную критику понятия системы, выдвигаемого сторонниками общей теории систем, см. в работе: Г. С. Щ у р, О некоторых общих категориях лингвистики, сб. «Вопросы общего языкознания», М., 1964; ср. также: В. И. Свидерский, О диалектике элементов и структуры, М., 1962; сб. «Самоорганизующиеся системы», М., 1964 и др.; Н. А. Мельчук, Понятие системы, сб. «Zeichen und System der Sprache», II, Berlin, 1962.

[4] См.: K. Amman, Kritische Würdigung einiger Hauptgedanken von F. Saussure, IF, LII, 1934. Ср. разбор понятия оппозиции в работах: Ch. K. Ogden, Opposition. A linguistic study and psychological analysis, London, 1932 (с подробной историей вопроса); J. Cantineau, Le classement logique des oppositions, «Word», IX, 1, 1955.

[5] В этом плане интересна, например, дискуссия о неединственности фонологических решений.

региональных (социальных) диалектах, в других — только в литературном варианте: ср. соответственно англ. диалектн. *atter*, *arf*, *blate*, *lowe*, *ween* и нем. литерат. *Eiter*, *arg*, *blöde*, *Lohe*, *wenig*; англ. литер. *little* — нем. диал. *lüzel*; 2) одновременно в литературных вариантах и/или в диалектах нескольких близкородственных языков (ср. англ. литерат. *breast* — нем. *Brust*, англ. *beard* — нем. *Bart*, англ. *earth* — нем. *Erde* и др.); с другой стороны: нем. диал. *Zelg* «ветка» — англ. диал. *tellow*; 3) только в диалектах какого-либо одного языка при полном отсутствии в родственных языках (ср. нем. диалектн. *Leit* «напиток»; *Keid* «ветка»).

Не подлежит сомнению, что резкие различия в распределении лексических единиц родственных языков на определенном синхронном срезе их развития можно отнести за счет определенных лингвогеографических причин, неодинаковой исторической судьбы изучаемых языков и различной диалектной базы, характерной для их литературных вариантов. Все эти факторы, однако, являются по сути дела чисто внешними характеристиками и не могут объяснить причину того, что на определенном синхронном срезе в различных языках и их диалектах обнаруживается именно данный, а не другой комплекс лексем, не могут объяснить механизм отбора и распределения лексики, благодаря которому одни родственные языки оказываются более близкими по своему словарному составу, другие — весьма несходными, причем это положение в процессе истории соответствующих языков может изменяться (некоторые языки обнаруживают лексическое сходство только на определенном синхронном срезе, некоторые — в диахроническом плане, другие — и в синхронии, и в диахронии).

В этой связи, как нам представляется, важно указать на следующее обстоятельство. Если в тот или иной период развития хотя бы двух родственных языков в них обнаруживается одновременное существование какого-либо слова (или нескольких слов), то в этих языках одновременно наличествует и ряд других общих для них лексем. Естественно, что одни и те же слова в различных языках могут обнаруживаться на самых различных лексических уровнях — в литературном стандарте, в тех или иных социально-стилистических пластах, в территориальных диалектах — в зависимости от близости тех лексических наборов (окружений), которые представлены в каждом из них на данном временном срезе[5]; если же в одном языке данное слово (слова) представлено, а в другом — нет или представлено в смещенном значении, то во втором языке, как правило, не обнаруживается ряда слов, характерных для первого[6]. Хорошо известны, напри-

[5] Примеры на первый из указанных случаев даются в моей работе «Пути анализа лексических реликтов и инноваций при установлении изоглосс» (ВЯ, 1965, 1).

[6] В дополнение к этим примерам интересно привести следующие англо-эрминонские соответствия: др.-англ. *ærn* — швейц., баварск., швабск. *Eren* «сени; дом»; др.-англ. *breahtm* «шум» — швейц. *prächten*, *brächten* «шуметь»; др.-англ. *hræsne* «здоровый, сильный» — швейц. *Brasli*, *broslen*; др.-англ. *drisn* «парить» — швабск. *Triste*; др.-англ. *ëa* — швейц. *Ach* «вода»; др.-англ. *gad* «недостаток» — швейц. *ergudlen* «недоставать»; др.-англ. *fax* «волосы» — форарльбергск. *Fachs* «Haupthaar»; др.-англ. *hyse* «детеныш животного; молодой человек» — швейц., швабск. *Husel*, *Heinsel*, *Heiss*; др.-англ. *ewyld* «вечер» — швейц. *Chilt*; др.-англ. *lutan* «наклонить», совр. сев.-англ. диалектн. *lout* — швейц. *lützen*; др.-англ. *lutian* «скрывать» — швейц. *lützen*; др.-англ. *leap* «корзина» — баварск. *Löpp* (ср. н.-нем. *Löpe*, *Löpen*). совр. сев.-англ. диалектн. *leap*; др.-англ. *searu* «уловка» — швабск. *serfen* «im Handel und Wandel erwischen»; др.-англ. *swedrian* «to fail» — швейц. *schwederen*, *verschwederen*; др.-англ. *rada* «кашки», совр. сев.-англ. диалектн. *read* — швейц. *Reiden*; др.-англ. *wræne* «lust», совр. сев.-англ. диалектн. *ran* — швейц. *raunen*, *ranen*; др.-англ. *cylew* «пестрый» — швейц. *gechüllet*; др.-англ. *snude* «быстрый» — швейц. *Schnut*, *schnutig*; др.-англ. *rysel* «жир; часть желудка» — швейц. *Gereusch*; швабск. *Rosel* «Fett»; др.-англ. *wasend* «глотка», совр. сев.-англ. диалектн. *weason* — швейц., швабск, баварск. *Wasen*, *Waisel*, *Wazel*; др.-англ. *wloh* «fringe» — баварск. *Lueh*; др.-англ. *hælig* «скользкий» — швейц., швабск.

мер, такие факты (хотя они и не осмыслялись в структурном плане), когда существует общность ряда слов в английском, немецком и фризском при отсутствии этих слов в скандинавских языках; во многих случаях, наоборот, в английском, немецком и фризском наблюдается отсутствие многих слов, характерных для скандинавских языков.

Значимое наличие определенной совокупности, определенного комплекса лексем, употребляемых в определенных значениях на том или ином этапе языкового развития, мы будем называть лексическими микроструктурами или наборами (в том смысле, что элементы этих наборов образуют линейный ряд и ассоциативно связаны друг с другом), а те функционально-динамические процессы, благодаря которым отдельные элементы микроструктур в той или иной мере связываются друг с другом, взаимообусловливаются и на определенном отрезке времени образуют дискретные лексико-семантические наборы, будут называться *лексической аттракцией*[7]. Отсутствие тех или иных лексем в языках в свете этой концепции также следует признать значимым: в этих случаях существование лексических элементов, наблюдаемых в других языках в тот или иной период их развития, видимо, несовместимо с изучаемой лексической средой, исключается присущей этой среде аттракцией лексем.

Если одна и та же лексема встречается в нескольких различных лексико-семантических наборах (как в пределах различных языковых пластов

---

hä(h)l(ig); др.-англ. *gæsne* «бедность», совр. сев.-англ. диалектн. *geason*—швейц. *gäst, gust* «unfruchtbar»; др.-англ. *þeran* «бежать» — швабск. *dürren*; др.-англ. *steman* «to pant», совр. сев.-англ. диалектн. *to stank*—фоарльбергск. *stenzen*; др.-англ. *hofer*, швейц. *Hofer* «горб»; др.-англ. *leccan*—эльзасск. *letzen* «naß machen»; др.-англ. *pad*—баварск.-австр. *Pfatt* «одежда»; др.-англ. *hroden* - швейц. *Reif* «Überzug»; др.-англ. *broga* — швейц. *brüggin* «пугать»; др. англ. *wridan*, диалектн. *wride* — швейц. *reit* «aufgewachsen»; др. англ. *hryre*, диалектн. *rere* – швейц. *rieren* «падать»; др.-англ. *wull-mod*—баварск.—*Mutz* «палка»; др.-англ. *wesing*—швейц. *wesem* «schwach, verzehrt»; др.-англ. *uht*—швабск. *Licht* «рассвет»; др.-англ. *forcnan (stan)* — швейц. *urchen* «echt»; др.-англ. *laccan* «хватать» — швабск. *Lätze* «западня»; др.-англ. *ent* «giant», швабск. *enz* «gross». Примеры на второй случай: ср. лат. *fulmen*, итал. *fulmine*, франц. *foudre*, исп. *rayo*, рум. *trăsnet*; лат. *lignum*, итал. *legno*, франц. *bois*, исп. *madera*, рум. *lemn*; франц. *éclair*, исп. *relampago*, рум. *fulger*; лат. *nebula*, франц. *brouillard*, *brume*, рум. *ceață*, *negura*; исп. *niebla*, *neblina*; франц. *allumette*, исп. *fosforo*, итал. *fiamifero*, рум. *chibrit* (ср.: C. D. Buck, A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, Chicago, 1949, где приводится обширный материал, который может быть иллюстрацией обоих указанных случаев).

О методах выделения лексических наборов в лексике см.: М. М. Маковский. Сравнительно-историческая диалектография английской лексики в пределах германской языковой области, сб. «Этимология», II, М., 1964; отметим, что для определения лексико-семантического набора важен не только реальный состав сравниваемых лексических последовательностей, но и то, что отсутствует в одном наборе по сравнению с другим (как в лексемном, так и в семантическом плане). В связи с этим вряд ли можно постулировать максимальную или минимальную протяженность лексических наборов вообще: протяженность наборов, в большой мере определяющая свойства их отдельных элементов (и в свою очередь определяемая ими), в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер; необходимо учитывать еще, что конкретные микронаборы не существуют изолированно от более крупных лексических рядов, частью которых они являются. Отметим также, что этимологические связи слов не могут служить основанием обязательного включения их в один и тот же лексический набор.

[7] Предпосылки образования более или менее сходных лексических рядов в некоторых родственных языках заложены в общих тенденциях развития этих языков, действующих в них (в зависимости от строя каждого конкретного языка) с разной интенсивностью. Ср.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.— Л., 1964.

Термин «аттракция» используется в лингвистике уже давно, однако разные лингвисты употребляют его в совершенно различном значении. Ср.: J. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872; H. Sperber, Einführung in die Bedeutungslehre, Bonn — Leipzig, 1923; O. Duchaček, L'attraction lexicale, «Philologia pragensia», VII, 1, 1964.

одного и того же языка, так и в рамках двух и более родственных и неродственных языков), она может испытывать такие изменения, которые в результате нередко приводят к образованию двух или более самостоятельных лексических единиц[8]. Речь идет о неодинаковых возможностях и результатах функциональной нагрузки и сочетаемости, о различной стилистической окраске (от возвышенной, уничижительной и др. до нейтральной)[9] определенных лексем в пределах данного лексического окружения по сравнению с теми же лексемами, встречаемыми в другом лексическом наборе.

Приведем примеры. В некоторых диалектах (например, в немецко-швейцарских) наблюдается тенденция к расширению функциональной нагрузки слов, общих этим диалектам и литературному языку (ср., например, *kranker Schnee* «мягкий снег»; *gerechte Kühe* «здоровые коровы»). Интересны случаи так называемой энантиосемии (наличие в языке или диалекте слов, совмещающих противоположные значения) в одном диалекте при отсутствии этого явления в другом диалекте или в литературном языке: например, нем.-швейц. *faul* 1) «schlecht», 2) «geschickt»[10] (в литерат. нем. *faul* «ленивый»). Интересна так называемая «борьба синонимов», выраженных одинаковыми лексемами в различных близкородственных языках. В результате этой «борьбы» в различных языках «побеждают» обычно не одни и те же слова.

Различные виды функциональной нагруженности и сочетаемости лексем иногда закрепляются и формально [использование различных вариантов фонологического состава одного и того же слова, употребление его с метатезой или без метатезы и т. д. в разных лексических наборах; ср. др.-англ. *dafenian*, совр. англ. литерат. *deft* «ловкий», швейц. *teffig*, *tiffig*, но шотл. англ. диалектн. *daft* «сумасшедший»; др.-англ. *reord* «голос»; совр. шотл. *raird*, нем. диалектн. *rären*, но англ. литерат. *roar* в узком значении «реветь»; др.-англ. диалектные варианты *lor* — *los*; *ewinan* — *awincan*, *eþian* — *orþian*, *grornian* — *gnornian*; *gemynde* — *gemyde*; случаи метатезы в разных лексических наборах: совр. англ. *wren* < др.-англ. *werna*; *fresh* < др.-англ. *fersc*; *thresh* < др.-англ. *þerscan*; *cress* < др.-англ. *coerse*; ср. определенную грамматическую значимость тех или иных слов в одном языке и отсутствие такой значимости в других: ср. др.-англ. синонимы *gan* и *wendan*, но совр. англ. *go* — *went* — *gone*[11] (супплетивная форма прош. времени); совр. англ. синонимы *small*, *little*, но в датском *lille* (ед. число) и *små* (мн. число) — супплетивная пара и т. д.].

---

[8] Ср.: D. L. Bolinger, The uniqueness of the word, «Lingua», XII, 2, 1963; T. Slama-Cazacu, Langage et contexte, 's-Gravenhage, 1961; ср. также принципы ситуационного анализа слов в работах: R. Dixon, A trend in semantics, «Linguistics», 1, 1964; L. Antal, Interpretation and transformation, там же.

[9] Ср.: J. M. Biese, Aspects of expression, Helsinki, 1963.

[10] Ср.: A. A. Martinet, Structural variation in language, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964; его же, Linguistic variety, в его кн. «A functional view of language», Oxford, 1962; Н. Н. Семенюк, Некоторые вопросы изучения вариантности, ВЯ, 1965, 1; E. Agricola, Fakultative sprachliche Formen, PBB, Tübingen, 79, 1957; M. Szadrowsky, Gegensinn im Schweizerdeutschen («Zeitschr. für deutsche Mundarten», 19, 1924; а также «Teutonista», 1, 1924—1925); В. И. Шерцль, О словах с противоположными значениями (или о так наз. энантиосемии), Воронеж, 1884; K. Abel, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, Leipzig, 1884; J. Goossens, J. van Bakel, Taalgeografie en semantiek, Amsterdam, 1964.

[11] Ср.: R. Jordan, Eigentümlichkeiten des anglischen Wortschatz, Heidelberg, 1906, s. v.; A. Dahlström, Metathesis of *r* in English, Stockholm, 1964. Интересна так называемая семантическая флексия в турецком языке: ср. *kas-* «уменьшить», *kes-* «резать», *kys-* «сжимать», *kus-* «вырывать». См.: A. C. Emre, Samih Rifat'ın dilbilginde mevkii ve nazariyesi, «Türk dili», 1933, стр. 13 и сл.

Чем больше отклонения в значении данного слова (слов) в одном языке (диалекте, лексическом пласте какого-либо языка) по сравнению со значением того же слова (слов) в другом языке, тем больше различия лексемного состава соответствующих лексических наборов.

Наоборот: чем меньше значение слова в одном лексическом наборе отклоняется от значения того же слова в другом наборе, тем ближе лексемный состав этих наборов. Чем меньше лексем одного набора обнаруживается в другом, тем больше их семантические отклонения от значения тех же слов в исходном лексическом наборе.

В связи с тем, что в различных языках могут существовать сходные лексические микроструктуры, но не может быть одинаковых лексических макроструктур, т. е. совокупности всех микроструктур, характеризующих словарный состав данного языка (в этом случае данный язык перестал бы отличаться в лексическом плане от родственных языков), даже слова, принадлежащие к одинаковым микроструктурам в различных языках, не могут быть полностью идентичными функционально (это обусловливается давлением лексической макроструктуры, специфичной для каждого языка). Именно указанное положение дает возможность понять то обстоятельство, что слова, вышедшие из той или иной микроструктуры вследствие изменения лексической среды на определенном этапе развития языка, на другом временном срезе при создании лексического окружения, сходного с утраченным ранее, обычно не появляется вновь в данной микроструктуре, хотя случаи повторного вхождения слов в определенную лексическую микроструктуру в диахронии в принципе не исключены [ср. такие современные немецкие слова, как *ächten*, *atmen*, *beginnen*, *Begehr*, *behagen*, *Brosam*, *Buhle*, *Gau*, *Kauz*, *künden*, *meuchlings*, *Mär*, *Minne*, *Nerz*, *Recke*, *Sippe*, *Wonne* и др., которые в ранних новонемецких словарях (Штейнбах, Маалер, Фриш, Шоттель, Штилер, Хениш, Либе) либо даются исключительно с пометой «vox obsoleta», либо вовсе не приводятся][12].

Отметим, что, как показывают наши наблюдения, возможности диахронической и ареальной реализации того или иного лексического набора весьма ограничены (как, впрочем, и возможности семантических изменений отдельных слов[13]): они сводятся в основном к выпадению или замене некоторых (меньшинства) звеньев ряда[14]. В противном случае данный лексический набор перестает существовать как таковой.

Важнейшим фактором устойчивости лексико-семантических единиц является постоянное стремление лексики в целом и отдельных ее звеньев к структурному равновесию, т. е. к строго определенному набору лексем, дополняющих, но не перекрывающих друг друга функционально и семантически. Этот же фактор одновременно является и стимулом к изменению лексической структуры, ибо при нарушении структурного равновесия совершенно неизбежно стремление к его восстановлению, что нередко

[12] Ср. интересную работу: W. Kuhberg, Verschollenes Sprachgut und seine Wiederbelebung in neuhochdeutscher Zeit, Frankfurt-am-Main, 1933; о фактах «регенерации» на различных уровнях языка говорил еще М. Мюллер (ср. M. Müller, Chips from a German workshop, I—II, London, 1868); ср. также: Fr. Kluge, Wiederaufleben veralteter Wörter, в его кн. «Wortforschung und Wortgeschichte», Leipzig, 1912; O. Behagel, Geschichte der deutschen Sprache, Berlin, 1928, стр. 52—53.

[13] Ср., например: Р. А. Будагов, Сравнительно-семасиологические исследования, М., 1963 (рец.— ВЯ, 1964, 6); C. S. R. Collin, Bibliographical guide to sematology, Lund, 1915; H. O. Schwabe, The semantic development of words for eating and drinking in the Germanic languages, Chicago; 1915; T. W. Arnoldson, Parts of the body in older Germanic and Scandinavian, Chicago, 1915; R. M. Ihrig, The semantic development of words for *walk*, *run* in the Germanic languages, Chicago, 1916, и мн. др.

[14] См.: М. М. Маковский, указ. соч.; его же, Германские ареальные параллели в свете этимологии, сб. «Этимология», III М., (в печати).

влечет за собой значительные количественные и качественные преобразования в структуре. Указанная тенденция находит выражение в некоторых закономерностях, действующих в языке [15].

Одним из таких факторов является, например, тенденция неравномерного распределения «языковой энергии»: в лексике того или иного языка на определенном синхронном срезе обычно не могут одновременно существовать функционально и семантически равноценные языковые единицы, по крайней мере, в течение продолжительного времени (ср., например, практическое отсутствие в языках абсолютных синонимов) [16]. Одни единицы обязательно несут большую нагрузку, другие — меньшую, причем всякие перераспределения «энергии» (с соответствующим изменением характера связей элементов) происходят только по структурным моделям, присущим данному языку или диалекту. Лексическую ткань языка можно представить в виде определенного набора лексем той или иной конфигурации, причем каждая лексема занимает неодинаковое число функциональных клеток. Именно в связи с неравномерным распределением «языковой энергии» все лексические единицы на определенном этапе развития данного языка или диалекта имеют специфический только для них «лексический статус», т. е. определенную функциональную нагрузку в определенном окружении.

Большое влияние на стабильность и развитие лексики оказывают, как известно, не только внутренние, но и внешние факторы. Язык не существует изолированно, вне влияния других языков, вне культурных, этнических, экономических и других наслоений. Лексика всех языков в той или иной мере является смешанной. Именно внешние факторы (субстраты, суперстраты, адстраты, многоязычие, и креолизация, смешение нескольких диалектов одного языка и др.) являются основным источником нарушения относительной стабильности состава лексических наборов и семантики их отдельных звеньев.

В зависимости от генетического состава и «силы сцепления» элементов лексического набора, на который производится внешнее языковое воздействие (они в определенной мере зависят от внешних влияний, оказанных на язык в прошлом, а также от «силы» одновременно действующих на язык внешних давлений), наблюдаются самые различные результаты такого воздействия, начиная от замены отдельных звеньев лексического набора и более или менее значительного изменения их семантики (как в прямом смысле, так и в виде калек, адаптаций и др.) и кончая смешением нескольких наборов и образованием качественно новых наборов (ср., например, английский слэнг, образовавшийся, главным образом, в результате конгломерации целых лексических пластов различных английских территориальных диалектов), более или менее близких по своему составу к лексике языка, на который оказывается воздействие или который оказывает воздействие. В связи с последним случаем интересны романские заимствования

[15] Ср., например: H. W. H. Koeneraads, Studien über Sprachökonomische Entwickelung im deutschen, Amsterdam, 1953; A. Martinet, Économie des changements phonétiques, Bern, 1964; S. M. Sapon, A methodology for the study of socio-economic differentials in linguistic phenomena, «Studies in linguistics», XI, 1963; O. Jespersen, Efficiency in linguistic change, Købanhavn, 1941; A. Gill, La distinction entre langue et parole en sémantique historique, «Studies in Romance and French literature presented to John Orr», Manchester, 1953.

[16] Ср. в этой связи следующие работы: W. E. Collinson, Comparative synonymy: some principles and illustrations, «Transactions of the Philological Society», 1939, стр. 54 и сл.; J. Rauch, A problem in historical synonymy, «Linguistics», 1964, 6; O. Duchaček, Différentes types de synonymes, «Orbis», XIII, 1, 1964; W. A. Koch, Zur Homonymie und Synonymie, «Acta linguistica Hung.», XIII, 1—2, 1963; B. Mates, Synonymity in semantics and the philosophy of languages, Urbana, 1952; R. Carnap, Meaning and synonymity in natural languages, «Philosophical studies», VI, 1955.

в немецких диалектах: слова, присущие отдельным романским языкам и диалектам (т. е. входящие в различные лексические наборы), в немецких диалектах могут образовывать единый лексический набор; наоборот, слова, присущие тому или иному романскому языку, в немецких диалектах могут входить в разные лексические наборы[17].

Необходимо отметить, что жизнеспособность и устойчивость отдельных слов никак не обусловливается их большей или меньшей функциональной нагрузкой, частотностью или степенью продуктивности на данном временном срезе: известно, что такие широко распространенные и продуктивные слова древнеанглийского языка, как *ār* «честь», *heorg* «гора», *herian* «хвалить», вышли из употребления, причем они были заменены французскими заимствованиями (соответственно *respect, honour, grace, reverence*; *mountain*; *praise, glorify, extalt*), получившими не меньшую функциональную нагрузку в языке, чем слова, которые они заменили, хотя до определенного времени эти французские лексемы были совершенно чужды английскому. Вряд ли подлежит сомнению, что синхронное использование в каком-либо языке или языковом пласте в пределах одного и того же языка тех или иных слов, относительная стабильность этих слов и их значений не связаны с каким-то субъективным «предпочтением» одних слов перед другими в данном языке или диалекте, а объясняются весьма объективными причинами: вхождением этих слов в определение (ареально и диахронически различное) окружение (интересно в связи с этим, что в немецком языке в отличие от английского мы находим *Ehre, Berg*, а *hauren* «громко кричать» встречается только в немецких диалектах)[18].

Вполне естественно, что разного рода нарушения микроструктур могут повести к образованию «пустых клеток», а также к лексемным замещениям самого различного рода, например, к следующим: 1) один элемент вместо одного, выпавшего из микроструктуры; 2) один элемент вместо двух, трех или более, выпавших из микроструктуры; 3) два, три и более элементов вместо одного или нескольких, вышедших из лексического комплекса; это, конечно, не может не сказаться на структуре соответствующей лексической микросистемы.

Уже из изложенного выше ясно, что лексические элементы не существуют изолированно друг от друга, что наличие той или иной лексемы мыслимо только в рамках определенного лексического набора той или иной структуры. Остановимся более подробно на характере тех связей и отношений, которые в своей совокупности создают лексическую аттракцию. Вполне понятно, что данная конкретная лексема, входящая в определенный лексический набор на данном этапе развития языка, не связана непосредственно и в одинаковой степени со всеми элементами этого набора. Имеются, видимо, какие-то основные опорные лексемы, без которых определенный лексический элемент немыслим в данном наборе и без которого немыслим данный набор; это и создает определенное относительное равновесие лексической микроструктуры на данном синхронном срезе. Самую опорность, видимо, следует понимать как переменную величину, изменяю-

[17] Ср.: E. Miettinen, Zum mundartlichen Fortleben mhd — mnd. Lehnwortgutes romanischer Herkunft, Helsinki, 1962; E. Tappolet, Die alemanischen Lehnwörter in den Mundarten der französischen Schweiz, Strassburg, I — 1914; II — 1917; J. Vachek, On the interplay of external and internal factors in the development of language. «Lingua», XI, 1962; V. Vildomec, Multilingualism, Leiden, 1963 (с подробной библиографией); M. F. Goodman, A comparative study of Creole French dialects, The Hague, 1964; H. Becker, Der Sprachbund, Leipzig—Берлин, 1948; L. Deroy, L'emprunt linguistique, Paris, 1956.

[18] Ср. конкретный материал, например, в кн.: F. Simonis, Von altfranzösisch *terdre* zu neufranzösisch *essuyer*. Zur Bezeichnungsgeschichte eines Begriffs im Galloromanischen (mit Ausblick auf die übrige Romania), Köln, 1963.

щуюся в зависимости от иерархии более мелких лексических окружений в пределах более крупных. Например, специфическая лексема английского сленга, естественно, не является опорной для литературного варианта английского языка, хотя последний немыслим без сленговой лексики, а сленг, в свою очередь, немыслим вне элементов литературного языка. Как мы уже говорили, одни и те же лексемы в разных языках (и в различных диалектах одного и того же языка) характеризуются неодинаковой стабильностью, семантическим развитием и функциональной нагрузкой в силу того, что они входят в различное лексическое окружение [19]. При этом в пределах одного языка различные окружения обычно не являются абсолютно нетождественными, а разнятся лишь отдельным (большим или меньшим) набором лексем. Если какие-либо лексемы, входящие в тот или иной лексический набор, обнаруживаются в различных окружениях не менее чем на двух последовательных диахронических срезах развития языка, характеризующихся изменениями в его структуре (ср. древнеанглийский и среднеанглийский), то мы будем называть их л е к с и ч е с к и м и к о н с т а н т а м и. Таким образом, лексические константы — это лексемы, обладающие максимумом стабильности в различных окружениях. Лексические константы (типа совр. англ. *to let, to come, to go, to see, to tell* и др.), видимо, обычно не влияют на устойчивость отдельных элементов набора и на его конфигурацию (они выступают в комплексе с самыми различными лексическими единицами, входящими в различные наборы), хотя сами они могут испытывать функциональное давление того лексического окружения, в которое они входят. С другой стороны, при изменении набора констант неизбежно меняется состав всего лексического набора и/или семантика входящих в него единиц. Слова, встречаемые одновременно в двух совершенно различных лексических наборах (но не являющиеся константами), не могут обычно входить в тех же значениях в один и тот же лексический набор на одном временном срезе, что опять-таки подчеркивает их конститутивный характер для соответствующих лексических окружений. Если же в каком-либо языке имеется два отдельных лексических набора, в состав которых входит то или иное количество общих лексем, не являющихся константами, то в диахронии вполне возможно возникновение третьего (качественно и количественно нового) набора, состоящего из компонентов первого и второго. Примером могут служить так называемые «литературные языки», которые складываются, как правило, на основе нескольких территориальных диалектов, обладающих различными лексическими наборами. При ареальных исследованиях лексики, как нам представляется, сравнение с «литературным стандартом» очень мало показательно, ибо в этих последних мы обычно находим то или иное слово в совершенно ином, диахронически более позднем лексическом ряду по сравнению с первоначальным.

---

[19] Ср.: G. B o n f a n t e, La place du roumain parmi les langues romanes, «Revue des études romaines», VII—VIII, Paris, 1961; е г о ж е, Sur la «latinité» du roumain «Acta philologica societatis Academiae Daco-Romanae», II, Roma, 1959. Влияние лексического окружения на функциональную валентность отдельных элементов микроструктур (в частности на значение) обнаруживается: 1) в отношении иностранных заимствований, выступающих как «ложные друзья переводчика» и имеющих различные значения в языках различных систем (ср. «Moderna språk», 4, 1958); 2) в отношении слов, входящих в различные микроструктуры в пределах одного и того же языка (например, в социально-стилистические и территориальные пласты) и, наконец, 3) в отношении слов одного и того же корня, выступающих в различных значениях в родственных языках. Следует также отметить известные случаи, когда одно и то же содержание в различных языках выражается различными языковыми средствами, а межъязыковые синонимы обладают неодинаковым числом «семантических множителей» (ср.: J. P. V i n a y, J. D a r b e l n a y, Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris, 1958; A. M a l b l a n c, Stylistique comparée du français et de l'allemand, Paris, 1961).

Интересно отметить тот факт, что если какие-либо слова вышли из языка по тем или иным причинам (т. е. если первоначальный лексический набор, в который они входили, разрушен или преобразован таким образом, что эти слова не могут быть его конститутивными элементами), они нередко сохраняются в пределах сложного слова (или суффиксальных образований), а также идиоматических словосочетаний, как бы «прислонившись» к другому слову или морфеме своего бывшего набора, которые продолжают существовать в качестве самостоятельных языковых единиц. При этом может происходить или не происходить опрощение всего комплекса, ср. нем. *Leichdorn* (др.-нем. *lîh* «тело»); *Schelhengst* (др.-в.-нем. *scelo*, ср.-в.-нем. *schell*); *Unflat* «грязь» (др.-в.-нем. *flat* «чистота»); *Renke*, *Ranke* «разновидность жирной рыбы», ср. др.-нем. *rinanke* буквально «масло Рейна», ср. швейц. *Anke* «масло» (ср. др.-англ. *hran* «кит; сорт рыбы»; ср. совр. сев.-англ. диалектн. *ran*); *Nachtigall* (ср. др.-в.-нем. *galen* «петь»); *Zeidelmeister*; *Heirat* «брак»; *Orlogschiff* «военный корабль»; *Walfeld* «поле битвы» (др.-англ. *wæl* «труп»).

Можно полагать, что количество лексических окружений, в которые входит данное слово в пределах одного языка на определенном этапе его развития, равно числу различных (непосредственных или опосредованных) с в я з е й этого слова в изучаемом языке (вхождение слова в несколько окружений может быть обусловлено, в частности, расслоением комплекса его первоначальных функций и их распределением по отдельным окружениям). Чем больше количество связей у данной лексемы, тем больше ее лексический потенциал в данной конфигурации, тем стабильнее ее положение в языке. Вместе с тем вполне понятно, что число окружений, присущих тому или иному слову, определяется качественной, а не количественной стороной их значений: слова с несколькими значениями могут входить в одно и то же окружение, но не все значения какого-либо слова могут одновременно встречаться в пределах одного окружения.

Если слово является конститутивной частью того или иного лексического набора (или нескольких наборов), т. е. если оно встречается в данном окружении не менее чем на двух временных срезах, мы будем говорить, что оно имеет положительную связь. Если же слово встречается в несвойственном для него окружении, оно имеет отрицательную связь. Переход отрицательной связи в положительную, в том случае, если он вообще осуществляется, связан обычно со смещением значения входящего в данный набор слова по сравнению с тем, которое оно имело в первоначальном наборе, с одновременным изменением или смещением значений лексем того набора, в который входит данное слово, с выходом части лексем из этого набора. Реализация всего комплекса этих явлений или отдельных элементов его зависит от количества (массы) слов одного лексического набора, входящих в другой набор. Чем меньше значение какого-либо слова, входящего в новое лексическое окружение, отклоняется от того, которое оно имело в первоначальном наборе, тем больше его отрицательная связь в этом новом лексическом окружении. Вполне возможно, однако, что отрицательная связь с течением времени может не переходить в положительную, хотя слова, удерживаемые такой связью, не выходят из языка, так как находятся в окружении некоторого числа генетически родственных слов или слов, первоначально входивших в один и тот же лексический набор другого языка (ср. русск. *ампула*, *депо* и др.). Это выражается, в частности, в невключении таких лексем в грамматические модели, присущие заимствующему языку (например, в парадигмы склонения; ср. также невозможность образования мн. числа от подобных слов в русском).

Мы полагаем, что при вхождении в другую микроструктуру в пределах того же языка или при вхождении в другой язык все слова первоначально,

до окончательного вхождения в то или иное лексическое окружение, обладают одним и тем же типом связи (имеют отрицательную связь), но обладают, как правило, лишь одним (причем одинаковым во всех наборах) значением. Уменьшение или, наоборот, увеличение количества окружений, в которое входит то или иное заимствованное слово, изменение его значения и приобретение дополнительных значений обычно говорит о переходе отрицательной связи в положительную. Дальнейшая судьба таких слов в конкретных микроструктурах в большой степени зависит от характера связей, присущих тому лексическому окружению, в которое они попали, от количества одновременно заимствуемых в данный язык лексем, принадлежащих к тому же лексическому набору, в который входят изучаемые слова (чем больше количество таких лексем, тем больше вероятность стабильности изучаемых слов в новом наборе), от характера заимствуемой лексики (с одной стороны, слова того же языка, но принадлежащие к другому лексическому набору, слова родственных языков или диалектов и, с другой стороны,— иностранные слова, которые могут принадлежать или не принадлежать к языку той же языковой семьи, к которой относится заимствующий язык), от возможности заимствованных элементов своей «языковой энергией» дополнить, привести в относительное равновесие тот лексический ряд, равновесие которого в данный период развития языка оказалось нарушенным, вследствие чего и происходит заимствование[20]. Известно, однако, что не всякое заимствование оказывается в одинаковой мере совместимым с языковой тканью того или другого языка или лексической микроструктурой внутри данного языка. На одном временном срезе развития языка (характеризующимся определенной лексической структурой) нередко наблюдается массовое впитывание инноваций, на другом — большая консервативность лексики, а нередко обнаруживается сосуществование архаизмов и инноваций, входящих в язык в результате нарушения определенных звеньев той же микроструктуры. Известно, что в зависимости от характера того или иного лексического окружения в различных языках и диалектах наблюдаются неодинаковые способы восполнения нарушений единства структуры путем усвоения заимствований (адаптация, калькирование, словосложение)[21].

Потенциал сцепления (resp. функциональная емкость, выявляемая в различных лексических окружениях) не является имманентно присущим данной лексической единице, а создается (исторически изменчивой) структурой набора, конститутивным элементом которого он является. С другой стороны, существование самого набора той или иной структуры как такового возможно только при наличии элементов с определенной потенциальной и функциональной нагрузкой. Отметим, что о потенциале сцепления того или иного слова можно судить еще в связи с выяснением следующего обстоятельства: заменяется ли слово, выходящее из микроструктуры, совершенно новой лексемой (несколькими лексемами) или его

---

[20] Фактически это отмечалось еще у Горация: (ср. «multa renascentur quae iam cecidere, cadentque, Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est et i u s et n o r m a l o q u e n d i (Гораций, Ars poetica LI, 70). Структурная теория значений в языке дается в статье Н. И. Т о л с т о г о «Из опытов типологического исследования славянского словарного состава» (ВЯ, 1963, 1).

[21] Ср. G. E. G i e s e c k e, The loan translations in German as the linguistic conquest of foreign semantic fields, Stanford, 1939. Интересно, что в эстонский язык, который, как и всефинно-угорские языки, весьма невосприимчив к иностранным заимствованиям, в результате новаторской деятельности И. Аавика и его последователей прочно вошел целый ряд слов, искусственно созданных ex nihilo; в немецкий язык вошло много слов, созданных в результате пуризма; в русском же языке привилось много иностранных слов, а пуризм потерпел полный крах. Ср.: К. И. Б а х м а н, К проблеме стихийных и целенаправленных процессов в развитии языка, ВЯ, 1965, 3.

функции «передаются» другому (функционально более «емкому») слову, являющемуся компонентом той же лексической микроструктуры.

Выход слов из той или иной лексической микроструктуры обычно связан более чем с одной причиной: это, как правило, потеря или изменение характера связей (окружений, в которые входит это слово) и последующая нейтрализация (исключение из структуры в результате возникшей функциональной эквивалентности другим элементам этой микроструктуры)[22].

Все сказанное выше, как нам представляется, позволяет утверждать, что лексический уровень языка, наряду с фонологическим и грамматическим, обладает целым рядом структурных черт[23]. Лексику (лексическую макроструктуру) того или иного языка на данном временном срезе, вероятно, можно представить, с одной стороны, в виде частично сосуществующих, а с другой — в виде частично пересекающихся лексических микроструктур[24], каждая из которых включает в себя определенный набор структурно связанных между собой лексем, сложившийся в результате действия неодинаковых по своей природе факторов и процессов, проявившихся в различное время, действовавших с разной интенсивностью и выступавших в разных комбинациях друг с другом[25]. Другими словами, лексический состав языка — это ряд связанных друг с другом лексических микроструктур, каждая из которых является конечной по своему составу для данного этапа языкового развития. Лексику нельзя понимать, следовательно, как бесконечный линейный ряд или бесконечное нагромождение разрозненных вокабул, ибо состав каждой синхронной лексической микроструктуры строго ограничен количественно и качественно присущим ей лексическим «потенциалом», а качественная и количественная характеристика микроструктуры на данном временном срезе определяется языковой «энергией» лексической микроструктуры. Ни одно изменение лексической микроструктуры обычно не проходит бесследно для лексической макроструктуры, в которую она входит, и наоборот. Подобно тому, как место элемента в менделеевской периодической системе определяет его свой-

---

[22] Ср., например: A. Martinet, Linguistic evolution, сб. «A functional view of language», Oxford, 1962; H. Brinkmann, Sprachwandel und Sprachbewegungen in althochdeutscher Zeit, Leipzig, 1931; F. Harder, Werden und Wandern unserer Wörter, Berlin, 1911; о нейтрализации см.: «Travaux de l'Institut linguistique». II (1957). Paris, 1958.

[23] Ср.: Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5; его же, Понятие системы языка, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», 1957.

[24] Как мы уже отмечали ранее (М. М. Маковский, К проблеме так называемой интернациональной лексики, ВЯ, 1960, 1), интернациональных слов в языках практически не существует: целесообразно говорить о регионализмах. Интернациональных слов (в буквальном смысле) не может быть хотя бы уже потому, что не существует интернациональной (общей всем языкам мира) лексической макросистемы, которая была бы необходима для их одновременного существования. Отдельные слова со сходным значением и семантикой могут наличествовать в самых разнообразных языках мира, что, естественно, ничего не говорит о лексической близости изучаемых языков: в этих случаях мы, как правило, имеем дело с чисто случайными совпадениями (ср.: J. Friedrich, Zufällige Ähnlichkeiten auf verschiedenen Sprach- und Kulturgebiete, IF, LX, 2, 1950). Что же касается регионализмов, то только учет степени близости лексических микронаборов, в которых манифестируются регионализмы в различных языках, может вскрыть степень региональных схождений и расхождений лексики на данном этапе развития языка.

[25] Ср.: C. F. Voegelin, Subsystems within systems in cultural and linguistic typologies, сб. «For Roman Jakobson», The Hague, 1956; H. Kučera, Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages, 's-Gravenhage, 1958; J. Vachek, Notes on the development of language seen as a system of systems, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», VII, 1958; G. Francescato, Systèmes coexistents ou systèmes diachroniques, «Neuphilologus», 1960, стр. 37 и сл. Ср. также: М. М. Маковский, Языковая сущность современного английского слэнга, «Ин. яз. в шк.», 1962, 4; его же, Взаимодействие ареальных вариантов слэнга и их соотношение с языковым стандартом, ВЯ, 1963, 5.

ства, а эти свойства в свою очередь можно определить в зависимости от места элемента в таблице, принадлежность лексем к той или иной микроструктуре, ее место в этой микроструктуре и в лексической макроструктуре языка в целом, как правило, указывают на определенные ее свойства (строго ограниченный круг значений, определенную функциональную нагрузку, те или иные возможности сочетаемости); с другой стороны, переход тех или иных элементов лексической микроструктуры в другие микроструктуры, т. е. изменение их места в пределах макроструктуры, неизбежно сказывается на свойствах микроструктур, из которых эти элементы выходят и в которые входят, а также на свойствах самих этих элементов. Одной из важнейших задач лексикографии в будущем явится, как нам представляется, исследование конкретного состава наиболее типичных лексических микроструктур различных языков в синхронии и в диахронии и составление соответствующих таблиц: это даст практическую возможность установить функциональную зависимость между отдельной изолированной лексемой и ее принадлежностью к определенной микроструктуре (нескольким микроструктурам) или невозможностью существования ее в том или ином окружении (такие данные совершенно необходимы для этимологии, диалектологии и истории языка)[26]; таблицы указанного типа дадут также возможность провести сравнительную характеристику манифестаций (или отсутствия) того или иного слова в различных хронологических, ареальных и социально-стилистических языковых вариантах в пределах области распространения изучаемых родственных языков и выявить свойства и закономерности, характерные для каждого из этих вариантов; наконец, станет возможным — а это особенно важно для анализа наиболее древних этапов развития языка — определить наличие в тех или иных микроструктурах лексических звеньев, не засвидетельствованных письменностью.

Неодинаковая функциональная нагрузка элементов лексической микроструктуры, а также неодинаковое число связей (resp. различное количество лексических окружений, в которые они входят), присущих каждому из них,— эти признаки являются специфическими для лексики в отличие от фонологии и частично от грамматики в пределах данного языка на определенном временном срезе,— находят выражение, в частности, в том обстоятельстве, что члены какого-либо языкового коллектива обычно употребляют меньшее количество слов, чем число лексем данной лексической макроструктуры, которые они способны понять[27].

Нельзя не отметить, что приведенные выше положения вытекают прежде всего из рассмотрения известных общих языковых явлений и процессов, характеризующих существование и развитие лексики (синонимия, полисемия, архаизация словаря и субституция утраченных лексем новыми, функциональная неравнозначность отдельных лексических элементов и др.). Дело, однако, не в самих этих фактах, а в том, истолковываются ли они атомистически, разрозненно друг от друга, или комплексно, структурно. Атомистический подход к лексике, не дающей возможности выделить лексические микро- и макронаборы, неодинаковые на различных временных срезах существования языка, создает иллюзию «бессистемности» лексики.

---

[26] Разбор различных возможностей применения теории лексической аттракции для выработки структурных принципов этимологического анализа будет дан в моей статье «Проблема идентификации лексики при этимологических и ареально-лингвистических исследованиях» (в печати).

[27] Ср.: J. van Ginneken, Over de betrekkelijk weinige woorden die wij gebruiken, en de ontzaglijk vele die wij verstaan, «Onze taaltuin», IV, 1935—1936.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

Н. Н. ПРОКОПОВИЧ

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИАДЪЕКТИВНОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ

Проблема классификации сложноподчиненных предложений продолжает привлекать пристальное внимание отечественных и зарубежных синтаксистов. Характерно стремление дифференцировать структурные типы сложноподчиненных предложений в зависимости от отнесенности придаточной части к главной (т. е. «главному предложению») в целом или к отдельному его члену. Прослеживаемая в трудах русских грамматистов прошлого (Востоков, Богородицкий, Шахматов), тенденция эта получает дальнейшее развитие и углубленную разработку в исследованиях последнего времени (Н. С. Поспелов, В. А. Белошапкова и др.). Следует особо подчеркнуть, что здесь обычно имеется в виду отнесенность к тому или иному члену предложения — слову, выполняющему в предложении определенную синтаксическую функцию.

Для разработки же типологии придаточных предложений и для учения о синтаксической сочетаемости слов очень большую роль играет изучение закономерностей распространения знаменательных частей речи зависимыми от них словами и конструкциями (принадлежность распространяемого слова к определенному лексико-грамматическому разряду слов, лексико-семантическая их группировка, словообразовательные связи и т. д.).

На возможность распространения частей речи зависимыми предложениями (правда, попутно) указывал в одной из ранних работ Л. В. Щерба[1]. Необходимость такого изучения вытекает из концепции словосочетания, выдвинутой и обоснованной В. В. Виноградовым и рассматривающей учение о словосочетаниях как учение о семантическом распространении знаменательных частей речи.

Это естественно и закономерно. Синтаксис — это система в языке как системе систем. Отношения определяемого (распространяемого) и определяющего (распространяющего), т. е. отношения синтагматические, присущи всей синтаксической системе во всех ее звеньях, на всех ее уровнях. Наиболее четко и ясно эти отношения выступают как в двучленных, так и многочленных некоммуникативных соединениях слов — словосочетаниях. В строе же предложения эти отношения обычно осложняются и не всегда выступают так же отчетливо, как в словосочетании. Слова и словосочетания могут получать коммуникативную функцию и становиться предложениями, приобретая присущие предложению синтаксические категории, предицируясь. В других случаях слова и словосочетания, входя в состав предложения и становясь его членами, либо сохраняют свое структурное и номинативное единство, либо подвергаются различного рода преобразованиям. Исторически сложившиеся в языке модели сочетаний слов нередко подвергаются синтаксическому переразложению, опрощению и другим изменениям. Возникают новые модели сочетаний, окка-

[1] Л. В. Щерба, Восточно-лужицкое наречие, Пг., 1915, стр. 145, 147—148.

зиональные или категориальные. В строе предложения слова и сочетания слов могут отрываться от своих определяемых (стержневых компонентов сочетания), выступая в качестве определяющих (распространяющих) по отношению к части предложения или предложению в целом и т. д.

Именно для строя предложения характерны особые соединения слов (однородные члены, сочинительные синтагмы), отличающиеся и по характеру отношений и по структурным признакам от подчинительных сочетаний слов (собственно синтагм). Наряду с подчинительной и сочинительной связью в строе предложения возникают и множатся присоединительные связи.

Отношения (а также и средства синтаксического сцепления компонентов), отмеченные выше для двух уровней синтаксической системы, без труда обнаруживаются и на высшем ее уровне — в сложном предложении. Однако последнее не является механическим объединением двух или нескольких простых предложений; это особое сложное структурно-смысловое единство, служащее средством коммуникации, построенное в соответствии с определенным коммуникативным заданием. Естественно поэтому, что в нем не просто повторяются отношения, имеющие место в словосочетании, в простом и усложненном предложении. Эти отношения воспроизводятся на новом уровне, в иных условиях. Конструктивное усложнение идет как бы по спирали.

С точки зрения определяемого (распространяемого) компонента выделяются три основных типа сложноподчиненных предложений: 1) в качестве определяемого (распространяемого) компонента выступает одно из знаменательных слов главной части (тип: слово + придаточная часть); 2) в качестве определяемого компонента выступает одно из словосочетаний главной части (тип: словосочетание + придаточная часть); 3) в качестве определяемого компонента выступает вся главная часть (тип: предложение — придаточная часть).

Это деление пересекается с делением по другим признакам (по характеру отношений между определяемым и зависимым компонентами, по обязательности или факультативности распространения определяемого компонента, по способам и средствам синтаксического объединения компонентов и т. д.).

*

Предметом этой статьи являются предложения первого типа с именем прилагательным в составе главной части. В отличие от глагола, спрягаемые формы которого однофункциональны, от слов категории состояния, также однофункциональных, имена прилагательные способны выполнять различные синтаксические функции в предложении.

Среди сложноподчиненных предложений с приадъективной придаточной частью в свою очередь большой интерес представляют те модели, в которых в качестве распространяемого выступает имя прилагательное в полной форме. Краткие же формы в таких же моделях менее показательны, потому что: а) они расположены на периферии категории имени прилагательного, близки к полному отрыву от нее и переходу в слова категории состояния; б) в предложении они выполняют, по существу, только одну функцию — сказуемого; в) возможность их распространения придаточными предложениями, хотя и непоследовательно, но все же отмечается в работах по синтаксису, чего нельзя сказать о прилагательных полных, особенно в непредикативном употреблении.

Способность полных качественных прилагательных распространяться зависимыми придаточными частями, как правило, остается неотмеченной

в синтаксической литературе. Между тем сложные предложения с приадъективной придаточной частью фиксируются в русском литературном языке уже в начале XIX в.; на протяжении этого столетия употребительность их возрастает; к нашему времени они получили известное распространение.

В структурном отношении все модели, образуемые полным прилагательным с зависимой предикативной частью, делятся на две группы: а) такие, в которых соотносительное слово (или выражение) при имени прилагательном выступает в числе конструктивных элементов (соотносительное слово + прилагательное + союз или союзное слово), б) такие, в которых при имени прилагательном нет соотносительного слова и в нем нет нужды (имя прилагательное + союз).

В первой группе с точки зрения структурно-семантической в свою очередь выделяются две подгруппы. Первую подгруппу составляют адъективные сочетания градуально-союзного типа. К ним относятся такие модели: относительное слово или выражение — полное прилагательное — союз (*такой умный, что...*; *до такой степени бережливый, что...*; *настолько важный, что...* и т. п.). В них стержневое слово характеризуется в отношении степени, меры выражаемого им качественного признака (часто с дополнительным оттенком значения). Это построения, типичные именно для качественных прилагательных. Этим нужно объяснить их широкую употребительность и продуктивность. Такие модели отмечаются в русском литературном языке уже с самого начала XIX в. В дальнейшем, как и в наше время, они широко употребительны. Среди них особенно распространены такие, в которых в качестве соотносительного слова выступает слово *такой*[2] и союз *что*. Прилагательное может выступать в предложении в роли сказуемого или в его составе: «Вода *была такая грязная*, что нельзя было решить, когда крепок или некрепок чай...» (Л. Толстой, Война и мир); «Екатерина Дмитриевна *сидела* на другом конце стола *такая утомленная, печальная и красивая, что* у Даши глаза налились слезами» (А. Н. Толстой, Хождение по мукам).

Не менее широко и уже давно эти модели образуют прилагательные и в других синтаксических функциях: «Этот Торсберг человек замечательной наружности: лет пятидесяти, маленький... *такой румяный...*, *что* совсем не похож на доктора» (Жихарев, Дневник чиновника); «...укрывая свою армию в тумане *так густом*, *что* колонны перепутывались...» (Нашествие Массены на Португалию, гл. IV, «Современник», 1844, т. XXXIII); «...под диваном вдруг раздалось „хлоп!", и *такое громкое*, *что* мой дядюшка вздрогнул...» (Чехов, Кто виноват?); «...а тут вскоре пошла полая вода, *такая спорая и буйная*, *что* наше сообщение с Васильевским... совсем прервалось» (Бунин, Жизнь Арсеньева); «Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, *таких аккуратных*, *что*, казалось, к ним ни разу никто не прикасался» (Паустовский, Время больших ожиданий).

Со стороны структурной для таких моделей характерна максимальная формализация основных конструктивных ее элементов (*такой* и *что*). В таких сочетаниях придаточная часть не наполняет конкретным содержанием местоименное слово *такой*: конкретный признак уже назван стержневым прилагательным.

В слове *такой* не возникает по той же причине качественного оттенка (ср. *Мальчик такой, что сердце радуется*, где *такой* примерно обозначает

[2] При кратких прилагательных — *так*; *так* вместо *такой* встречается нередко в произведениях первой половины XIX в. (у Гоголя и других писателей); единичные случаи такого употребления отмечаются иногда и в наше время: «... платье на ней было *так* ослепительно белое, *что* Самгин мигнул» (А. М. Горький, Жизнь Клима Самгина).

«хороший»). Слово *такой* само по себе еще не выполняет в рассматриваемых случаях и функции усилительной частицы (ср.: *Они вправе гордиться сыном. Такой умный, ласковый* (т. е. очень умный, очень ласковый); *такой работных замечательный*). Только вместе с союзом *что*, составляя единый конструктивный элемент, оно служит показателем степени признака, обозначаемого стержневым прилагательным. Естественно, что и союз *что* в этих случаях также десемантизирован. В отличие от сочетаний прилагательных с наречиями степени использование в качестве распространяющего элемента целой синтаксической конструкции (придаточного предложения) обусловливает дополнительный оттенок значения — значение следствия. В сочетании, например, *Туман такой густой, что колонны сбились с пути* предикативная конструкция указывает и на высокую степень качественного признака (*такой густой, что...*, т. е. «очень, чрезвычайно густой») и на следствие, вытекающее из наличия этой высокой степени признака.

Сказанное, конечно, относится и к тем моделям этого же типа, в которых в качестве соотносительного элемента при прилагательном выступают другие слова и речения — *столь, до того, до такой степени* и т. д.

В русском языке представлены модели с этими соотносительными словами и выражениями. И здесь стержневое имя прилагательное может выступать как в роли сказуемого, так и в других синтаксических функциях:

«... она примыкала к потоку, *столь быстрому, что*, говорят, никогда ни человек, ни зверь не дерзали переплывать его» («Библиотека для чтения», 1834, т. VI, кн. 10, стр. 11); «... у меня ... вышел обыкновенный... чай и уцелел остаток... *столь дорогого, что* даже совестно говорить» (Фет, Мои воспоминания); «Это была особа старенькая... с характером... *до того несносным, что*... она не находила себе места нигде...» (Лесков, Соборяне); «Светлорусые волосы... глаза и свежие полные губы *делали* ее еще *настолько красивой, что* никто даже не подумал бы смотреть на нее, как на мать целой дюжины детей» (Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы); «Память *до того подлая, что* скоро забуду, где верх, где низ...» (Чехов, Письмо П. А. Сергеенко 17 XII 1884); «Безумно-смелая мысль мелькает в голове Дани, — *настолько смелая, что* он на минуту даже прикусывает нижнюю губу...» (Куприн, Бедный принц); «... зато все остальное... было выдержано в прохладно-зеленоватых тонах... *до такой степени успокоительных, что*, казалось, только бы и пользоваться санаторным покоем без отрыва от мозговой деятельности...» (Леонов, Русский лес).

К рассматриваемой подгруппе принадлежат и немногочисленные в исследованных источниках модели, в которых зависимая предикативная конструкция присоединяется к прилагательному при помощи союза *чтобы*. В них значительно шире представлены краткие формы прилагательных, хотя и полные не только возможны, но и не единичны. В одних случаях в таких сочетаниях при имени прилагательном употребляется соотносительное местоимение *такой* (или целое выражение, нередко с частицей *не*), как и в сочетаниях с союзом *что*.

«Позволено ли нам, бедным жителям земли, *быть так дерзкими, чтобы* спросить вас, о чем мечтаете?» (Гоголь, Мертвые души); «*Не до такой же степени я глуп, чтобы* не мог разобрать, холодно мне или тепло» (Фет, Мои воспоминания); «Разве верные друзья бывают *так нескромны, чтобы* спрашивать у женщины, кого она в своей жизни любила?» (Куприн, Чары).

Союз *чтобы* менее формален, чем *что* в рассмотренных выше случаях. В сочетаниях с *чтобы* указание на степень качества, выражаемого прилагательным, сочетается со значением цели, назначения. Это общее значение еще более осложняется в тех случаях, когда при имени прилагательном в качестве соотносительного конструктивного элемента выступает наречие с модальнооценочным значением: *слишком, достаточно* (*недостаточно*), *чересчур, довольно* и др.: «Некоторые другие подробности *слишком отвратительны, чтобы* о них рассказывать» (Жихарев, Дневник студента); «... он был *слишком вежлив, чтобы* распространять далее объяснение» (Ж. Занд, Мопра); «... Домициан дал мне... скверный загородный домишко... да несколько сосен, *слишком молодых, чтоб* могли дать летом тень...» (Записки Марциала, «Московский наблюдатель», 1837, июль, кн. 2); «Я *недостаточно серьезен* и *недостаточно музыкален, чтобы* иметь силу убедить его» (Чехов, Письмо А. Н. Плещееву, 25 X 1888); «Он был *слишком застенчив* и неуверен в себе, *чтобы* брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву» (Куприн, Молох).

В этой модели указание на степень качественного признака, передаваемого прилагательным, осложняется, а в известной мере и заслоняется значением соответствия (или

несоответствия) этого признака чему-то, что выражено зависимой предикативной конструкцией. Такого рода отношения характерны для соотносительных простых адъективных словосочетаний такого типа, как: «Вероятно, чувствуя, что разговор принимает *слишком серьезный для гостиной* характер, Еропский...» (Л. Толстой, Анна Каренина) (ср.: *разговор принимает характер, с л и ш к о м с е р ь е з н ы й, чтоб вести его в гостиной*); ср.: *ч е р е с ч у р п о п у л я р н о е для научного труда изложение* и *изложение, ч е р е с ч у р п о п у л я р н о е, чтобы могло быть допущено в научном труде* и т. п.

На это же указывают и такие сочетания, как: «Во Франции... уже есть люди с умом, *довольно основательным для того, чтобы* история новейшей литературы выслушивала и их приговор» (Вальтер Скотт и его последователи, «Московский наблюдатель», 1837, май, кн. 1); «Может быть, вы считаете меня *слишком молодым для того, чтобы* понимать красоту женщины...» (Ж. Санд, Мопра).

Историческое развитие такого типа сочетаний шло по двум линиям: а) в одних случаях в результате эллипсиса возникла модель: наречие — прилагательное — *чтобы* с зависимой конструкцией (например, *слишком застенчивый, чтобы...* и под.), б) в других — соотносительная предложно-падежная форма (*для того*) и союз *чтобы* тесно сливаются, превращаясь в сложный союз.

Немногочисленны модели, в которых зависимая предикативная конструкция присоединяется к прилагательному (чаще в краткой форме) с помощью союзов *как, как будто* и др., хотя употребление таких сочетаний отмечается уже в произведениях самого начала XIX в.; при этом возможность их образования в языке не ограничивается.

«Бал огромный, но *совсем не такой великолепный, как* того ожидали» (Жихарев, Дневник студента); «Музыка французов, идущих городом, повторялась в его пустых домах звуками *так страшными, как будто* в тех домах... португальцы отвечали... звуками разбитых инструментов» (Нашествие Массены на Португалию, «Современник», 1844, т. XXXIII); «Я нашел его со старшей... сестрой его, Софьей, почти *столько же даровитой и многоспособной, как* он сам» (Стасов, Автобиография); «Узковедомственный, плоский, „арифметический" подход к искусству не *так безобиден, как* это может показаться» (Л. Лазарев и др., Умеете ли вы читать?, «Лит. газ.», 7 I 1961).

В сочетаниях такого типа придаточная часть указывает на степень признака, выражаемого именем прилагательным, при помощи сравнения. Наличие при определяемом прилагательном соотносительного местоимения (или целого выражения) обязательно и здесь. Определяемые прилагательные полной формы могут выступать в предложении в различной синтаксической роли. Союзный элемент здесь несравненно более семантичен, чем в моделях с *такой... что*.

Таким образом, первая подгруппа характеризуется со стороны конструктивной такими чертами: а) непременное наличие при определяемом прилагательном соотносительных слов и речений (*такой, до того, в такой степени* и т. п.); б) присоединение придаточной части с помощью союзов *что* и значительно реже *чтобы, как* и др.; в) возможность употребления определяемого прилагательного в предложении в любой синтаксической роли; г) постпозиция придаточной части по отношению к определяемому прилагательному.

В т о р у ю п о д г р у п п у составляют адъективные сочетания и з ъ я с н и т е л ь н о - с о ю з н о г о типа. От предшествующей она отличается факультативностью соотносительного слова (точнее — возможностью как его опущения, так и подстановки), морфологической принадлежностью этого слова и его семантикой. Эта подгруппа объединяет такие модели: имя прилагательное с соотносительным местоимением (или без него), союз и зависимая придаточная часть: *довольный тем, что...; счастливый, что...; с о в е р ш е н н о п р о т и в о п о л о ж н о е т о м у, ч т о...; достойный того, чтобы...* В них придаточная часть уточняет выраженный прилагательным признак указанием на его внутреннее содержание или на лицо (предмет), в отношении которого он проявляется, т. е. имеют место объектно-ограничительные отношения. Это делает их соотносительными по функции с соответствующими простыми адъективными словосочетаниями (ср. *довольный победой* и *д о в о л ь н ы й т е м, ч т о победил* и т. д.). Со стороны конструктивной для таких сочетаний характерны: а) возможность (но не обязательность) при определяемом прилагательном соотносительных местоимений (иногда с предлогами); б) при-

соединение зависимой конструкции с помощью союзов (*что* и весьма редко *чтобы*); в) возможность любой синтаксической функции для определяемого прилагательного; г) постпозиция придаточной части.

В кругу таких сочетаний выделяется несколько моделей, но широко употребительна лишь одна из них: в ней при имени прилагательном соотносительное местоимение употребляется в форме твор. падежа без предлога.

Факультативность соотносительного местоимения в этих моделях можно рассматривать различно. Само отсутствие местоимения можно считать нулевым показателем. Однако представляется, что перед нами один из этапов длительного изменения самой структуры сочетаний этого типа. Дело в том, что употребление сочетаний без местоимения, отмечаемое уже в начале XIX в., все расширяется; в наше время такие сочетания многочисленны. Особенно часто это наблюдается при прилагательном *довольный*, реже при других, ср.: «...подумал Рамирский... очень *довольный, что* должен был уступить место приехавшим дамам» (Вельтман, Саломея); «Однако ж, говорит словоохотливый чапар, очень *довольный, что* я завел с ним речь...» (А. Марлинский, Кавказские очерки); «...и уснул, *счастливый, что* познакомился с новым для него... миром» (Чехов, Тайна); «Пришли дегтярники, *довольные, что* кончили работу» (Горький, Мать). Соотношение моделей с местоимением и без него в сочетаниях с определяемым прилагательным *довольный* (*доволен*) составляет в собранных нами материалах 1 к 1, 5.

В качестве определяемого слова могут выступать прилагательные как в краткой, так и в полной форме: *доволен тем, что...— довольный тем, что; широко известен тем, что...— широко известный тем, что; славен тем, что...— славный тем, что; опасен тем, что...— опасный тем, что* и т. д. Употребление полных прилагательных в таких сочетаниях, отмечаемое уже в самом начале XIX в., к началу XX в. и в наше время становится весьма широким, хотя самый круг прилагательных остается ограниченным (в изученных материалах его составляют 22 основы прилагательных). Ср.: «...день сей был *достопамятный... тем, что...* радостью было объято мое сердце при окончании оного» (Болотов, т. I, письмо 54); «*Довольный, что* избавился от долгого ожидания, Иван тотчас же отыскал...» (Вельтман, Саломея); «...— и она побрела восвояси, уже *довольная тем*, что посидела на козлах» (Гоголь, Мертвые души); «*Радостный, что* он держал себя молодцом в шторм и капитан, кажется, доволен им, *что* опасность прошла...— старший офицер чувствовал себя счастливее и жизнерадостнее...» (Станюкович, Утро); «Тут одно обстоятельство очень странное было,— *странное тем*, собственно, *что* случай такой очень редко бывает» (Достоевский, Идиот); «...около кровати суетилась... лекарка — бабка Мамычиха, широко *известная... тем, что* умела ставить банки...» (Шолохов, Поднятая целина); «...мы отправились на остров Капри,.. *замечательный тем, что* здесь жил Алексей Максимович и здесь посетил его Владимир Ильич Ленин» (Никулин, Люди и странствия); «...Поля осмотрела рубиновые звезды, *тем* и *схожие* с небесными, *что* отовсюду видны были на планете» (Леонов, Русский лес).

Сочетания, в которых соотносительное местоимение выступает в форме дат. падежа, очень немногочисленны, хотя их образование возможно от многих прилагательных, способных распространяться зависимым дат. падежом: ... *противоположный тому, что говорил; .. покорный тому, что предписывал ему хороший тон...; послушный тому, что подсказывало сердце...* и т. д.[3]. В таких сочетаниях зависимая конструкция конкре-

[3] Если прилагательное управляет дат. падежом с предлогом, этот же предлог сохраняется и при распространении предикативной конструкцией (*равнодушный к учению* и *равнодушный к тому, что...*).

тивирует местоимение: она указывает на предмет, в отношении которого проявляется признак, выраженный прилагательным. Последнее может выступать не только в роли сказуемого, но и в других синтаксических функциях: «... И *равнодушна ко всему, что* не относится к нему...» (Баратынский, Цыганка); «Так и Чичиков вдруг сделался *чуждым всему, что* ни происходило вокруг него» (Гоголь, Мертвые души); «.. офицер... доносит совершенно *противоположное тому, что* говорил перед ним посланный офицер» (Л. Толстой, Война и мир); «Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, *равнодушная к тому, что* у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать» (Чехов, Случай из практики); «... я прямо сказал. , что это вещь устарелая... и... совершенно *противная тому, что* мы можем и должны теперь думать и делать» (В. Стасов, Письмо брату Д. В. Стасову 20 V 1896); «Где-то очень далеко от Краснодона шла спокойная... жизнь, *чуждая всему, что* здесь сейчас происходило» (Фадеев, Молодая гвардия).

Простые адъективные словосочетания с зависимым существительным в род. падеже образуются в современном языке лишь несколькими прилагательными (*полный, достойный, чуждый*). Единичны и сочетания, в которых при прилагательном употребляется соотносительное местоимение в род. падеже и зависимая предикативная конструкция с союзом *чтобы*: «... он... просил их рассудить, действительно ли он *достоин, чтобы* его венчали как поэта» («Современная жизнь», 1844, т. XXXIII); «... его рекомендовали мне как человека, *достойного того, чтобы* о нем написали рассказ...» (из газеты).

Кроме факультативности соотносительного приадъективного местоимения (*тот, весь*), модели второй подгруппы отличаются от первой в структурном отношении тем, что местоимение выполняет при имени прилагательном различные функции, свойственные и неместоименным зависимым словам (отсюда возможность различных падежей и предлогов), а придаточная либо наполняет их конкретным содержанием, либо заменяет.

*

Противоположной по своей структуре и значениям является группа адъективных сочетаний, в которой при определяемом прилагательном нет соотносительного элемента («сигнала», по выражению Р. Мразка). Этот структурный тип представляется особенно интересным и показательным, так как свидетельствует о подвижности границ между основными структурными типами сложноподчиненных предложений. Он объединяет такие модели, в которых предикативные части, присоединяясь к стержневому прилагательному при помощи союзов *потому что, оттого что, для того, чтоб, когда, если* и др., выражают причинные, временные, условные и другие так называемые обстоятельственные отношения.

Такие придаточные части исследователи обычно рассматривают как отнесенные к определяемой части (главной) в целом и как типичные для сложноподчиненных предложений двучленных (или «выражающих то или иное функциональное соотношение между придаточной и главной частью», по терминологии Р. Мразка).

Видимо, справедливое в своей основе (или по отношению к приглагольному употреблению)[4] положение это требует существенных оговорок в тех случаях, когда соответствующие придаточные части входят в состав адъективных сочетаний слов. Изучение языкового материала с несомненностью свидетельствует о том, что придаточные части с союзами *потому что, когда, если* и др. могут относиться не только к адъективным главным предложениям в целом, но и распространять не все предложение, а отдельные полные прилагательные независимо от того, какую синтаксическую роль они выполняют, и при этом сохраняться при изменении стержневого слова по присущим ему формам.

Обращает на себя внимание то, что в некоторых моделях (они более употребительны) представлены сложные союзы, исторически возникшие

[4] Одночленная структура возможна в некоторых случаях и в глагольных предположениях, что справедливо отмечает в своих трудах только Н. С. Поспелов (см. его работу «О различиях в структуре сложноподчиненного предложения», сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1959, стр. 54).

(или только возникающие) на основе грамматической фразеологизации конструктивных элементов (*потому что* и пр.).

Употребление адъективных сочетаний рассматриваемого типа отмечается в русском литературном языке уже в XIX в. (особенно заметно со второй его половины). При значительном разнообразии моделей для всех адъективных сочетаний этой группы, кроме уже отмеченного отсутствия соотносительного элемента при определяемом прилагательном, типичны: а) определенный круг союзов, прикрепляющих придаточную часть к определяемому прилагательному, б) возможность употребления последнего в предложении в различной синтаксической функции, в) постпозитивное положение придаточной части (как и в первой группе). Наиболее употребительны модели, выражающие причинные отношения: *...таинственные потому, что...*, *...приятный, потому что...*, *ленивый оттого, что...*, *очень непонятный, ибо...* (последняя редко).

Даже в тех случаях, когда в таких моделях имя прилагательное является сказуемым (или входит в его состав), зависимая конструкция (придаточная часть) может относиться именно к нему. Такую отнесенность автор высказывания иногда подчеркивает выделением определяемого из круга однородных путем повторения, обособления; иногда такая отнесенность со всей очевидностью вытекает из семантики определяемого прилагательного, в котором предикативная конструкция по смыслу может быть связана только с одним из трех прилагательных-сказуемых. «...означает оно то, что попадья моя выходит наипервейшая кокетка, да еще к тому и *редкостная, потому что* не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает» (Лесков, Соборяне); «Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная: говорю — *неудобная, потому что* в ней, например, 4 героини и настроение, как говорят, мрачней мрачного» (Чехов, Письмо В. Ф. Комиссаржевской, 13 XI 1900). «И всего более удивительно было то, что Варвара.. становится для него милее с каждым днем. *Милее* не только *потому, что* с нею удобно, но...» (Горький, Жизнь Клима Самгина).

Еще ярче отнесенность зависимой конструкции к прилагательному выступает в тех случаях, когда оно употребляется в других синтаксических функциях (и в различной форме). И здесь отнесенность предикативной части к определенному прилагательному говорящий нередко подчеркивает повторением и обособлением определяемого.

«...Следственно две трети народа обрекали себя на многолетнюю нищету, *многолетнюю потому, что* земледелец в первую весну по истреблении своей жатвы может начать свое хозяйство, но надо много лет для разведения срубленных плодовитых дерев и виноградников» (Нашествие Массены на Португалию, гл. 1, «Современник», 1844, XXXIII); «Иван Федорович вдруг напечатал... одну странную статью... и, главное, по предмету по-видимому вовсе ему *незнакомому, потому что* кончил он курс естественником» (Достоевский, Братья Карамазовы); «... но таинственные силы, двигающие человечеством (*таинственные потому, что* законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие» (Л. Толстой, Война и мир); «Была грустная августовская ночь,— *грустная, потому что* уже пахло осенью» (Чехов, Дом с мезонином); «...и поэтому мне теперь вспоминается... какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами, *ужасным потому, что* все говорили, что это всегда так бывает „на сорок мучеников", *очаровательным же по той причине, что* чем ужаснее потрясал ветер стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой, в тепле, в уюте» (Бунин, Жизнь Арсеньева); «Здесь девочка задала встречный вопросик, *неразборчивый, потому что* сидела спинкой к двери. .» (Леонов, Русский лес); «Хата — это полевой бригадный домик. Какой здесь наивный трогательный уют! *Трогательный потому, что* он создан мужскими руками» («Лит. газ.», 23 V 1961).

Значительно меньше таких сочетаний с союзом *оттого что*; единичны случаи употребления союзов *ибо, в виду того, что*.

Рост употребительности адъективных сочетаний, в которых выражаются причинные отношения, и былая, видимо, их двучленность тесно связаны с возникновением и развитием в русском языке сложных союзов, в частности причинных *потому что* и *оттого что*. Еще в начале XIX в. (да и позднее вплоть до нашего времени) отмечаются случаи употребления таких сочетаний, в которых предложно-местоименная часть (*от того, по тому*) союзного речения занимает препозитивное положение по отношению к определяемому прилагательному и, следовательно, отделена от второго элемента — союза *что*, выступающего всегда в постпозиции. Конечно, чем ближе к нашему времени, тем уникальнее становится такие модели, как: «...производила для глаз приятнейшее зрелище, которое делалось *от того* еще *приятнейшим, что* внизу... находилось собственное селение нашей деревни...» (Болотов, т. 2, письмо 133); «...потому что таким образом прямая близость устанавливалась у него с этим лесным царем, *оттого* лишь таким

ласковым и медлительным, что уже не на кого ему было сердиться при таком могуществе...» (Леонов, Русский лес).

В подобных случаях особенно ощутительно проявляется их структурная близость к моделям, в которых местоименно-соотносительный элемент является непременным конструктивным элементом (т. е. к моделям первой группы). Зависимая предикативная часть конкретизирует здесь соотносительную предложно-местоименную часть, содержащую лишь самое общее указание на причину наличия признака, выражаемого прилагательным. Такое же или близкое значение может возникнуть и в тех сочетаниях, в которых сложный союз занимает обычное для него постпозитивное (и контактное) положение по отношению к определяемому прилагательному. Это выражается интонационно паузой перед *что* и ударением на конечном гласном предложно-местоименной части (*потому, что*; *оттого, что*). Однако для современного языка типичным нужно считать восприятие всего речения как единого сложного причинного союза (особенно *потому что*), с помощью которого прилагательное распространяется указанием на причину наличия выражаемого им признака. Об этом говорит и соотносительность по смыслу с простыми адъективными словосочетаниями с зависимым род. падежом и предлогом, ср.: *красное от холода* (*лицо*) и *красное, оттого* (*потому*) *что на дворе холодно*.

Значительно меньшим числом представлены сочетания, в которых выражаются отношения цели, назначения, хотя их употребление отмечается уже в самом начале XIX в.: ...*удобный для того, чтобы...*; *полезный для того, чтобы...* По значению они соотносительны с такими простыми адъективными словосочетаниями, как *удобный для перевозки*, *полезный для совета* и т. п. Зависимая предикативная часть, относясь к имени прилагательному в различных синтаксических функциях, дополняет выражаемый им признак указанием на цель, назначение. Ср.: «Он дал мне бумаги, *нужные для того, чтобы* выехать из Франции...» (Ж. Занд, Мопра); «Бенигсен... в сущности был хороший генерал, *полезный* для совета и *для того, чтобы* иметь его всегда наготове на смену Барклая» (Л. Толстой, Война и мир); «Если Вы где-либо увидите полку, *удобную для того, чтобы* поставить на нее... книги,.. купите для меня» (Горький, Письмо И. П. Пятницкому, 8 IX 1905).

В современном русском языке речение *для того, чтобы* обычно выступает уже в качестве сложного союза. Однако в приадъективном употреблении предложно-местоименная часть сохраняет еще в какой-то мере свою отдельность и указательность; в отличие от многих других случаев употребления здесь неразложимость еще не закрепилась и оба элемента еще ощущаются достаточно определенно[5]. Возможно, этому содействует непременная постпозиция по отношению к определяемому прилагательному.

К живым, развивающимся, хотя еще немногочисленным, относятся сочетания с придаточной частью, присоединяемой к прилагательному при помощи союза *если*. В таких сочетаниях признак дополняется указанием на обусловленность его наличия: «Я не почитаю литературным бесславием и гнева тех же старожилов, неизбежного, если новый литератор не влечется за их последователями» (Особ. прибавл. к журн. «Московский телеграф», № XIII); «Юлия Павловна... обладала юмором... довольно *кожим, если* язвительность благосклонно встречалась Настуховым» (Федин, Костер); «Неожиданно... пришли и деньги, *баснословные* по тому времени, *если* мерять количеством нулей» (Леонов, Русский лес). В кругу этих сочетаний возможны модели с союзным фразеологическим выражением, близким к сложному союзу: «Новый комбайн окажется *достойным* восхищения только в *том случае, если* оправдает себя на полях» («Лит. газ.», 7 III 1963).

Зависимая предикативная часть может сочетаться с прилагательным как в роли сказуемого, так и в других синтаксических функциях. В первом случае вряд ли можно говорить о распространении прилагательного предикативной конструкцией: последняя явно обусловлена всем предло-

[5] См. замечание В. В. Виноградова о большой стойкости элементов в таких сложных союзах («Русский язык», М.— Л., 1947, стр. 722 и др.).

жением. Во втором же случае, напротив, отнесенность к имени прилагательному, а не к предложению в целом не вызывает сомнения.

Как в первой, так и во второй из выделенных выше групп нет полного перечня всех возможных моделей адъективных сочетаний слов с придаточной частью. Приведены лишь те, которые наиболее широко засвидетельствованы в русском литературном языке и в то же время позволяют установить основные группы и подгруппы сочетаний слов рассматриваемого структурного типа.

Отметим особое положение, которое занимают адъективные сочетания слов с временным значением, часто осложненным условным оттенком. По своему значению (временному) они тяготеют ко второй группе. Структурно же они в подавляющем большинстве случаев либо имеют в своем составе соотносительный элемент перед прилагательным, либо такой элемент может быть легко подставлен: «Де-Грие был, как все французы, то есть *веселый и любезный, когда* это надо и выгодно, и нестерпимо *скучный, когда* быть веселым и любезным переставала необходимость» (Достоевский, Игрок); «... а все мы, смертные, *загадочны* только *тогда, когда* глупы, и смешны в течение 48 недель в году...» (Чехов, Письмо Н. П. Чехову, март 1886); «Когда мы пришли в Херсон, я знал моего спутника как малого наивно-дикого, крайне неразвитого, *веселого — когда* он был сыт, *унылого — когда* голоден, знал его как сильное, добродушное животное» (Горький, Мой спутник); «У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза, должно быть *умные и твердые, когда* нужно» (А. Толстой, Хождение по мукам); «... они вступили в новую, неизвестную и такую *странную, после того* как двадцать четыре года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь» (Фадеев, Молодая гвардия); «Я страсть какой *отчаянный, когда* разойдусь...» (Шолохов, Поднятая целина); «Им нравится жить в воздвигнутом ими самими мире детских чистолюбий, *смешных и глупых, когда* они застревают во взрослом характере...» («Лит. газ.», 2 XII 1961).

Подведем итоги:

1. Имена прилагательные, как и другие знаменательные части речи, в строе предложения могут распространяться присоединением к ним в качестве зависимого компонента целой синтаксической конструкции, оформленной как предложение (придаточная часть, придаточное предложение). Возникают сложноподчиненные предложения с прилагательной придаточной частью.

2. В них на новой основе и в иных условиях воспроизводятся отношения, характерные для словосочетания (синтагмы): а) они соотносительны со словосочетаниями с зависимым компонентом — отдельным словом или словосочетанием, лишенным элементов предикативности, ср. *довольный встречей с...— довольный (тем), что встретился с...*; *земля, влажная после дождя — земля, влажная после того, как прошел дождь*; б) как и для словосочетаний вообще, степень необходимости распространения зависимым компонентом в них может быть различной; выделяются две основные разновидности: в одной — распространяемый зависимый компонент обязателен, в другой — факультативен; в) как и другие компоненты словосочетания, в строе предложения придаточная часть может акцентироваться, интонационно резко обособляясь (это на письме обозначается выделением точкой).

3. Для всех рассмотренных моделей сложных предложений с прилагательной придаточной частью характерна и типична возможность употребления последней при всех изменениях определяемого прилагательного, а следовательно, независимо от его синтаксической функции в предложении. При этом зависимая придаточная часть употребляется постпозитивно по отношению к прилагательному.

Таким образом, в таких предложениях главное — не синтаксическая функция определяемого слова, а его категориальная принадлежность.

4. Относиться к отдельному слову главной части (прилагательному) могут различные по функции придаточные части, в том числе выражающие причинные, условные, временные и другие отношения.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

А. К. СОЛОВЬЕВА

О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ДИАЛОГА

Диалог (буквально: «пересловие», «взаимословие»), как обычно обозначается разговор двух (или более) лиц, в ряде работ изучался преимущественно как драматургическое средство выразительности [1]. В то же время, по-видимому, возможно, исходя из текстов художественной литературы, поставить вопрос о диалоге как о живой разговорной речи: «смелое воспроизведение... разнообразнейших интонаций наших многочисленных разговорных диалектов» (которое видел в языке драм Горького Б. А. Ларин) пока еще для многих ученых остается чуть ли не единственным надежным средством наблюдения разговорной речи. По мысли Н. Ю. Шведовой, например, диалог является «только одной стороной того сложного явления, которое можно назвать разговорной речью» [2]. Имея в виду применение к устно-разговорной речи терминов «диалог», «монолог» (как и «реплика»), необходимо подчеркнуть ее специфику; это тем очевиднее, если учесть хотя бы то обстоятельство, что термины эти родились в европейской лингвистической терминологии из анализа и характеристик драматического произведения. Внутри устно-разговорной речи диалог противопоставляется монологу [3]; уже само существование такого противопоставления предполагает своеобразие лингвистических структур — этих двух основных форм устно-разговорной речи.

Как диалог, так и монолог воспроизводятся в разных видах литературных жанров; тем самым оказывается возможным подойти к лингвостилистическим особенностям этих жанров. В настоящей работе поставлены вопросы: 1) о возможности выделения некоторых семантических разновидностей диалога, с учетом того, что «в случае диалогической речи на выбор языковых средств влияет содержание и характер диалога» [4] и 2) о возможности описания их лингвистических особенностей, в которых проявляются определенные общие тенденции.

Среди других разновидностей немонологической речи разговор-спор уже давно привлекал к себе внимание логиков-философов, с одной стороны, психологов — с другой; о внимании именно к этой разновидности диалога свидетельствует существование про-

---

[1] См., например: В. В. Виноградов, О языке художественной литературы, М., 1959; Б. Ларин, Заметки о языке пьесы М. Горького «Враги», «Литературный критик», 1936, кн. 11; М. Б. Борисова, О типах диалога в пьесе Горького «Враги», «Уч. зап. ЛГУ», 198. Серия филол. наук, 24, 1956; ее же, О строении диалога в драматургии М. Горького, «Уч. зап. Саратовск. ун-та», вып. филологич., 56, 1957; ее же, Стилистическое использование многозначности слова в драматургии М. Горького, сб. «Словоупотребление и стиль М. Горького», [Л.], 1962; Б. Бялик, Великая школа мастерства. Заметки о драматургии М. Горького, «Октябрь», 1952, 9; Ю. Юзовский, Диалог героев и голос автора (О языке пьес М. Горького), «Октябрь», 1959, 1; Ю. Р. Геннер, Очерки по общему и русскому языкознанию, Харьков, 1959, стр. 275 и сл.

[2] Н. Ю. Шведова, Очерки по синтаксису русской разговорной речи, М., 1960, стр. 281. Аналогичным образом объясняет «наблюдающиеся отличия сценического диалога от бытового» Т. Г. Винокур (Т. Г. Винокур, О некоторых синтаксических особенностях диалогической речи в современном русском языке. Автореф. канд. диссерт., М., 1953, стр. 3).

[3] По определению Н. Ю. Шведовой, «разговорный монолог есть форма непринужденного рассказа, непосредственно обращенного к слушателю или слушателям» (Н. Ю. Шведова, указ соч., стр 282). Форму монолога обычно носит, например, внутренняя речь (дума, разговор с самим собой — как не произнесенный вслух, так и произнесенный вслух).

[4] Н. И. Конрад, О «языковом существовании», «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 9. Как указывает Н. И. Конрад, проблемы семантики диалога и выделения на этой основе его разновидностей были намечены японскими исследователями.

блемы «искусство спора»; указания на языковые особенности диалога-спора встречаются в работах отдельных лингвистов [5].

Для того чтобы понять, чем с лингвистической стороны те или иные разновидности диалогов отличаются друг от друга, когда они даны как известные целостные единства, протекающие во времени, ниже используется введенное Г. О. Винокуром обозначение «система реплик»; как известно, Г. О. Винокур ставил вопрос о протяженности реплик и отдельных систем реплик в зависимость от характера персонажей и хода самого действия [6]. Для изучения целостной разновидности диалогов могут представить интерес примеры из литературно-художественных произведений, где именно есть развертывание «системы реплик» вокруг единой тематики; выделить такие примеры важно еще и потому, что и в литературно-художественных произведениях, и тем более в реальной жизни, ткань разговора может сплошь и рядом непосредственно передавать переходы одной разновидности в другую.

Не пытаясь в настоящей работе дать сколько-нибудь полную схему основных видов диалога, остановимся на следующих видах диалогов: 1) диалог-спор, 2) диалог-конфиденциальное объяснение, 3) диалог — эмоциональный конфликт (ссора), 4) диалог-унисон.

Выдвинутое Ш. Балли и Ж. Марузо положение о том, что диалог по существу есть борьба [7] (которая, по словам Балли, может вестись в атмосфере взаимной симпатии друг к другу), может быть распространено главным образом на первую и третью из выделенных разновидностей диалога (диалог-спор, диалог-ссора), имея в виду, что интеллектуальное и эмоциональное согласие — такой же важный компонент диалога, как интеллектуальное и эмоциональное несогласие.

Поскольку, по словам Марузо, «каждый из собеседников хочет произвести впечатление на другого, побудить его мыслить таким-то образом, предвидеть и наперед расстроить его возражения» [8], в обыденном разговоре оппонент не дает своему собеседнику окончить фразу, прерывает его на полуслове, часто вставляя союзы и наречия (*а, но, как так?, как можно, вот еще!* и др.), глаголы в повелительном наклонении (*стойте!, позвольте!, бросьте!* и др.), вставляет иронические «повторы» и заботится о меткости и экспрессии своих аргументов. Такая характеристика существа диалога помогает понять лингвистические особенности не только спора, но и ряда диалогов, так или иначе включающих в себя борьбу индивидов за свои интересы и мнения. Само по себе несогласие мнений, в реальной жизни проявляющееся в форме борьбы мнений, есть интеллектуальный акт, который, однако, в жизни часто имеет эмоциональную и волевую окраску. В свою очередь интеллектуальный акт согласия в реальной жизни часто связан с эмоциями одобрения, восхищения и т. д., а в реальной жизни частичное несогласие и согласие часто бывают тесно переплетены друг с другом. Прослеживание лингвистической структуры разновидностей диалога предполагает выделение той или иной его разновидности в чистом и развернутом состоянии.

В нашу задачу войдет: 1) проследить кратко и суммарно общий характер той или иной разновидности диалога, что позволит также поставить вопрос о «синтаксической модели» каждой исследуемой разновидности диалога, данного в общем речевом потоке; 2) осветить явления лексико-синтаксического параллелизма в диалоге; 3) выявить, существует ли некоторая обусловленность чередования кратких и пространных реплик; 4) проследить характер сцепления реплик: формы прерывания, подхватывания, досказывания, а также 5) роль союзов в сцеплении реплик, 6) выяснить соотношение интеллектуальной основы высказывания и эмоционально-экспрессивного момента; попутно будет затронут вопрос о тоне реплики в связи с характером данного персонажа. Прослеживание вышеупомянутых черт будет производиться на примерах, наиболее характерных для той или иной разновидности диалога.

1. Остановимся на двух мастерски изображенных спорах, каждый из которых развертывается вокруг одной темы: спор Базарова с П. П. Кирсановым в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и спор между Робеспьером, Дантоном и Маратом в романе В. Гюго «Девяносто третий год». Между этими двумя спорами, идейными по своему содержа-

---

[5] См., например: Т. Г. Винокур, указ. соч.; М. Л. Михлина, Из наблюдений над синтаксисом диалогической речи. Канд. диссерт., Л., 1955; Ю. Южовский, указ. соч., и анализы М. В. Борисовой споров в диалогах Горького.

[6] См.: Г. О. Винокур, Избр. работы по русскому языку, М., 1959, стр. 260. В. В. Виноградов употребляет термин «система реплик» и «диалогическое объединение» в отношении композиционного единства драмы (см. его «О языке художественной литературы», стр. 160—161).

[7] См.: G. Marouzeau, Précis de stylistique française, Paris, 1959, стр. 208; Ch. Bally, Le langage et la vie, Paris, 1926, стр. 30; причем это свое понимание диалога Ш. Балли распространяет на речь в целом: «если внимательно приглядеться к языку, то речь может быть уподоблена оружию, которым каждый из собеседников пользуется в активных целях, имея в виду внушить собеседнику свою личную мысль» (там же).

[8] G. Marouzeau, указ. соч., стр. 208.

нию, есть та разница, что герои Гюго объединены общей идеей защиты революции, тогда как герои Тургенева в отношении основной своей темы русского народа представляют антагонистические мнения.

В том и другом случае картины спора дополняются повествованием от автора, описывающим поведение участников диалога, например: «Холодная усмешка искривила губы Базарова» (в связи с указанием Павла Петровича на общину как на нечто непреложное); «Павел Петрович слегка прищурился» (в связи с повторным утверждением Базарова: «И это называется нигилизмом»); «Робеспьер положил холодную ладонь на пылавшую, как в лихорадке, руку Дантона» (когда Дантон, возражая, вскочил со стула); «По ляжке Марата пробежала первическая дрожь, его знаменитая судорога» (в ответ на слова Дантона: «Вы что же это насмехаетесь, Марат?»).

В споре Базарова с П. П. Кирсановым ярко представлен не только синтаксический параллелизм, который Т. Г. Винокур считает «характернейшим свойством диалога» [9], но и лексико-синтаксический параллелизм реплик в связи с повторами; при этом часто интонационный строй таких повторов претерпевает существенные изменения в устах повторяющего собеседника. Например:

[Павел Петрович] — ... вы во всем этом убедились и решили сами ни за что серьезно не приниматься.

— И решились ни за что не приниматься,— угрюмо повторил Базаров.

[Павел Петрович] — А только ругаться?

[Базаров] — И ругаться.

[Павел Петрович] — И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом,— повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью (гл. X).

Явления синтаксического параллелизма нарушаются введением пространной реплики одного из собеседников; более или менее пространные реплики (условно называемые нами монологами) несколько раз повторяются в устах П. П. Кирсанова, склонный к лаконизму Базаров прибегает к ним всего один раз. В то же время монологические выступления (той или иной длины) составляют неотъемлемый компонент идейного спора, который не может быть проведен в тоне одних коротких реплик [10], хотя, как это уже отмечалось в литературе, диалогу вообще свойственна склонность к лаконизму.

Тенденция, представляющая иной лингво-психологический акт, выражена прерываниями, которыми изобилует спор Базарова с П. П. Кирсановым. Например:

[Павел Петрович] — Помилуйте — логика истории требует ..

[Базаров] — Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся.

[Павел Петрович] — Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным...

— Опять иностранное слово! — перебил Базаров.

[Павел Петрович] — Со многими из ваших обличений и я соглашаюсь, но..

[Базаров] — А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что... (гл. X).

Связь реплик в рассматриваемом диалоге осуществляется посредством союза *а*, который на протяжении всего диалога выступает то в значении противоположения, то в значении подтверждения собственной позиции наперекор позиции партнера:

[Павел Петрович] — Стало быть вы идете против своего народа?

[Базаров] — А хоть бы и так?....Вы и говорить-то с ним не умеете.

[Павел Петрович] — А вы говорите с ним и презираете его в то же время (гл. X).

Другой формой сцепления реплик является своеобразное «подхватывание» [11] — ироническое в приведенном ниже примере:

[Базаров] — Переберите все наши сословия, да подумайте хорошенько над каждым, а мы пока с Аркадием будем...

— Надо всем глумиться, — подхватил Павел Петрович.

— Нет, лягушек резать. Пойдем Аркадий; до свидания, господа! (гл. X).

Значительное место в споре занимают высказывания экспрессивно-эмоционального порядка; они примешиваются — чаще всего в устах Павла Петровича — к идейному обмену мнений, не являясь собственным компонентом спора как такового. Самый повод к спору дало экспрессивно-пейоративное обозначение: Базаров назвал «аристократишкой» одного из соседних помещиков, причем синонимом к «аристократишке» в устах Базарова явилось слово «дрянь»; Павел Петрович счел нужным подчеркнуть, что с точки зрения Базарова «аристократишко» и «аристократ» одно и то же.

---

[9] Т. Г. Винокур, Канд. диссерт., стр. 218—234. См. также: М. Д. Михлина, указ. соч., стр. 202—209.

[10] Важный компонент идейного спора — взволнованный монолог Сатина (IV дейст. «На дне» Горького); см. идейный монолог Мак-Грегора на две страницы в финальном споре с Эссексом («Дипломат» Олдриджа).

[11] Различные виды «подхватываний» проанализированы М. Л. Михлиной (указ. соч., стр. 184 и сл.).

Спор эмоционально окрашивается тоном спорящих. Тон реплик Базарова самоуверенно-спокойный, аргументация категорическая по содержанию и лаконичная по форме. Тон реплик Павла Петровича — нервно-раздраженный с примесью иронии. Павел Петрович два раза повторяет в восклицательной форме иронически-возмущенно внутри своей реплики слово «сила», возражая на утверждение своего племянника «Мы ломаем, потому что мы сила» [12]. Промежуточные реплики-вставки Аркадия отличаются более мягким тоном. Бурный спор получил своеобразный «отбой» в коротком обмене мнений двух братьев, прерванном появлением Фенички. После этого, подобного разбушевавшемуся морю разговора словно тихий всплеск волны прозвучала фраза Фенички: «Вам больше чаю не угодно?».

Те же черты диалога можно проследить в споре между Робеспьером, Дантоном и Маратом. Лексико-синтаксический параллелизм представлен в начале разговора короткими выразительными репликами, которые каждый вставляет для опровержения мнения противника.

[Дантон] — Повторяю, Робеспьер, враг за пределами страны.

[Робеспьер] — Повторяю, Дантон, враг внутри страны.

[Марат] — Успокойтесь, враг повсюду, и вы погибли (ч. II, кн. II, гл. II).

Другой пример синтаксического параллелизма можно привести в диалоге Робеспьера и Марата, где представлены, однако, скорее нападки героев друг на друга, чем обмен политическими мнениями:

— Во время сентябрьских событий вы просто спрятались, Робеспьер.

— А вы, Марат, слишком уж старались быть на виду.

— Робеспьер, вы вывернули на пол красный колпак.

— Вывернул, когда его надел изменник. То, что украшает Дюмурье, марает Робеспьера (ч. II, кн. II, гл. II).

Примеры прерываний встречаются в этом диалоге несколько раз:

[Марат]... Опасность эта в отсутствии единства.. опасность в разброде умов и в анархии воли...

— Анархии? — прервал его Дантон.— А откуда идет анархия, как не от вас? (ч. II, кн. II, гл. II).

[Дантон] — ...спрашивайте их (отчеты о действиях Дантона.— *А. С.*) ...у повергнутого трона, у гильотины, у этой вдовы...

Марат прервал Дантона: — Гильотина не вдова, а девица, на нее ложатся, но ее не оплодотворяют (там же).

Наблюдающиеся здесь подхватывания иногда имеют характер «досказывания»:

[Робеспьер] — ...Отныне у нее (Вандеи.— *А. С.*) будет единый командир...

— Единый разбойник — буркнул Дантон (там же).

[Робеспьер] — В Ренне имеется миллион патронов и пятьдесят полевых орудий.

— Которые они и зацапают, — пробурчал Дантон (там же).

Союз *и* (как и в диалоге Базарова и Кирсанова) используется для соединения и взаимосвязи реплик между собой; во французском тексте ему соответствует союз *et*, который выражает как присоединение, скорее — добавление к предыдущим аргументам, так и противоположение мнений, по существу присущее спору. Для анализируемого диалога (совсем не обязательно для всякого спора) характерны очень частые обращения партнеров друг к другу по имени, они сцепляют и ритмизируют реплики. Так, Марат в одном отрывке разговора на полстраницы шесть раз повторяет обращение *Робеспьер*.

Монологи титанов революции насыщены интеллектуальными моментами, каждый из партнеров приводит множество конкретных доводов и аргументов в защиту своей позиции; язык этих монологов, иногда довольно длинных, ярко публицистичен. Более холодным и спокойным языком говорит Робеспьер; монологи Марата и Дантона отличаются образностью речи и стремительным синтаксисом.

На фоне идейной дискуссии особо выделяются экспрессивные нападки спорящих друг на друга; эти нападки, не имея никакого отношения к существу спора, рельефно оттеняют характеры спорящих, как и весь диалог.

Марат иронически замечает: «Робеспьер воображает, что история отметит оливковый камзол, в котором его видело Учредительное собрание, и небесно-голубой фрак, которым он пленяет Конвент. Да у него по всей спальне развешаны его собственные портреты»... — «Зато ваши портреты, Марат, валяются во всех сточных канавах...» (кн. II, гл. II).

Три раза Робеспьер прерывает речь Марата угрожающим: *Марат!*

Своеобразный «отбой» бурному спору дан Гюго во фразе: «Разговор умолк; каждый из трех титанов погрузился в свои думы».

---

[12] О повторах как эмоциональной реакции на предыдущую реплику в значении иронического отрицания, см.: М. Л. Михлина, указ. соч., стр. 118, 120, 121; см. также: Н. Ю. Шведова, указ. соч.

2. Спор может протекать в атмосфере некоторых постоянных факторов, определяющих характер его протекания; таковы, например, дружеские и родственные отношения между спорящими[13].

Приведем пример спора между друзьями (или близкими родственниками) разного темперамента и характера. Таковы споры-беседы между Берсеневым и Шубиным в романе Тургенева «Накануне». Берсенев говорит спокойным тоном, сравнительно малоэмоциональным языком. Шубин атакует Берсенева шутками, неожиданными сопоставлениями, ни разу не впав в резкий тон.

Можно остановиться и на дружеских беседах, носящих характер спора, поскольку в них проявляется в известной мере коллизия характеров и убеждений,— Андрея Болконского с Пьером, Штольца с Обломовым. Беседы-споры между Андреем и Пьером проходят в форме пространных реплик, вообще характерных для идейного спора, без примеси резкостей, в атмосфере известного морального объединения. Пьер вслушивается с вниманием и интересом в аргументацию своего друга, живо откликаясь на нее короткими репликами.

3. Другой вид диалога представляет собой объяснение конфиденциального порядка, когда один индивид испытывает другого путем настойчивых и тревожных вопросов, пытаясь узнать у него нечто интересное и важное для себя. Момент борьбы, который в диалоге-споре выражается прерываниями и подхватыванием, здесь в силу психологических обстоятельств передается иронически переспросами, как, например, в коротеньком объяснении из романа К. Федина «Необыкновенное лето»:

[Цветухин] — Мы должны поговорить. Положение, которое создалось... которое создала ты своим поведением...

[Аночка] — Поведением? Я нехорошо себя веду?

[Цветухин] — Ты, думаю, в состоянии решить — хорошо это или нет, если ты вызываешь нездоровый интерес... нездоровое любопытство всей труппы.

[Аночка] — К себе? Вызываю любопытство к себе? И притом всей труппы? И еще нездоровое? (гл. 37).

Два длинных разговора между братьями Тибо в исправительной колонии носят ярко выраженный характер диалогов-объяснений, которым так или иначе присущ момент борьбы, хотя самый тон объяснений весьма сдержанный. Антуан выступает в роли испытывающего, Жак в роли испытуемого. Один из этих диалогов заканчивается монологической речью Жака, взволнованным признанием; вообще монологические признания могут быть характерным финалом диалога-объяснения (так, например, заканчивается разговор Иветты с матерью в повести Мопассана «Иветта», после того как дочери открылись глаза на поведение матери; диалог Иветты и Сервинья, построенный, кстати, на синтаксическом параллелизме лаконичных реплик[14]).

Диалогу-объяснению обычно присущ момент умалчивания со стороны одного из собеседников, который был бы бессмыслен в диалоге-споре. В тексте другого диалога братьев Тибо на вопросы Антуана «pourquoi?» и «pour quelle raison?» Жак отвечает: «parce-que» («потому»). В первом диалоге-объяснении Алексея Александровича Каренина и Анны (ч. II, IX) ответы Анны представляли из себя, по выражению Толстого, «непроницаемую стену какого-то веселого недоумения» — сплошное замалчивание фактов, интересующих Алексея Александровича. Второй их диалог (ч. II, XXIX) имеет своим финалом признание Анны[15], которое начинается словами «Нет, вы не ошиблись» и которое сразу снимает тон ее предыдущих реплик, построенных на насмешливых переспросах, на утверждениях, что она «ничего не понимает», на отводах в сторону: «право, пора спать»[16] и т. д. Отметим, что вопросы и переспросы с повторами (насмешливые тревожные, возмущенные) вообще очень характерны для диалогов-объяснений, особенно для начального их этапа. Пример из объяснения Каренина с Анной.

— Анна, мне нужно поговорить с тобой.

— Со мной? Что же это такое? О чем это? А лучше бы спать.

---

[13] О споре такого типа И. Эренбург писал: «...споры походили скорее на поиск себя вслух, чем на словесные поединки» («Люди, годы, жизнь», «Новый мир», 1965, 3, стр. 86).

[14] Приведем выдержки из разговора Иветты с Сервинья:

[Сервинья]—...я все сказал вам вчера.

— Что вы сказали? Я забыла.

— Сказал, что люблю вас.— Любите?

— Да, люблю. — Какой вздор!

— Клянусь вам.— Ну что ж, докажите.

— Я только этого и хочу.

[15] Существуют, разумеется, диалоги-объяснения, которые начинаются с ошеломляющего признания одного из собеседников, на них мы останавливать внимание читателя не будем.

[16] Этот насмешливый отвод Анны имеет параллель в объяснении Домби и Эдит: «Миссис Домби, разрешите мне поговорить с вами.— Завтра, отозвалась она» (т. II, гл. 40).

— Анна, я должен предостеречь тебя.
— Предостеречь? В чем?
— Анна, ты ли это?
— Да что же это такое? Что тебе от меня надо? (ч. II, IX).

В первом объяснении Домби с женой нет собственно переспросов со стороны Эдит, налицо восклицательные повторы, выражающие возмущение.

[Домби] — Теперь я этого требую.
[Эдит] — *Вы* требуете! От *меня*! (т. II, гл. 40).

Как бы ни отличались сюжетно и стилистически друг от друга приведенные диалоги-объяснения, их общая форма контрастирует семантически и лингвистически со спором: конфиденциальное объяснение эмоционально ярко окрашено; формы прерывания, подхватывания и роль союза *а* (как и других) для них не столь характерны; эмоциональные повторы интенсивнее проявлены, чем в спорах; расспросы и переспросы, семантически и стилистически отличают объяснения от споров.

4. Обратимся к тому виду диалога, который можно характеризовать как диалог-ссору и который может быть изучаем по литературно-художественным произведениям в его очень разнообразных лингвистических аспектах. Как правило, момент логической аргументации, свойственный спору, в диалоге-ссоре уступает место выпадам эмоционального порядка, резким нареканиям его участников друг на друга; диалог-ссора отличается обычно быстрыми темпами (особенно в кульминации). ему не свойственны промежуточные монологические выступления партнеров. Детский спор почти всегда носит характер детской ссоры (по своей специфике исключающей момент резких нареканий спорящих друг на друга) и легко заканчивается примирением; см. пример из повести Л. Н. Толстого «Детство, отрочество, юность» (глава «Старший брат») — Николенька *нечаянно разбил флакончик* старшего брата:

— Кто тебя просил трогать мои вещи?
...А где флакончик? Непременно ты...
— Нечаянно уронил; он разбился, что за беда?

Диалог в дальнейшем переходит в ссору.

—.. разбил, да еще и смеется, этакой несносный *мальчишка*!
— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.
— Не намерен с тобой браниться,— сказал Володя, слегка отталкивая меня; — убирайся.
— Не толкайся!
— Убирайся!
— Я тебе говорю, не толкайся!

Под конец Володя восклицает — «Отвратительный мальчишка!» ...
Ссора «навек» закончилась примирением.

В синтаксическом параллелизме коротких реплик-нападений друг на друга выдержана ссора Тома Сойера с незнакомым мальчиком-франтом, старшим по возрасту:

[Том] — Хочешь, поколочу?
— Ну-ка попробуй! Где тебе!
— Сказал, что поколочу, значит могу.
— А вот и не можешь.
— Могу.
— Не можешь!
— Могу.
— Не можешь! (гл. I).

Трудно провести резкую грань между диалогом-ссорой и диалогом-спором собственно-бытовым, житейским (последний выше не разбирался, ибо, по нашему мнению, он не является спором в собственном смысле слова, предполагающим борьбу точек зрения на определенный вопрос). Житейские споры представляют собой весьма распространенное явление, в частности неудовлетворенная просьба может вызвать такой «спор».

Лингвистически очень интересный житейский «спор» с исключительной художественной силой изображен Гоголем в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (гл. II); этот спор переходит в ссору, как только Иван Иванович сказал: «Вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружьем, как *дурень* с *писанною торбою*» и получил в ответ: «А вы, Иван Иванович, настоящий *гусак*».

Диалогу-ссоре в его кульминации может предшествовать целая серия диалогов, свидетельствующая о нарастающем разладе между людьми, связанными узами любви и дружбы. Серией таких диалогов, в которых постепенно нарастают нотки эмоционального разлада между Анной и Вронским, подготовлена кульминация их диалога-ссоры:

— Да, кстати,— сказал он в то время, как она была уже в дверях,— завтра мы едем решительно? Не правда ли?
— Вы, но не я,— сказала она, оборачиваясь к нему.
— Анна, эдак невозможно жить...
— Вы, но не я,— повторила она.
— Это становится невыносимо.
— Вы... вы раскаетесь в этом,— сказала она и вышла (ч. 7, 26).

Все приведенные выше примеры диалогов-споров, диалогов-объяснений, диалогов-ссор в той или иной мере содержат момент борьбы мнений и чувств, содержат экспрессивно-выраженное несогласие, отрицательную оценку реплик собеседника.

5. Нельзя, разумеется, считать, как уже было указано, что диалогу по существу присущ момент борьбы мнений, склонностей, настроений, момент нажима на чужую волю и чужое мнение. В реальной жизни диалог часто имеет унисонный характер, когда разговор происходит в объединяющей собеседников атмосфере общих воспоминаний или впечатлений. Примеры развернутого унисонного диалога можно найти в «Войне и мире» Л. Н. Толстого в разговорах Наташи Ростовой и ее старшего брата, где перекликаются общие воспоминания, мнения, впечатления; один собеседник охотно и часто и эмоциональной форме подтверждает и дополняет высказывания другого.

— Бывает с тобой,— сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной,— бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет,— ничего, что все, что хорошее, то было? И не то, что скучно, а грустно?

— Еще как! сказал он.

Еще как. Еще бы — экспрессивное выражение полного согласия в разговорной речи. Наташа подхватывает слова брата: «Ах, я это знаю. Знаю, знаю, я еще маленькая была, так со мной это было». *Знаю, знаю* — экспрессивно-выраженное согласие на основе пережитого; *помнишь*? лейтмотивное слово в дальнейшем разговоре.

— А помнишь ты,— сказала Наташа с задумчивой улыбкой,... дяденька нас позвал в кабинет... мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап,— докончил Николенька с радостной улыбкой,— как же не помнить? (т. II, ч. IV, X).

В этом диалоге Наташи и Николая союз *а* используется не для противоположения, и брат не прерывает сестру, а продолжает за нее начатую ею фразу, как и Наташа дополняет слова брата.

Приведем развернутый диалог-унисон (вместе с повествованием от автора) из романа А. Доде «Малыш» (ч. II, гл. IV) — перед сном Даниель обменивается с братом Жаком воспоминаниями:

— А помнишь, Жак, нашу кроватку на улице Лантерн? Помнишь, как мы, ложась спать, потихоньку читали романы, и отец громко кричал нам из своей комнаты: «Сейчас же погасите свет! А то я встану!»

Жак помнит это и еще многое другое... Мы переходим от воспоминаний к воспоминанию, и бьет уже полночь, а мы еще не думаем о сне.

— Ну, довольно! Спокойной ночи! — говорит Жак решительно.

Но через пять минут я слышу, как он задыхается от смеха под своим одеялом.

— Чему ты, Жак!

— Я вспомнил аббата Мику... помнишь аббата Мику из церковной школы?

— Ну еще бы!

И мы снова смеемся, смеемся... и болтаем, болтаем без конца... На этот раз я оказываюсь разумнее брата:

— Пора спать! — говорю я.

А минуту спустя опять начинаю как ни в чем не бывало:

— А Рыжик, Жак! Там на фабрике... Помнишь ты его?

В то же время отметим, что для диалога-унисона в широком смысле слова не обязателен момент «подхватывания»; он не непременно построен на воспоминаниях и восприятиях близких людей — «унисон мнений и чувств» может звучать в речах людей доброй воли, оценивающих то или иное событие мирового значения. Относительное однообразие диалога-унисона в сравнении, например, с диалогом-спором оправдывает известный афоризм Б. Шоу: «есть 50 способов сказать „да" и 500 способов сказать „нет"».

6. Выделенные М. Б. Борисовой типы диалогов: парный диалог, параллельный диалог, полилог[17] могут быть применены к тем семантико-синтаксическим видам диалога, которые выявлялись выше. Остановимся всего лишь на двух примерах — прежде всего, это трехплановый диалог из романа Л. Н. Толстого «Воскресение» (ч. I, гл. 43), где основной диалог — объяснение Нехлюдова с Катюшей Масловой — резко контрастирует с двумя параллельными диалогами, на фоне которых он развивается.

— Вы ко мне? сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. — Я хотел видеть ..— Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного.— Я хотел видеть вас... Я...	Основной диалог
— Ты мне зубы-то не заговаривай,— кричал подле него оборвавец.— Брала или не брала?	1-й параллельный диалог
— Говорят тебе, помирает, чего ж еще? — кричал кто-то с другой стороны.	2-й параллельный диалог

[17] См.: М. Б. Борисова, О типах диалога в пьесе Горького «Враги», стр. 116.

Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться

— Не слышать, что говорите,— прокричала она, щурясь и все больше и больше морща лоб. } Основной диалог

— Я пришел....

«Да, я делаю то, что должно, я каюсь»,— подумал Нехлюдов

— Я говорю: зачем встреваешь куда не должно... — кричали с одной стороны.

— Верь ты богу, знать не знаю,— кричала арестантка с другой стороны. } Параллельный диалог

Случай полилога-спора ярко представлен застольным разговором в философской повести «Шагреневая кожа», который сам Бальзак характеризует как «яростный и шутовской спор». Чаще же острый антагонистический спор бывает парным, как и конфиденциальное объяснение и диалог-ссора; диалог-унисон может быть как парным, так и полилогом.

Семантико-синтаксическая контрастность изучаемых типов диалогов как «надфразовых единств»[18], которая ясно видна из прилагаемой ниже таблицы, подтверждает выдвинутую Ф. де Соссюром тезу о соотносительности (контрастности — opposition) языковых средств. Но так как диалог — в основном явление живой речи[19], то в ее потоке «надфразовые единства» не имеют таких точных границ, как факты языковые, грамматические. Добавим, что в настоящее время назрела необходимость изучения диалога как явления живой устной речи непосредственно в потоке речи при использовании магнитофонной записи.

Типы диалогов	Содержание	Характерные черты лексико-синтаксического строения	Способ ведения	Концовка
Диалог-спор	При экспрессивной окрашенности преобладает логический момент	1. Параллелизм реплик 2. Включение монологических реплик	Прерывание собеседника или, наоборот, подхватывание мыслей собеседника	Возможна реплика лица, не участвовавшего в споре, но разрешающего ситуацию
Диалог-объяснение	Большая степень экспрессивной окрашенности при слабее выраженном логическом моменте	1. Параллелизм реплик в виде переспросов 2. Не включается монологическая речь	1. Прерывание и подхватывание не характерны 2. Приемы отвода реплик	Диалог может быть закончен и разрешен откровенным признанием одного из участников (иногда монологом)
Диалог-ссора	1. Весьма слабо выраженный логический момент 2. Высшая степень экспрессивности	1. Отсутствие монологических реплик 2. Возможен лексико-синтаксический параллелизм	1. Отсутствие подхватывания 2. Отсутствие приемов отвода реплик	Разрыв отношений, иногда примирение, которое как концовка может быть не связано с содержанием диалога
Диалог-унисон	Логические и экспрессивные моменты иррелевантны	1. Возможен лексико-синтаксический параллелизм 2. Монологические реплики иррелевантны	Встречаются прерывания и подхватывания (досказывания)	Самая ситуация и содержание диалога-унисона не дают результативного исхода

[18] Ср. термин «сверхфразовые единства» — О. С. Ахманова, Современные синтаксические теории, М., 1963, стр. 105; В. В. Виноградов, Синтаксическая концепция акад. Л. А. Булаховского, «Р. яз. в шк.», 1965, 4.

[19] См. об этом: П. С. Кузнецов, Т. П. Ломтев, О языке и речи, «Вестник МГУ», 1961, 4.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

О. С. АХМАНОВА, С. Е. НИКИТИНА

О НЕКОТОРЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ СОСТАВЛЕНИЯ ДЕСКРИПТОРНЫХ ЯЗЫКОВ

Среди важнейших проблем современной науки особенно выделяется проблема создания систем накопления и передачи научных знаний — Knowledge availability systems (KAS), в которую задача поиска информации входит как существенная составная часть. Как можно видеть из обширной литературы, посвященной различным аспектам этой проблемы [1], последняя имеет явно «интердисциплинарный» характер: в ее изучении с самого начала принимают участие представители разных наук. Приблизительно до 1960 г. ученым представлялось, что в теоретическом плане решение вопроса продвинуто достаточно далеко и что уже можно переходить к практической реализации и технической эксплуатации создаваемых информационных языков. Однако самые последние годы показали, что несмотря на огромное количество частных исследований и усилия многочисленных коллективов, оптимистические выводы были преждевременными. Интересны в этом смысле высказывания А. Кента, пионера и выдающегося специалиста в области информационного поиска. Участвуя в обсуждении плана работы по созданию KAS, организованном в связи с созданием новой группы при Питтсбургском университете, Кент перечислил те неблагоприятные аспекты проводившейся прежде работы, которые не дали возможности достичь сколько-нибудь ощутимых результатов: 1) неспособность исследователей трезво подойти к поставленной проблеме, не поддаваясь эмоциям «первооткрывательства»; 2) преждевременные попытки переводить исследовательскую деятельность на коммерческую основу; 3) взаимно противоречащие и взаимоисключающие претензии разных исследовательских коллективов; 4) отсутствие прочной общенаучной основы, приводившее к ошибкам как в организации работы, так и в развитии научных методов информационного поиска [2].

Совершенно ясно, что задачи, стоящие перед исследователями KAS, не могут ограничиваться лишь констатацией неудовлетворительности создавшегося положения и разработкой планов дальнейшей организации работ. Самым важным для данного этапа является выяснение теоретических основ всего построения и, в первую очередь, выяснение того, какие категории и понятия являются конституирующими для данной области знания.

Как известно, научная информация обычно воспринимается и понимается прежде всего как нечто, что можно назвать «указательной информацией» (сведениями библиографического характера) [3]; поиску и систематизации именно таких сведений посвящается работа всех библиотек, информационных бюллетеней и т. д. Естественно, что в тех случаях, когда исследователь понимает научную информацию т о л ь к о в этом смысле, его усилия направляются на достижение оптимальных предметных классификаций — вроде, например, УДК (Универсальной десятичной классификации) — при помощи которых правильно разносят и находят литературу механическим способом, т. е. способом, не требующим от разносящего или осуществляющего поиск ни специальных знаний, ни интуиции.

Совершенно ясно, однако, что предметными классификациями, удовлетворяющими, в принципе, обработку указательной информации, вопрос не исчерпывается. Проблема научной информации непременно предполагает также оптимализацию

[1] См., например, статьи, опубликованные в реферативном журнале «Научно-техническая информация» за последние два-три года; см. также библиографию в кн.: П. Н. Д е н и с о в. Принципы моделирования языка, [М.], 1965.

[2] Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что перечисленные Кентом четыре основных фактора, препятствовавшие до сих пор успешной разработке KAS как народнохозяйственной проблемы, типичны не только для США.

[3] Д. Г. Лахути предлагает термин «документографический поиск».

способов получения «содержательной информации», т. е. способов поиска, направленного на выяснение не только того, кто и о чем сказал, но и что сказал об этом. Как известно, именно проблема рационализации поиска содержательной информации представляет основную трудность научного реферирования, соответственно — создания реферативной периодики, являющейся до сих пор практически единственным общедоступным источником текущих сведений.

•

Одним из значительных достижений в рассматриваемой области знания является введение в общее употребление термина «дескриптор». Дескриптор есть знак для выражения понятия, имеющего наибольшее значение для раскрытия существа описываемого явления, его научной интерпретации и классификации.

Между дескрипторами и словами научного текста нет прямых и взаимно однозначных соответствий не только и не столько потому, что в дескрипторном языке, как и в информационно-логическом, устраняется омонимия и, по возможности, синонимия, но и потому, что по своему назначению — записывать в компактной форме содержание рассматриваемого «массива» — дескрипторный язык не может обладать словарем, совпадающим со словарем текста.

Обычно термин «дескриптор» употребляется лишь для обозначения того, что точнее следовало бы назвать — «номенклатурным» дескриптором, т. е. дескриптором, «называющим» (обозначающим) предмет, свойство, процесс «статически», как отвлеченно данный. Поэтому естественно, что созданные и создаваемые дескрипторные словари содержат в себе главным образом иерархически упорядоченный (или неупорядоченный) набор номенклатурных дескрипторов. Нередко дескрипторный словарь предстает как словарь предметных рубрик, по отношению к которым термины текста являются понятиями видовыми [4]. Наиболее приемлемыми из имеющихся подходов представляются попытки трактовать номенклатурные дескрипторы как классы слов, словосочетания или даже целые высказывания, эквивалентные с точки зрения ответа на данный информационный запрос и обладающие достаточно большой описывающей силой, и, следовательно, связанные семантически со многими словами текста [5]. Значительная часть словаря номенклатурных дескрипторов естественно строится на терминологии данной области знания, поскольку термины являются наиболее информативной частью текстов. Однако строгое, взаимно однозначное соответствие здесь недостижимо, что вызвано, во-первых, синонимией терминов, частично происходящей от неупорядоченности терминологии, и, во-вторых, характером требований, предъявляемых к ответу на информационный запрос. Нельзя в этой связи не обратить внимания также и на то, что в настоящее время лингвистика не располагает еще точными методами определения дескриптороспособности единиц текста; в частности — описательную силу термина оказывается невозможным связывать с его частотностью, почему использование статистического критерия для выделения терминов, могущих выступать в роли дескриптора, едва ли целесообразно. Весьма многообещающим является распространенное теперь понятие «семантических множителей». Есть все основания думать, что разработка тех или иных «классов эквивалентностей» будет го-

---

[4] Таков, например, дескрипторный словарь по технологии производства кальцинированной соды, составленный сотрудниками НИИТЭХИМ'а.

[5] В качестве примера можно сослаться на работу: Э. С. Бернштейн, Формализованный язык и критерий смыслового соответствия информационно-поисковой системы «Пусто-Непусто-4», «Научно-техническая информация», 1963, 12. Отмечая, что термин «дескриптор» не имеет общепринятого определения, автор предлагает следующую процедуру. Слова естественного языка, отбираемые для построения формализованного языка информационно-поисковой системы (ИПС), объединяются в «классы эквивалентностей», т. е. в группы слов, эквивалентных по смыслу в пределах данной ИПС. При этом «эквивалентность по смыслу» определяется следующим образом. Если некоторое слово (соответственно — часть слова или группа слов) в любой части информационного массива, обслуживаемого данной ИПС, может быть заменено другим словом так, что на любой разумный запрос вопрос о выдаче информации решается так же, как и до замены, то такие слова считаются эквивалентными по смыслу в сфере действия ИПС. Например, слова «усовершенствование», «модернизация», «новый», «новинка», «патент», «патентуется», «предлагается» и т. п. могут рассматриваться как эквивалентные по смыслу в пределах действия данной системы. Заметим, что способ условного обозначения каждого класса эквивалентностей определяется свойствами данной поисковой системы; в частности, большую роль в выборе того или другого знака (символа) будет, по-видимому, играть степень механизации поиска и соответственно — доля участия в нем человека. На какой-то стадии механизации термином «дескриптор» можно обозначать просто то число, которое поставлено в соответствии данному классу эквивалентностей.

раздо более фундированной, если ей будет предшествовать выделение некоторой совокупности семантических характеристик, или «множителей», сочетания которых по заданным правилам будут адекватны первоначальным единицам [6]. Думается, что дальнейшая разработка вопроса о «семантических множителях» должна будет включить в сферу своих разысканий случаи (особенно важные для гуманитарных наук), когда «синонимические» термины, называя одно и то же явление, выделяют в нем разные аспекты, указывают на него в разных ракурсах, в свете разных воззрений. Так, например, следующие пары противопоставленных лингвистических терминов: язык — речь, система — процесс, парадигма — синтагма, эмика — этика и т. п.— на первый взгляд легко покрываются всего двумя «дескрипторами». Однако такое решение не выявило бы существенного различия между ними — вхождения их в различные концептуальные системы.

Среди причин, которые мешали и мешают достижению ощутимых результатов в области KAS (в смысле внедрения в повседневную жизненную практику), не последнее место должно быть отведено тому обстоятельству, что проблема искусственно и априорно ограничивается, как правило, лишь поисками того, что было выше обозначено термином «номенклатурные» дескрипторы. Постараемся пояснить это на примерах.

Пример 1. Предположим, что требуется дать дескрипторное описание аннотации по теме «Разработка рациональной конструкции шахтной известковообжигательной печи» при помощи существующего дескрипторного словаря по технологии производства кальцинированной соды. В своем, ставшем традиционным, виде соотношение между аннотацией и ее дескрипторным описанием будет следующим:

Аннотация: 1) конструкция шахты печи должна быть а) в зоне обжига цилиндрической, диаметром, обеспечивающим заданную производительность печи; б) в зонах рекуперации — конической, позволяющей работать загрузными и выгрузными механизмами меньших габаритов; 2) загрузка шахты должна производиться с помощью устройства, снабженного двумя герметическими конусными затворами. Наиболее приемлемым выгрузным механизмом является вращающаяся улитка. Разработаны технические условия к проектному заданию на реконструкцию известковообжигательной печи ДС3.

Дескрипторное описание: 1) печи для обжига. Шахтная печь; 2) оборудование для загрузки и выгрузки; 3) техническая документация.

Сравнение описания с данным дескрипторным описанием показывает, что та часть содержания аннотации, в которой описано, какой должна быть печь и как должна производиться загрузка, не получила отражения в наборе номенклатурных дескрипторов, так как номенклатурные дескрипторы естественно ограничиваются указательной информацией [7].

Пример 2. Предположим, что нужно подвергнуть поисковой процедуре дискуссию по вопросам омонимии [8]. Самый тщательный поиск по данному обширному массиву позволит, по-видимому, выделить не более полудюжины «номенклатурных» единиц: гетерогенные (этимологические, исторические) омонимы; гомогенные (семантические, синхронические) омонимы; морфологическое выражение омонимии (морфологически выраженная омонимия, формально зафиксированная омонимия); лексико-фразеологическое выражение омонимии; орфографическое выражение омонимии; последние три вида омонимии могут, по-видимому, объединиться под одним «дескриптором» «открытой» (overt) в отличие от «невыраженной», или «скрытой» омонимии.

Как бы не был решен вопрос об обработке такого рода «указательной» информации в отношении данного «массива», совершенно ясно одно: содержательная его информация таким образом не будет найдена и раскрыта. Цель дискуссии состояла не в том, чтобы выделить и определить приведенные выше «номенклатурные» единицы (они уже очень давно были выделены и объяснены). Основным содержанием дискуссии явилось большое количество и разнообразие разного рода модальных построений, всевозможные «есть», «нет» и т. п., причем особенно в плане волюнтативных и дезидеративных косвенно-модальных утверждений.

Из сказанного следует, что для того чтобы приблизиться к рациональной подаче информации, содержащейся в данном массиве, необходимо найти способ модального описания при помощи «модальных», или «предикативных» дескрипторов. Что касается

---

[6] Конкретные способы выделения семантических множителей весьма подробно описаны в кн.: J. W. Perry, A. Kent, Tools for machine literature searching, New York, 1958. См. также: П. Н. Денисов, указ. соч.

[7] Сказанное не всегда и не обязательно надо понимать буквально. Нередко даже использование одних номенклатурных дескрипторов дает возможность автоматизировать получение некоторых оценок описываемого текста. Так, например, новизна содержания статьи может частично определяться изменениями в привычном наборе дескрипторов, используемых при описании статей по данному вопросу.

[8] См. об этой дискуссии: «Лексикографический сборник», М., 4, 1960.

индикативной модальности, то следующая картина могла бы обеспечить не только необходимую конденсацию материала, но и достаточное его содержательное освещение:

1. Я только гетерогенная омонимия — 3 участника дискуссии
2. Я только гомогенная омонимия — 15 участников дискуссии
   а) при условии открытой морфологически выраженной — 4 участника дискуссии
   б) при условии открытой орфографически выраженной — 1 участник дискуссии
   в) при условии открытой морфологически выраженной (или как побочный критерий) — 10 участников дискуссии

Однако и этот перечень «индикативных» модальностей покроет лишь небольшую часть данного массива, основное содержание которого составляли такие «косвенные модальные» высказывания, как:

1. Необходим полный пересмотр всех существующих методов семантического анализа и описания слов, основанный на сплошном историческом исследовании соответствующих лексических систем.

2. Разные значения одного и того же слова необходимо (нужно, следует, требуется) разграничивать и четко отличать как от созвучных слов-омонимов, так и от разных употреблений одного и того же слова.

3. Различные степени и оттенки семантических отношений должны быть тщательно разграничены как по существу, так и терминологически (при этом следует все время иметь в виду, что язык находится в состоянии непрерывного изменения).

4. Лексикографическую теорию следует тщательно отличать от лексикографической практики. Открытия, которые делает первая, ни в коем случае нельзя механически переносить во вторую и т. п., и т. д.

Приведенные примеры, нарочно взятые из двух совершенно различных областей, достаточно наглядно показывают роль и значение того, что́ здесь в совершенно предварительном плане обозначается термином «предикативный», или «модальный» дескриптор. Недостаточное внимание к этой стороне проблемы, возможно, связано с пренебрежением к тому, что уже давно и твердо установлено языкознанием, а именно к вполне четкому различению, с одной стороны, «значения построения» (constructional meaning), а с другой — «содержания-намерения» (purport) высказывания. Общеизвестно, что для передачи содержательной информации дескрипторный язык должен иметь не только «номенклатуру», но и «грамматику», т. е. набор показателей связей единиц в тексте их функций в нем[8]. Однако до сих пор почти не учитывается то обстоятельство, что передача содержательной информации требует также введения таких «дескрипторов», которые ставили бы данное понятие в определенное отношение к автору речи и действительности.

Во втором из приведенных выше примеров именно факт существования данного явления составил основной предмет обсуждения. Поэтому правомерным представлялось бы говорить о «бытийном дескрипторе» с положительным и отрицательным значением; будучи введен в дескрипторное описание дискуссионных статей, такой «дескриптор» укажет на принципиальное различие в содержании текстов, номенклатурные дескрипторы которых могут совпадать почти полностью.

Не менее очевидна целесообразность введения дескриптора должествования. Как можно было видеть из приведенных примеров, содержание научных статей нередко сводится к разграничению необходимых, рекомендуемых и ненужных компонентов в каком-либо процессе, явлении и т. п. Ясно, что в таких случаях запись содержательной информации невозможна без введения особых способов описания. Нижеследующий перечень «предикативных» (модальных) дескрипторов носит предварительный характер и намечен на чисто эмпирической основе: 1) существование (со значением «да», «нет», или +, —); 2) вероятность: а) высокая степень

[8] Способ представления таких показателей, как известно, может быть самым различным. Чаще всего грамматика предстает как список показателей отношения (для технических текстов — показателей типа «исходный продукт», «конечный продукт» и др.). Подобный набор показателей (role indicators) для текстов по металлургии подробно описан в указанной выше книге Перри и Кента; выбор этот обусловлен конкретностью принятого в книге изложения. В основу грамматики языка дескрипторного типа может также лечь словарь предикатов с достаточно большим количеством мест, определяющих функции дескрипторноспособных слов текста. Одновременно такой словарь явится основой для стандартизации текстов естественного языка. Такой словарь предикатов составляется сейчас в проблемной группе «Оптимализация классификационных языков», организованной при филологическом факультете МГУ.

вероятности (в тексте могут соответствовать слова *весьма возможно, гипотеза, предположение*), б) малая степень вероятности (*не исключена возможность, что...*), в) невозможность; 3) долженствование: а) необходимость, б) рекомендуемость, в) ненужность.

В отличие от номенклатурных дескрипторов и указателей отношения дескрипторов в тексте, специфических для каждой отдельной отрасли знания, модальные (предикативные) дескрипторы, по-видимому, должны быть общими для разных дескрипторных языков.

*

Составление дескрипторного языка теснейшим образом связано с проблемой автоматизации перевода с естественного языка на дескрипторный, т. е. с проблемой нахождения формальных соответствий между различного рода дескрипторами, грамматическими показателями дескрипторного языка и единицами реального текста. Простейшим примером такого соответствия является прилагаемый к дескрипторному словарю предметный указатель, представляющий собой либо перечисление класса эквивалентностей, либо набор видовых понятий, входящих в объем родового дескриптора.

Установление таких соответствий в области номенклатурных дескрипторов может иметь последствия, выходящие за пределы поставленной задачи, а именно — упорядочение терминологии, создание новых терминов. В каждой быстро развивающейся области знания есть существенные для нее понятия, не нашедшие еще терминологического выражения. Так, в лингвистической литературе, посвященной вопросам синтаксиса, есть понятие «частей высказывания, полученных в результате применения последовательного разбиения по методу непосредственно составляющих». При создании дескрипторного языка следовало бы ввести дескриптор, обозначающий это понятие. Тем самым был бы дан толчок созданию нового термина.

Весьма сложной является проблема нахождения соответствий между элементами грамматики дескрипторного языка (например, «местами» предиката) и языковыми показателями этих функций в текстах естественного языка на всех возможных уровнях (лексическом, морфологическом, синтаксическом). Очевидно, что составление дескрипторного языка требует изучения закономерностей научного текста с несколько иных позиций, чем это делается для автоматического анализа текста с целью машинного перевода с одного естественного языка на другой.

Построение общей теории дескрипторных языков как наиболее отчетливо определившихся информационно-логических языков невозможно без привлечения дескрипторных систем, созданных или создаваемых для разных областей науки и техники. Поэтому работа над проблемой «оптимализации классификационных языков», осуществляемая на филологическом факультете МГУ, требует активного участия коллективов и специалитов, занимающихся вопросами составления дескрипторных языков.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1965

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

О НОВЫХ РАБОТАХ ПО ПАРАЛИНГВИСТИКЕ

«Approaches to semiotics. Cultural anthropology. Education. Linguistics. Psychiatry. Psychology». Transactions of the Indiana University conference on paralinguistics and kinesics, ed. by T. A. Sebeok, A. S. Hayes. M. C. Bateson. London — The Hague — Paris, 1964 («Janua linguarum», series maior, XV). 294 стр.

Рецензируемый сборник представляет собой материалы конференции 1962 г., состоявшейся в университете Индиана (Блумингтон, США). Материалы данной конференции озаглавлены «Подходы к семиотике». Характерно, однако, что термин «семиотика» встречается в тексте книги, кажется, не более одного-двух раз, в частности, в предисловии, где семиотика определяется как наука, изучающая модели самых различных коммуникаций (patterned communications in all modalities). Во всех прочих случаях участники конференции предпочитают обходиться более узким термином: таким, как «антропология», «паралингвистика», «паракинесика» или др. Тем не менее можно сказать, что все работы, представленные на конференции, так же как и большое количество тематически близких исследований, посвящены именно семиотике, а конкретно: семиотике человеческого поведения — в самом широком смысле этого слова — с точки зрения его восприятия.

Еще более конкретно можно было бы сказать, что все доклады конференции в той или иной мере рассматривают проблемы паралингвистики, если понимать под паралингвистикой область, изучающую явления, сопровождающие вообще всякую языковую деятельность [1].

*

Во всяком языковом высказывании обычно в первую очередь выделялись сегментируемые единицы — фонемы, морфемы, слова, которые соотносились с уже известной языковой моделью. Анализ всякого речевого высказывания состоял в отождествлении этих единиц, входивших в комплекс явлений, издавна изучаемых языкознанием. Все остальные явления, сопровождающие речь,— жесты, дополнительные призвуки, определенного типа окраска голоса и т. д.— не рассматривались языкознанием. Язык уже давно изучался в «самом себе и для себя».

Однако каждое слышимое или видимое высказывание несет в себе обилие самой разнообразной информации, при собственно лингвистическом подходе не фиксирующейся. Предположим, мы слышим как в соседней комнате кто-то говорит по телефону. Мы слышим слова говорящего. Мы воспринимаем и понимаем их. Но мы понимаем не только это. Так, не видя говорящего, мы можем сказать о нем многое — описать его пол, примерный возраст, состояние здоровья, этническое и социальное происхождение и даже, может быть, определить с кем он говорит (с другом или начальником, с женой или ребенком). Точно так же многое можно сказать о человеке, если изучить написанное им письмо, даже не вчитываясь в его содержание [2].

Итак, все явления, сопровождающие человеческую речь, несут определенную информацию. В этом смысле они представляют интерес и важны для изучения. В то же время отсутствие этих «окололингвистических» данных лишает нас очень существенной информации —

[1] Более подробно различные понимания паралингвистики и взаимоотношения ее с лингвистикой в собственном смысле этого слова рассматриваются в статье Т. М. Николаевой и Б. А. Успенского «Языкознание и паралингвистика» (в сб. «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии», М. (в печати)].

[2] О том комплексе сведений, которые представляют собой написанный (рукописный) текст, см. в рецензии Т. М. Николаевой на книгу В. В. Томилина «Физиология, патология и судебномедицинская экспертиза письма», публикуемой в указанном сборнике.

настолько существенной, что в определенных случаях текст без нее вообще может быть не понят. Так, М. Мид (см. рец. сб.) приводит пример, когда беседа участников какого-то совместно проведенного вечера была записана на магнитофонную пленку. Потом эта запись в виде сплошного текста была перенесена на бумагу, и испытуемым было предложено разбить эту запись на отдельные реплики, найти авторов этих реплик, определив число участников беседы. Как это ни удивительно, практически эта задача осталась нерешенной.

Отчасти паралингвистические явления отмечались и раньше; всегда было известно, например, что интонация выражает не только смысловую, но и эмоциональную сторону речи, что взволнованная речь часто сопровождается усиленной жестикуляцией, что тембр голоса при объяснении в любви иной, чем при покупке в магазине.

Но только немногим более десяти лет назад возникло на рубеже нескольких наук целое направление, изучающее явление такого рода в их значимой функции [3]. Это направление получило название паралингвистики, а сами явления, сопровождающие человеческую речь, стали называться паралингвистическими.

Сам этот термин был предложен американским лингвистом А. Хиллом. Как особое это направление складывалось постепенно. В 1952 г. Рей Бэрдвистл, автор исследований по семиотике человеческих движений [4], на специальном семинаре разрабатывал теорию значащих человеческих движений. В том же 1952 г. Смит и Трейгер декларировали и развили идею о том, что языковое общение сопровождается другими коммуникативными системами: двигательной системой — кинесикой и экстралингвистическими шумами — вокализациями. Шире того, речевая коммуникация входит в более сложный комплекс — общественно-культурную модель поведения, внутри которой речь является лишь одним из составляющих компонентов.

Но отчетливо границы новой области знаний были определены Дж. Трейгером в специальной работе, где им было предложено некоторое ограничительное толкование нового термина [5]. Более поздние исследования уже проводились обычно, исходя из схем и определений, предложенных Трейгером. В паралингвистику Трейгер включает побочные явления звукового характера, сопровождающие звуковое высказывание. А именно — это два ряда явлений. Во-первых, это некоторые звуковые шумы, не имеющие языковой структуры — вокализации (vocalizations). Во-вторых, это модификации звуковых шумов как языковых, так и неязыковых,— голосовые качества (voice qualifiers).

Вокализации разделяются Трейгером на три вида — характеризаторы (characterisers), квалификаторы (qualifiers), разделители (segregates). Характеризаторы — это смех, плач, шепот, завывания и т. п.; квалификаторы — тип интенсивности произношения, высота основного тона и т. п.; разделители — неязыковые комбинации звуков вроде *уф-уф*, *хм*, *у* и т. п.

К голосовым качествам Трейгер относит явления, характеризующие звуковую специфику данного высказывания. Это темп речи (возбужденный или замедленный), хриплость голоса, степень затрудненности прохождения звуков через речевой тракт и т. д.

Для каждого ряда паралингвистических явлений Трейгер предлагает градуированную систему решений, для каждого из которых он дает соответствующее обозначение для удобства описания. Признаки эти упорядочены, подчинены один другому; в конце статьи Трейгер предлагает запись речевого события в рамках предложенных им обозначений. В целом статья Трейгера представляет собой первую публикацию по теме, ставшей сразу же весьма актуальной. Трейгер лишь классифицирует и называет данные явления, а также пытается представить их в виде доступных описанию дискретных единиц. Но в этой работе не предлагается никакой значащей интерпретации описанных явлений (семантики паралингвистических феноменов), в то время как такая интерпретация крайне важна для правильной оценки и понимания роли этих явлений в процессе человеческой коммуникации.

Изучение паралингвистических феноменов стало привлекать все больше внимание [6]. Лингвисты в содружестве с се-

---

[3] Исторически многие авторы в области паралингвистики и кинесики видят начало таких интересов в работах Э. Сепира.

[4] См. работы: R. L. Birdwhistell, Introduction to kinesics, Louisville, 1952; его же, Body motion research and interviewing, «Human organisation», 1952, 11; его же, Paralanguage—25 years after Sapir, в сб. «Lectures on expertimental psychiatry», ed. by H. W. Brosin, Pittsburgh, 1961.

[5] G. L. Trager, Paralanguage: a first approximation, «Studies in linguistics», XIII, 1958.

[6] См., например, G. Trager, Taos III, paralanguage. «Anthropological linguistics», II, № 2, 1960; S. S. Feldman, Mannerisms of speech and gestures in everyday life, New York, 1959; R. E. Pittenger, C. F. Hockett, J. J. Danehy, The first five minutes, Ithaca, 1960.

мотниками и специалистами по двигательной коммуникации, обследуя информантов, стали фиксировать не только вербальные реакции, но и все прочие проявления человеческой активности. Так рождались специальные подробные описания человеческого поведения во всей его многосторонности, проявившейся хотя бы в течение ограниченных временных отрезков[7]. Надо сказать, что понимание паралингвистики Трейгером, будучи одним из первоначальных, не является в настоящее время единственным. Сейчас существуют различные понимания этого термина: между прочим, широта возможного толкования термина «паралингвистика» особенно видна на примере докладов и дискуссий упоминавшейся конференции. Под «паралингвистическими» всегда имеют в виду явления, сопутствующие «языку» (греч. παρά «около»), однако сам язык может при этом пониматься по-разному: с разной степенью широты.

Трейгер, в частности, рассматривает лишь язык устного общения (vocal-auditory communication), называя «паралингвистическими» только звуковые явления, сопровождающие звуковые высказывания. Тогда аналогично паралингвистическим явлениям выделяются паракинетические, причем под последними можно понимать кинетические явления, сопровождающие звуковое высказывание, либо всякие явления (независимо от их субстанции), сопровождающие кинетическую деятельность. Соответственно можно говорить о паракинесике (аналогично можно говорить о параграфемике и т. п.).

Другие авторы понимают под паралингвистическими всякие явления (не обязательно звуковые), сопровождающие язык устного общения, включая таким образом паракинесику в ее первом понимании в паралингвистику.

При более широком подходе, когда язык понимается вне определенной субстанции, паралингвистическими оказываются вообще всякие явления (независимо от их субстанции), сопровождающие языковую деятельность (которая может быть звуковой, кинетической, графической и т. д.). При таком подходе паракинесика (в любом ее понимании) входит в паралингвистику. Можно сказать, что паралингвистические (и паракинетические) явления несут знаковую функцию для воспринимающего, но не обязательно для посылающего. Так, врач-клиницист по типу дрожания рук больного или по тому, как прерывается его дыхание, может определить его болезнь, поставить диагноз лучше, чем согласно тем симптомам заболевания, которые описывает сам пациент. Для этого (в связи со спецификой передачи и получения информации в нелингвистических системах) необходимы определенные знания и опыт, то есть научить воспринимать паралингвистическую (в широком смысле) информацию сложнее, чем лингвистическую[8] — именно потому, что паралингвистика обычно не осознана[9]. Сходны с этим реакции, скажем, опытной гадалки на поведение гадающего, когда она сообщает поразительные данные о клиенте, основываясь будто бы только на показаниях карт.

Таким образом, воспринимающий информацию интерпретирует паралингвистические явления, перекодируя их в виде знаков некоторой другой системы (возможно, вербальной или языка науки). Посылающий информацию может не иметь ни малейшего представления о том, как интерпретируется его поведение в целом[10]. Для него эти сведения — побочный продукт его сознательной деятельности.

Однако возможен и другой случай — и посылающему известен тот код, которым пользуется воспринимающий паралингвистические события. В этом случае можно говорить об имитации паралингвистических феноменов. Имитация такого рода имеет место, например, на сцене, когда актер сознательно придает своему голосу ту или иную тембровую окраску, имитируя определенное душевное состояние или в целях какой-либо сознательной социальной или национальной мимикрии. В ряде театральных традиций такая имитация перерастает в сознательный знак, который воспроизводится актером именно как условный знак[11].

Однако (кроме последнего случая) конвенциональность отсутствует и тогда, когда дающий информацию знает, как она может восприниматься. Посылающий ими-

[7] R. E. Pittenger..., указ. соч.

[8] Характерно в этой связи, что очень многие паралингвистические явления не могут быть использованы иностранцем без того, чтобы это вызвало комический эффект (см.: A. S. Hayes, Paralinguistics and kinesics: pedagogical perspectives, рец. сб., стр. 164—165).

[9] Осознание языка может, видимо, считаться существенным свойством собственно лингвистической деятельности.

[10] Характерным примером такого бессознательного употребления паралингвистического знака может быть следующая закономерность, сформулированная Бардвистлом: всякое слово, несущее логический или эмфатический акцент во фразе, непременно сопровождается (в английском языке) миганьем. См. рец. сб., стр. 178—179.

[11] Так, интересные данные о преобразовании неосознанных паракинетических явлений во вполне сознательный театральный знак в восточных школах театра приводит А. А. Румнев (О пантомиме, М., 1964).

тирует именно бессознательное сопровождение своего словесного поведения. Раскрыть эту сознательную имитацию бессознательного или почти невозможно или возможно, лишь исходя из знания обязательности комплекса тех или иных симптомов имитируемого явления (в случае болезни, например, когда имитируемый симптом не может комбинироваться с другими имеющимися данными).

Какая именно наука должна изучать паралингвистические и паракинетические явления? На этот вопрос ответить пока трудно, так как комплекс этих явлений связан и с языкознанием, и с социальной антропологией, и с эстетикой, и с физиологией, и с преподаванием. Это уже характерное для науки XX в. явление — когда на рубеже многих наук появляется новое направление. Но это безусловно новая область науки, так как у нее специфические задачи, и, самое главное, ей необходимы собственные единицы, в которых должно будет проводиться описание, и те единицы, в терминах которых должны будут интерпретироваться данные, полученные из совокупностей единиц первого рода. Какие-то прежние попытки заняться этими явлениями, исходя из данных лингвистики (этим занималась классическая, но не структурная лингвистика), носили совсем иной характер, так как при этом не вводились новые единицы исследования, и выводы экстралингвистического характера (об эмоциональной насыщенности, высказывания, например) делались на основании строго вербальных данных — лексики, суффиксации, синтаксиса и т. п.

*

Последний по времени свод достижений по паралингвистике и кинесике — это публикация материалов уже упоминавшейся конференции. В этой конференции принимали участие 60 человек, значительная часть которых уже с начала 50-х годов известна своими публикациями по данным вопросам. В работе конференции участвовали представители пяти наук: лингвистики, культурной и социальной антропологии, педагогики, психиатрии и физиологии. Издатель материалов Конференции — Томас Себеок, хорошо известный изданием и подготовкой конференций и симпозиумов по крайне интересным вопросам на рубеже точных и гуманитарных наук [12]. Существенно то, что в книге представлена весьма полная публикация материалов дискуссий, имевших место после каждого доклада. Из этих материалов очевидно, насколько такая публикация более интересна, чем обычное печатание хроник, часто субъективных и односторонних. Основные и наиболее значительные теоретические соображения часто высказывались именно во время дискуссий.

Несмотря на то, что все участники конференции ссылались на приведенную выше работу Трейгера и как бы исходили к ней, представленная тематика была значительно шире того понимания паралингвистики и кинесики, которое предложил Трейгер.

Первый доклад — доклад медика П. Ф. Оствальда (P. F. Ostwald, How the patient communicates about disease with the doctor). Этот доклад был, в сущности, посвящен одной теме — каким образом происходит перекодирование любых знаков, любой информации, исходящей от пациента, в медицински значащие симптомы заболевания. Разумеется, сфера информации в этом понимании далеко выходит за словесные и двигательные данные, и, таким образом, это ни паралингвистика по Трейгеру, ни кинесика по Бердвистлу. Автор последовательно перечисляет, какую информацию несет тело пациента («язык тела» — вид кожи, вид лица, походка, жесты, тип движения рук и т. д.), затем перечисляет звуки тела: тип дыхания, спазмы. Особый раздел — речь и ее отклонения: речь умственно отсталых, попытка подражания языку животных (у душевно-больных — с соответственным ощущением себя животным), разного рода трансформации нормальной речи, дефекты произношения. Дальнейшие перспективы исследования Оствальд видит в применении точных электроакустических исследований речевых расстройств.

Доклад Г. Маля и Г. Шульце (G. F. Mahl, G. Schulze, Psychological research in the extralinguistic area) был посвящен психолингвистическим исследованиям в экстралингвистической области. Рассматривая разного рода классификации экстралингвистических явлений (от Сепира до Питтенгера, Смита и Трейгера) (см. выше), авторы предлагают свою классификацию подходов к изучаемым явлениям, под которыми они понимают именно звуковые сопроводители вербальной коммуникации. Иначе говоря, рассматриваются такие явления, относящиеся к паралингвистике, которые не могут существовать отдельно от языка, будучи связанными с ним непосредственно, например, громкость, быстрота или ритм речи. Анализ явлений такого рода, а также некоторых функционально аналогичных явлений может дать возможность получить объективную оценку степени взволнованности говорящего или, иными словами, констатировать степень его нейтральности к высказываемому сообщению (в этих целях могут быть на-

[12] Сб. «Style in language», ed. by T. A. Sebeok, New York, 1960; Myth». A symposium, ed. by T. A. Sebeok, Bloomington, 1958.

раллельно применены некоторые чисто лингвистические методы) [13].

Третий доклад — А. Хайеса (A. Hayes, Paralinguistics and kinesics: pedagogical perspectives) сообщал о педагогических перспективах в области паралингвистики и кинесики. Именно педагогические проблемы связаны с паралингвистическими проявлениями не менее чем проблемы диагностико-медицинские. Несомненно, преподавание иностранного языка не может считаться полноценным без преподавания более общей манеры культурного поведения в данной стране [14]. Так, по данному поводу участники дискуссии приводят интересные данные об артисте (La Guardia), выступающем на итальянском, английском и идиш (стр. 178). Его движения, манера вести себя меняются в зависимости от выбранного языка так очевидно, что, выключив звук у телевизора, можно безошибочно сказать, на каком языке идет сейчас исполнение [15].

Захватывающие данные по паралингвистике, кинесике и социальной антропологии приводит В. Ла Барр (W. La Barre, Paralinguistics, kinesics, and cultural anthropology); главные приводимые им сведения — обобщение разных типов социально обусловленного поведения по странам и языковым группам. Автор разбирает приветственные жесты, разговорные жесты, стили походки, вообще различные модели поведения и приводит интересные случаи непонимания именно по этой причине,— непонимания, которое может привести к серьезным международным недоразумениям. В этой работе Ла Барр показывает различие элементов поведения, выражающих в разных культурах одно и то же абстрактное содержание (например, приветствие, указывание, утверждение или отрицание и т. п.), а также различное содержание в разных обществах одних и тех же элементов (поцелуй, плевание и т. п.); при этом в ряде случаев выделяются различительные признаки. Подобный анализ может производиться как в синхроническом, так и в диахроническом плане. С первой точки зрения интересна типология различных элементов плана выражения и плана содержания паралингвистических явлений (см. многочисленные иллюстрации у Ла Барра, хотя и не всегда корректно представленные). Со второй точки зрения интересно проследить изменение определенных паралингвистических явлений во времени в одном и том же обществе. Например, французы, речь которых, как известно, сопровождается сейчас обычно значительной жестикуляцией, жестикулировали очень мало в XVI столетии; напротив, для англичан было естественно усиленно жестикулировать при разговоре еще в XVIII в. (стр. 203).

Собственно лингвистические аспекты паралингвистики обсуждались в докладе известного лингвиста Э. Станкевича (E. Stankiewicz, Problems of emotive language). Рассматривая экспрессивную функцию как одну из функций языка, согласно известной работе Р. Якобсона [16], Э. Станкевич подробным образом перечисляет все языковые возможности передачи эмоций. В целом доклад Станкевича отличается от остальных, которые, несмотря на глубокую проблематичность и обилие интересного и продуманного материала, носят в известной степени эскизный характер. Доклад Станкевича — законченное исследование со строгим

---

[13] С этой точки зрения может быть показательным выявление в тексте особых (ключевых) слов, т. е. таких слов, на которые особенно остро реагируют говорящие, отличая от их слов, которые употребляются чисто механически, нейтрально. (См.: Б. А. Успенский, Предварительные замечания по персонологической классификации, «Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Программа и тезисы докладов», Тарту, 1964, стр. 30, прим. 1.) Понятно, что такие ключевые слова могут меняться от ситуации к ситуации, от индивида к индивиду, и, что еще более важно, от языка к языку, т. е. от одной культурной модели к другой. Например, в США одним из таких нейтральных слов, видимо, является *mad*, *madness*; в частности, прослеживается определенная тенденция заменять это слово — в определенных контекстах — на более нейтральное (см. рец. сб., стр. 269).

Понятно, что изучение подобных ключевых слов может быть использовано как один из критериев при сравнительных культурно-антропологических исследованиях. (В этой связи становится ясным, между прочим, важность для подобного рода исследований таких явлений, как табу, эвфемизм или, напротив, дерогативные обороты.)

[14] Необходимость включения в преподавание языка не только лингвистических, но и общеповеденческих сведений о стране, обосновывает, приводя реальные примеры, Ф. Пап (Этикет и язык, «Р. яз. в нац. шк.», 1964, 1).

[15] В подтверждение той же мысли Р. Бердвистл говорит о совершенно диком впечатлении, которое производит, например, француз, говорящий по-французски, но сопровождающий свою речь движениями американца с Среднего Запада; такое смещение имеет место, в частности, при определенном типе умственного расстройства (см. рец. сб., стр. 179).

[16] R. Jakobson, Linguistics and poetics, сб. «Style in language». Ср. также: А. В. Исаченко, О призывной функции языка, «Recueil linguistique de Bratislava», publiée par le Cercle linguistique de Bratislava, I, Bratislava, 1948.

планом. Станкевич показывает изменения семантические; показывает фонологические и фонетические изменения (субституция фонем, аспирация, геминирование); приводит данные по сравнительному словообразованию, по развитию особых пейоративных или, напротив, ласкательных флексий, акцентирует связь типологических и исторических исследований в этой области.

Последний доклад — М. Мид (M. Mead, Vicissitudes of the study of the total communication process) — посвящен дальнейшим перспективам развития паралингвистики и семиотики. Докладчик видит две возможности, стоящие перед исследователями: во-первых, тщательно собирать и множить факты, которые в дальнейшем могут быть соответствующим образом интерпретированы; во-вторых, упорядочивать уже собранные ранее факты и приводить их в систему для непосредственных нужд преподавания и диагностики.

Какие же основные проблемы обсуждались на дискуссиях по упомянутым докладам? Прежде всего — это проблема границ новой области науки и ее будущей сущности. По справедливому замечанию одного из участников, многое интересное, сообщавшееся на конференции, представляло собой собрание крайне важных и весьма примечательных фактов (например, сообщение о попытках применения киноаппаратуры для точного фиксирования поведения полугодовалого ребенка — его радости, его огорчения, его реакции в целом; интересен был обмен опытом врачей, сурдопедагогов и т. д.). Однако настоящей наукой это собрание фактов будет в том случае, если мы сумеем ответить на вопрос, как мы распознаем полученные факты, интерпретируя их. В связи с этим неизбежно встает вопрос о единицах паракинетических и паралингвистических высказываний и о структурном сходстве этих окололингвистических явлений с собственной лингвистической системой, наиболее изученной из всех коммуникативных систем. Отдельная терминология уже не раз предлагалась: аллокины, кинеморфы и т. д., по Бэрдвистлу, черемы и аллочеры, по Стокое [17] и др. Но, как представляется, необходимо с крайней осторожностью относиться к идее изоморфной структуры всех коммуникативных моделей. Введение в описание несобственнолингвистических систем коммуникации методов, выработанных для описания языковой системы, невольно иногда ведет к априорному утверждению, что исследуемая система коммуникации сходна с языковой системой. Однако конкретные результаты могут показать и совсем иные отношения.

Один из участников дискуссии (McQuown) высказал мысль о том, что в языковой системе коммуникации значительное место занимают сегментные единицы в противоположность суперсегментным, занимающим незначительное место в общем пространстве языка. В паралингвистических совокупностях, напротив, значительное место занимает суперсегментная область и незначительное — сегментная. Именно поэтому столь трудно бывает разграничить собственно паралингвистические явления и такие явления, как интонация, ритм и т. д. (Этим объясняется, в частности, включение в материал конференции таких докладов, как упоминавшийся доклад Маля и Шульце.)

Существенное место в дискуссии занимала следующая проблема: каким образом человек умеет правильно воспринять информацию, при этом не умея объяснить, как он это делает, и не имея представления о единицах того кода, на котором передается информация? Более того, правила анализа и декодирования, в случае если они могут быть формально найдены, обычно оказываются очень громоздкими и требующими объективно большего времени, чем это, очевидно, делает человек. Опыт машинного перевода уже явно показывает, что все предложенные и самые экономные алгоритмы не дублируют (и принципиально не дублируют) деятельность человека — переводчика или языковеда. Иными словами, ближайшая задача — найти формальное объяснение человеческой интуиции, т. е. в известной степени ответить на вопрос: каким образом люди учатся воспринимать самую разную информацию, не разлагая ее на очевидные дискретные единицы.

Из всех аспектов знаковой теории — синтактики, семантики и прагматики — последний (прагматика) до сих пор был наименее изучен. Именно этот аспект семиотики призывали изучать участники конференции, так как для ряда научных областей крайне важна именно реакция на конкретное сообщение во всех сопровождающих его проявлениях.

Значение исследования паралингвистических, паракинетических и собственно лингвистических явлений для языкознания заключается, надо думать, прежде всего в сближении этих областей и в снятии профессиональных ограничений, накладываемых каждой специальностью. Как отмечала М. Мид, профессиональный лингвист обычно не умеет смотреть: он прежде всего слушает [18]. Между тем для

[17] См.: W. C. Stokoe, Jr., Sign language structure. An outline of the visual communication systems of the American deaf, Buffalo, 1960.

[18] В иллюстрацию своей мысли М. Мид ссылается на Сепира, утверждая, что это был лингвист, который мог смотреть на плачущего человека, но понять, что он плачет, лишь по звукам его голоса, если тот заговорит.

специалиста по кинесике звуки, как правило, не несут специальной информации, хотя он и может быть превосходным наблюдателем. Общее же значение исследований всего комплекса затронутых проблем хорошо сформулировано в заключительном докладе М. Мид: изучение этих областей помогает понять, «как дети учатся; как учителя учат; как может быть передана чужая культура; как понимают друг друга представители разных социокультурных групп; каким образом врачи могут научиться принимать профилактические меры; каким образом дети могут быть воспитаны так, что их индивидуальные влечения и антипатии будут включены в рамки общей многосторонней коммуникативной модели».

Т. М. Николаева, Б. А. Успенский

«Сравнительная грамматика германских языков». I — Германские языки и вопросы индоевропейской ареальной лингвистики, М., Изд-во АН СССР, 1962, 204 стр.; II — Фонология, М., 1962, 402 стр.; III — Морфология, М., 1963, 445 стр.

1. С публикацией «Сравнительной грамматики германских языков» (СГГЯ) германское историческое языкознание и в определенной степени сравнительно-историческое языкознание в целом вступают в новую эру. Наиболее значительные грамматики прошлого (они до сих пор используются лингвистами) обычно составлялись одним автором: это относится даже к такой фундаментальной грамматике, как «Grundriss» К. Бругмана. То же по сути дела можно сказать и о таких коллективных трудах, как «Фонетика и морфология древнегерманских диалектов» Дитера (Dieter, Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte) и о грамматиках отдельных германских языков, входящих в «Grundriss» Пауля: хотя для написания этих работ привлекались целые группы ученых, рассмотрение каждого языка в отдельности проводилось одним автором. СГГЯ, напротив, целиком является результатом труда коллектива германистов. К преимуществам работы подобного рода, по крайней мере внешним, следует отнести ее продолжающийся характер и в связи с этим вероятность окончательного завершения. Обычно фундаментальные грамматики, предпринимаемые одним автором (например, «Deutsche Grammatik» Вильманса), редко доводятся до конца после его смерти. Продолжение же работ умерших авторов не всегда кончается полным успехом: при всей тщательности Дебруннера все же в конце концов не получилось «Древнеиндийской грамматики», целиком написанной на одном и том же уровне. Что же касается СГГЯ, то можно надеяться, что группа специалистов, которая ее составляет, безусловно закончит предпринятый труд, а также сможет заняться перепзданием этой грамматики, когда возникнет необходимость пополнить ее новыми теоретическими положениями и фактическим языковым материалом. В связи с тем, что рецензируемая СГГЯ задумана как работа группы, я очень бегло остановлюсь на характеристике лишь некоторых ее авторов, хотя в отдельных случаях лингвистические взгляды составителей не совпадают между собой.

В противоположность многим известным стандартным грамматикам, являющимся лишь частичными описаниями соответствующих языков, СГГЯ, план которой был тщательно разработан еще до публикации, задумана как фундаментальное и исчерпывающее изложение фонологии, морфологии и синтаксиса древних германских языков. В рецензии не представляется возможным сделать что-либо большее постановки нескольких вопросов, иллюстрирующих принципиальную важность СГГЯ. Являясь своего рода отправным пунктом для будущих исследований по сравнительной грамматике германских языков, СГГЯ будет по достоинству оценена только в результате детального изучения всеми германистами, работающими в соответствующих областях грамматики; не последняя роль в этом отношении должна принадлежать и самим авторам.

Понимание теоретических основ, на которых строится СГГЯ, во многом упрощается в связи с предпосланным ей детальным введением, а также с выходом проспекта работы. Таким образом, подход авторов к различным проблемам ясно сформулирован, что значительно повышает ценность полученных ими результатов.

В противоположность большинству стандартных грамматик, выдержанных в младограмматических традициях, СГГЯ отражает более широкий подход к языку в результате привлечения данных лингвистической географии и смежных дисциплин (например, социологии). Учет результатов, полученных социолингвистикой, дает основание надеяться, что при последующих перепзданиях СГГЯ будут включены и другие успехи теоретической мысли в современной лингвистике. Нельзя отрицать, что социолингвистика име-

ет первостепенное значение для решения проблем, рассматриваемых в СГГЯ, особенно для определения соотношения между данными различных диалектов, засвидетельствованных письменностью. Однако привлечение и других современных лингвистических проблем в будущем также сделает возможным лучше понять структуру германского (мы имеем в виду такие области, как детальное изучение лексики, например анализ систем терминов родства или структурное изучение синтаксиса, проведенное на более высоком уровне в связи с применением новых методов типа трансформационного анализа).

2. Для предварительной оценки СГГЯ можно сравнить с ней грамматики Гримма и Вильманса, возможно также Дитера. СГГЯ безусловно стоит выше всех этих работ как по своему плану, так и по выполнению; после выхода последнего тома СГГЯ мы наконец будем располагать исчерпывающей грамматикой германского, написанной на основе последовательной методологии. Нельзя не отметить, однако, что в СГГЯ отсутствует широкое цитирование памятников, которое мы находим в грамматике Гримма. Можно надеяться, что в следующих томах СГГЯ, посвященных синтаксису, привлечение материалов памятников будет расширено. Кроме того, в СГГЯ отсутствует подробное изложение результатов предшествующих исследований, как это делается в грамматике Вильманса. Анализ предшествующих теорий, как известно, является одной из основных задач исторического языкознания; ясно, однако, что работа такого широкого плана, какой является СГГЯ, приняла бы непомерные размеры, если бы в ней была сделана попытка подробно изложить взгляды предшественников. Поэтому нам представляется уместным включение в СГГЯ изложения только тех предшествующих теорий, которые имеют неизменную важность для современной науки, а также включение ссылок на наиболее полезные работы. В целом авторы СГГЯ поступили вполне правильно, не отягощая читателя ненужными ссылками. Удивляют опущения отдельных ссылок, например, работа Штрайтберга, Михельса и Елинека «Germanisch» не включена в библиографию первого тома; это опущение, однако, отражает селективный подход авторов к библиографии: указанная работа упоминается во втором томе, где она более уместна. Видимо, авторы выбирали для библиографии те работы, которые стимулируют дальнейшее исследование соответствующих проблем; основной упор при этом делается на наиболее недавние труды.

Заслуживает сожаления тот факт, что различие шрифтов, используемых для набора русского текста, с одной стороны, и немецкого и английского — с другой, привело к искусственному разделению библиографического списка на два: дается список литературы, набранной кириллическим шрифтом, и список работ, набранных латинским шрифтом. Решение подобной сложной библиографической проблемы, весьма желательное не только для лингвистов, но и для неспециалистов, пользующихся библиографией, станет возможным только в том случае, если возможность обработки данных на электронно-счетных машинах будет использована даже в такой далекой от практического применения области, как историческое языкознание.

С самого начала СГГЯ излагается таким образом, как будто мы имеем дело с грамматикой современного языка. Прежде всего определяется место и роль приводимых грамматических данных в рамках европейских языков. Затем эти данные описываются как будто перед нами язык, засвидетельствованный письменностью, типа готского или древнеисландского. Мы приветствуем принцип описания, когда грамматика реконструированного языка строится таким образом, как будто соответствующий материал засвидетельствован письменностью. Мы также приветствуем тщательность, с которой подготовлялись отдельные тома СГГЯ; в этой работе мы сразу находим солидные указатели и библиографию.

При учете предшествующих исследований, имеющих значение и для современной науки, историческая грамматика должна определять методы, используемые для анализа соответствующего фактического материала, и в меньшей мере также для подачи последнего. Дело в том, что в связи с большим количеством теоретических подходов в современном языкознании формулировка грамматических закономерностей может быть истолкована по-разному, если ясно не объяснены те методы, на основе которых проводился анализ.

В настоящее время, например, мы опять сталкиваемся с проблемами, связанными с методами рассмотрения фонологических данных. В последние десятилетия такие лингвисты, как Эджертон и Курилович, пытались представить систему гласных в протоиндоевропейском и его наиболее древних диалектах в соответствии с фонемной теорией; в результате была получена фонологическая система, богатая полугласными и сонантами, но бедная единицами, функционирующими только как гласные. Какой бы необычной ни казалась такая фонологическая система, она неизбежно получается при строгом применении определенной теории. Используя эту теорию, лингвисты исследуют фонологическую систему языка независимо от морфологической. При точной интерпретации получающиеся системы могут быть переформулированы на основе другой лингвистической теории. Однако вряд ли было бы полезным пере-

смотривать полученные результаты с точки зрения языковых универсалий, т. е. метода, согласно которому несколько сот фонологических систем, кратко интерпретированных Трубецким и Хоккетом, дают окончательную фонологическую модель, которая может явиться критерием для оценки всех фонологических систем, которые когда-либо существовали. Если протоиндоевропейская фонологическая система со сравнительно большим числом сонантов и небольшим числом гласных будет отвергнута и вместо нее будет предложена другая система, аналогичная по составу гласных таким языкам, как латинский, необходимо разъяснить принципы, на основе которых она построена. В противном случае мы опять вернемся к тому хаосу, который наблюдался во второсортных лингвистических исследованиях XIX в.

Определение метода особенно важно для грамматики, составленной различными учеными. К счастью, эта проблема была предусмотрена авторами СГГЯ, которые предприняли необходимые шаги для ее разрешения. Описательная теория, на основе которой строится СГГЯ, была разработана очень полно в третьем — шестом десятилетиях нашего века. Протогерманская фонология излагается в соответствии с фонемной теорией; морфология широко представлена главным образом в виде парадигм. Композиционно книга, как правило, выдержана по схеме «материал и объяснение» (item and arrangement).

3. Том I (авторы — Н. С. Чемоданов, Э. А. Макаев, В. М. Жирмунский, под общей редакцией М. М. Гухман) состоит из трех разделов, не считая вводных материалов, библиографии и указателей: первый раздел посвящен рассмотрению положения германского среди других индоевропейских языков (стр. 19—41) с приведением его основных отличительных особенностей (стр. 41—48); во втором разделе приводится обширный список германской лексики (стр. 48—113), а третий раздел посвящен собственно германскому (стр. 114—124) и его древним диалектам (стр. 125—161).

Как видно уже из объема указанного списка германской лексики, он составляет значительную часть первого тома; этот список еще в большей степени, чем другие разделы, будет практически полезен для лингвистов, занимающихся германским, и мы благодарны авторам за тщательность, с которой он составлен. Оставляя в стороне мелкие неточности, которые легко исправить, можно пожелать, чтобы в следующие переиздания СГГЯ были включены также протогерманские языковые единицы, т. е. предложения. Хотя проще всего оперировать словами, а при реконструкции наиболее надежно восстанавливать именно слова, не следует забывать, что в языке они обычно являются частью более крупных единиц. Шлейхера сурово критиковали за реконструкцию протоиндоевропейских предложений, однако его синтаксические реконструкции полностью остаются в силе, как и его морфологические и фонологические построения. То обстоятельство, что реконструкции Шлейхера заменяются другими, лучшими, вряд ли является достаточным основанием для возражений против реконструкции целых предложений, особенно если при этом сдерживать фантазию и не пытаться сочинять сказок на индоевропейском праязыке. Со временем слова, реконструируемые нами, могут быть подвергнуты такому же основательному пересмотру, как и предложения; нет сомнения, что модели, по которым реконструируются предложения, в такой же мере имеют право на существование, как и модели реконструкции слов.

Для протогерманского в рунических надписях имеются готовые модели предложений. Хотя они и выдержаны в формальном, традиционном стиле, они свидетельствуют о порядке слов в германском и могут служить первой основой для реконструкции предложений в протогерманском. Рассмотрение предложений, в том числе реконструированных предложений, и их включение в последующие переиздания СГГЯ особенно важно в связи с тем, что в настоящее время значительно возросла роль синтаксиса. Для Штрайтберга, Прокоша и других, которые ограничивались в своих грамматиках фонологией и морфологией, было вполне естественно не включать в свой материал языковые единицы крупнее слов или основ или реконструированных звуков. Однако лингвисты, занимающиеся проблемами германского синтаксиса при составлении СГГЯ, должны были бы выработать определенные синтаксические модели диалектов, представляющих протогерманский, и даже реконструировать синтаксические последовательности. Было бы полезно, если бы такие последовательности были приведены в работе.

При подаче лексического материала основной упор делается скорее на освещение взаимосвязи германского с прочими индоевропейскими диалектами, чем на структуру и взаимосвязи лексики в пределах самого германского. Решение подавать материал именно таким образом несомненно продиктовано соображениями экономии. Тем не менее это в значительной мере затрудняет понимание специфики германской лексики. К счастью, указанный принцип подачи материала не используется при изложении фонологии и морфологии; последние рассматриваются только для германского, причем особенности взаимосвязи германского и других языков приводятся отдельно. С выходом СГГЯ, в которой подробно излагается германская лексика, заполняется

пробел, характерный для всех германских грамматик (кроме грамматики Клуге); при дальнейших переизданиях СГГЯ хорошо было бы заполнить еще один остающийся пробел: рассмотрение лексики только со стороны связей между языками, а не как особого аспекта языка с точки зрения его собственной структуры.

Раздел, посвященный взаимосвязи германского с другими индоевропейскими диалектами — великолепен, как и список характерных отличительных черт, на основе которого он построен. Как известно, среди германистов имеется полное согласие относительно связи германских языков с кельтскими и италийскими, с одной стороны, и с балтийскими и славянскими — с другой. Авторы также придерживаются мнения, что тесные связи германского с балтийским и славянским предшествовали их связям с кельтским и италийским; однако смежное географическое положение этих пяти диалектов дает основание рассматривать их отдельно от юго-восточных индоевропейских диалектов. Именно указанные пять диалектов и составляют «общеевропейский».

Историческая лингвистика значительно выиграла бы, если бы на основе точного определения понятий «общо-», «прото-», англ. common, general и т. д. такая классификация языков получила свое объяснение. В квалифицированной рецензии Куфнера («Language», 39, 3, 1963, стр. 503—511) этот вопрос уже обсуждался, хотя автор заключает слишком пессимистически, когда говорит о «примирении» различных попыток восстановления древних этапов развития языка.

Возникает также вопрос о переводе: русск. *обще-* с легкостью переводится англ. *common*, нем. *Gemein-*, хотя те же термины в более старых работах применяются для описания языковых особенностей, засвидетельствованных в ряде языков, но не обязательно используемых для их классификации. По крайней мере в некоторых случаях «обще-» в СГГЯ обозначает этап в развитии языка; такое употребление весьма важно с точки зрения установления исторических связей.

Нам представляется существенным рассматривать языковое развитие от протогерманского к готскому, древнеанглийскому и другим засвидетельствованным языкам в том же аспекте, как это обычно делается в отношении развития от древнеанглийского к новоанглийскому. При обсуждении древних германских диалектов В. М. Жирмунский великолепно использует такую процедуру. Если подойти с тем же критерием также к изучению наиболее древнего периода развития языка, мы должны будем выделить различные этапы от протоиндоевропейского к древнеанглийскому и другим диалектам. В качестве примера целесообразно противопоставить рассмотрение германских диалектов в СГГЯ, а также в работах Фринга, Маурера и Шварца, на которых она основана, и рассмотрение тех же диалектов в более ранних пособиях. В большинстве этих последних постулировались три древних диалекта: восточный, северный и западный германский; в СГГЯ постулируется два диалекта: северный и южный. Такая бинарная классификация явилась главным образом результатом строгости и реалистичности подхода к рассмотрению фактического материала. Использование лингвистических критериев привело к признанию только двух языковых общностей, существовавших после распада германской языковой общности. Эти последние в свою очередь были нарушены в результате сдвигов в контактах между различными группами говорящих. Требование использовать лингвистические критерии классификации дало возможность внести исправление в наше понимание статуса древних диалектов и их последующих взаимосвязей. Для того чтобы свести к минимуму путаницу, которая может возникнуть при отходе от традиционных понятий, я предпочитаю термины «западный» и «северо-восточно-германский» терминам «южный» и «северный», хотя номенклатура — это незначительная деталь. Главное состоит в том, что мы, в противоположность Штрайтбергу, уже больше не допускаем долгого периода независимого развития нескольких германских диалектов, например больше не реконструируем западногерманские формы. После распада протогерманского язык этой языковой общности претерпел различные изменения и не был достаточно стабильным и однородным, чтобы оправдать реконструкцию подобных форм и сочинение таких грамматик: не было какого-то восточного, северного и западного германского языка, которые можно было бы описать по отдельности.

Мы постулируем, однако, существование стабильной германской языковой общности. Хотя данные, которыми мы располагаем,— ограничены, мы приходим к этому выводу, например, потому, что все рефлексы протоиндоевропейских смычных в германских языках указывают на общее языковое изменение. Мы не обнаруживаем контрастирующих процессов типа гот. *triggws*, др.-исл. *tryggr* в противоположность др.-англ. *trēow*, др.-в.-нем. *triuwi* и т. д. Напротив, все германские примеры обнаруживают одинаковые рефлексы: ср. *f* в гот. *faihu*, др.-исл. *fé* и в др.-англ. *feoh*, др.-в.-нем. *fehu*; *p* в готск. *speiwan*, др.-исл. *spýja* и в др.-англ. *spiwan*, др.-в.-нем. *spiwan* и т. д. Мы заключаем, что такое совпадение объяснимо, только если признать существование более древней единой языковой общности.

Для того чтобы избежать нежелательных ассоциаций со старым термином англ. «primitive», нем. «Ur-», несколько десятилетий тому назад был введен термин «proto-», обозначающий реконструированный язык указанной и подобной ей языковых общностей. Если русское «обще-» в смысловом отношении можно полностью уравнять с «прото-», то эти термины следует употреблять как синонимы, но в каждом отдельном случае переводить одинаково и ограничиваться их употреблением в указанном смысле.

В связи с этим одной из основных задач является более точное определение древних языковых взаимоотношений, выяснение места германского по отношению к италийскому, кельтскому и балтийскому примерно в том же плане, как был определен характер взаимоотношения древних германских диалектов. Естественно, что у нас нет достаточного фактического материала для выяснения многих деталей: период, о котором идет речь,— вторая и первая половина первого тысячелетия до н. э. Однако без выработки строгих лингвистических методов мы не можем надеяться на дальнейшее исследование проблемы, на лингвистическое осмысление обрывков исторических и археологических данных, которые в настоящее время имеются и которые могут быть умножены в будущем.

Если употреблять термин «общеевропейский», то тем самым (эксплицитно или имплицитно) мы постулируем существование европейской общности. Данные, приводимые в СГГЯ в подтверждение этого положения,— лексические (стр.53—70). С течением времени, может быть, удастся привести также фактический материал из области морфологии и синтаксиса, хотя, возможно также, что мы придем к другой классификации. Из приведенных фактических данных я ограничусь разбором нескольких примеров из многих, приводимых в рецензируемой книге.

Слова, обозначающие «снег» (стр. 56), засвидетельствованы в пяти «европейских» языках в двух различных формах. В италийском и кельтском они представлены в виде корневых основ с нулевой степенью гласного, например лат. *nix*, валлийск. *nyf*; в германском, балтийском и славянском — в виде тематических основ на *-o*, например гот. *snaiws*, др.-прусск. *snaygis*, ст.-слав. *sněgъ*. Возможно, можно было бы допустить выбор альтернативной формы в двух подгруппах «европейской общности». Однако в греческом также засвидетельствована корневая основа с нулевой ступенью чередования, например *νίφα*; в авестийском засвидетельствован родственный глагол *snaēžāt* «пойдет снег». Из рассмотрения приведенного ареального распределения очевидно, что даже формы имени существительного не ограничиваются рамками общеевропейского. Более того, если, как кажется заманчивым, допустить, что в европейских языках формы существительного с особым значением развились из корня, отраженного в санскр. *sni'hyati* «становиться влажным, липким», то значение глагола в авестийском нарушает стройность этой гипотезы. В связи с этим слова, обозначающие «снег», могут явиться весьма слабым доказательством существования европейской языковой общности. Если же, в соответствии со словарем Вальде-Покорного (II, стр. 695) родство с санскритским глаголом со значением «снег идет» следует отвергнуть, то доказательность предложенного построения только уменьшается. Считая это сопоставление дискуссионным, я вовсе не хочу огульно отвергнуть существование предложенной европейской общности; мне хотелось лишь указать на проблемы, которые следует решить, прежде чем можно будет уверенно оперировать этим понятием. Рассмотрение этих проблем также позволяет вскрыть возможности для дальнейшей работы в рамках концепций, приведенных в СГГЯ.

Подробное обсуждение «европейского словарного фонда» («European vocabulary»), а также словаря подгрупп европейской общности заняло бы много места. Я разберу еще лишь два примера, представляющие интерес с методологической точки зрения: слова, обозначающие «лося» и «человека».

Ряд слов, обозначающих лося: др.-исл. *elgr*, др.-англ. *eolh*, др.-в.-нем. *elho*, лат. *alcēs* и русск. *лось* — мог бы явиться ценным доказательством в пользу существования европейской общности в связи с тем, что во всех указанных словах в германском, италийском и славянском строго проводится одно и то же значение в противоположность предполагаемому санскритскому соответствию *ŕśyas* «антилопа». Однако трудно согласиться с утверждением, что лат. *alcēs* произошло от протоиндоевропейск. *olkis* (стр. 57); скорее, учитывая соответствие гласных (ср. греч. *álkē*), эта лексема является заимствованием из германского. Приведенный ряд лексем, таким образом, может свидетельствовать о наличии языковой общности, смежной с германской, причем в пределах этих общностей могло происходить заимствование слов. Латинские и греческие формы, засвидетельствованные в поздний период, также говорят в пользу этой интерпретации; латинское заимствование, возможно, является поздним и относится к эпохе Цезаря, в произведениях которого оно впервые засвидетельствовано, причем германский велярный фрикативный заменяется велярным смычным. Ряд слов, обозначающих лося, таким образом, иллюстрирует те трудности, с которыми приходится сталкивать-

ся при анализе фактического материала; прежде чем приводить данные, подтверждающие предположение о существовании европейской общности (вероятно, во II тысячелетии до н. э.), необходимо тщательно исследовать эти данные с целью выявления возможных поздних заимствований.

При рассмотрении терминов, обозначающих человека, возникает другая проблема — об инновациях в других ареалах индоевропейского. В европейских диалектах засвидетельствовано слово, связанное с и.-е. словом, обозначающим «земля», например, гот. *guma*, лат. *homō*, др.-ирл. *duine*, литов *žmogùs*. С другой стороны, в индо-иранских языках обнаруживаются формы от корня, который постепенно смещает указанные германские лексемы и, видимо, уже сместил соответствующие славянские до периода, к которому относятся древнейшие письменные свидетельства славянских языков, например, санскр. *manuṣ*, ст.-слав. *mąžь*, гот. *manna*. В греческом был введен другой термин ἄνθρωπος, этимология которого неясна, хотя подсказывается возможность его послеиндоевропейского происхождения (это также относится к ст.-слав. *člověkŭ*). Арм. *mard*, как и др.-перс. *martiyas*, греч. βροτός явно вторичны в применении к человеку. Заманчиво было бы принять этимон *guma* и т. д. для протоиндоевропейского; однако разве возможно на основе фактов тех диалектов, где засвидетельствована эта лексема, постулировать единую языковую общность? Засвидетельствованные в тохарском формы *śom*, *śaumo* говорят против этой точки зрения. Видимо, древний и.-е. термин был постепенно смещен; прекрасный анализ, проведенный Бэрроу, помогает выяснить его историю (JAOS, 79, 2, 1959, стр. 85—90). Диалекты, в которых отражена рассматриваемая лексема, возможно, консервативны; однако наличие в них указанного корня еще не свидетельствует о тесной взаимосвязи.

Поэтому в настоящее время вряд ли можно утверждать, что мы располагаем многочисленными данными о существовании общеевропейского. Имеющиеся данные позволяют предполагать только существование общегерманского. Если в конце концов удастся яснее уловить древнейшие языковые соотношения, то приводимые здесь материалы могут оказаться весьма важными.

Вряд ли можно также утверждать, что мы располагаем достаточными данными для того, чтобы выделять различные этапы развития протогерманского. Если эти этапы выделяются, то необходимо дать ясные определения каждого из них. Одной из определяющих черт безусловно является закрепление ударения, хотя эта особенность разделялась германским по крайней мере с частью италийского и кельтского, и потому может считаться характерной для германского главным образом в связи с некоторыми ее результатами. В подтверждение гипотезы об общем сдвиге в акцентуации можно указать на общую систему стихосложения с преимущественной ролью аллитерации в кельтском и германском, а также в дошедших до нас отрывках ранней латинской поэзии. Если выделять несколько этапов развития протогерманского, постулируя, например, существование раннего германского, в котором не было структурного различия между ударными и безударными слогами, не было ассимиляции гласных, в которых именные парадигмы могли строиться как по моделям с фиксированной, так и по моделям с подвижной акцентуацией, то критерии, которыми мы пользуемся, оказываются негативными: они не дают возможности провести границу между догерманским и протогерманским. Если мы не сумеем сформулировать позитивные критерии, позволяющие отличить указанные этапы, мы будем вынуждены признать, что не можем выделить какие-либо другие этапы, кроме самого протогерманского.

Повторим кратко основные достоинства первого тома. Прежде всего мы приветствуем содержащееся в нем прекрасное рассмотрение германской подветви протоиндоевропейского в ее развитии от протогерманского до засвидетельствованных германских диалектов. В общих чертах эти положения, возможно, останутся неизменными. Важен также собранный материал, дающий возможность приступить к аналогичному объяснению ранней истории германского. Независимо от того, удастся или не удастся завершить подобную же классификацию, материал, приводимый в первом томе, а также обсуждение внешней истории догерманских и древнейших германских диалектов, создают великолепный фон для последующих томов, где излагается собственно грамматика.

4. В томе II (авторы — Э. А. Макаев, М. М. Гухман, М. И. Стеблин-Каменский, С. Д. Кацнельсон, под общей редакцией Э. А. Макаева) представлена фонология: сначала излагается система сегментных фонологических элементов — согласные, сонанты и гласные (стр. 11—59), а затем дается фонология слова и характеризуются суперсегментные элементы с указанием их воздействия на сегментные (стр. 160—338). Эти воздействия сводятся главным образом к морфофонемным изменениям, известным под названием аблаута и синкопы в конечных слогах. Изложение отличается полнотой и максимальным учетом библиографии. Приводимый фонетический материал — надежен. Учитывая такую тщательность исполнения вряд ли целесообразно в рецензии касаться деталей.

Отрадно, что протоиндоевропейская и протогерманская фонологические системы рассматриваются в отдельности (стр. 14), причем сначала обсуждается внутренняя структура каждой системы и лишь затем их соотношение друг с другом. [Среди поразительно малого числа непоследовательностей в СГГЯ, которые казалось бы намного более вероятны в коллективном труде, чем в работе одного ученого, следует отметить обозначение аспирированного лабиовелярного (стр. 14 и 25). При обсуждении германского материала где рефлексы протоиндоевропейского gh^{u} и gh^{u} плюс ^{u} совпадают, удобно употреблять последовательность gh^{u}, хотя для протоиндоевропейского более симметричными могут оказаться последовательности смычных, за которыми следует h, $g^{u}h$. Все же в пределах одного текста желательно использовать один и тот же способ обозначения.]

Рассмотрение шумных всегда занимало ведущее положение в германском историческом языкознании. Этот упор на шумные вполне понятен, ибо именно на их объяснении историческое языкознание выросло как самостоятельная научная дисциплина. После того, как Грассман и Вернер решили проблемы, оставшиеся неразрешенными после Гримма, историческое языкознание стало на достаточно прочные основы для того, чтобы объяснять исторические закономерности развития любых других языков. Однако несмотря на то, что объяснение германской системы шумных занимает такое значительное место в историческом языкознании, в последние годы, когда рассмотрение языковых подсистем и систем приобрело большее значение, чем анализ отдельных языковых единиц, изменения, которые претерпели шумные, не кажутся уже столь радикальными как в тот период, когда каждая согласная рассматривалась изолированно. С нашей точки зрения, структура протогерманской системы шумных мало отличается от соответствующей системы в протоиндоевропейском: соотношения в основном остались неизменными, хотя фонетические характеристики были модифицированы. И если, как предлагается в СГГЯ, мы также допустим существование лабиовелярных в ранний период развития германского, то обе фонологические системы почти не различаются; произошла лишь фонетическая перегруппировка, в ходе которой некоторые фонемы в определенных окружениях слились, например $d > t$ с сочетанием st и т. п.; $dh > \delta$ и $-t'- > -\delta-$.

С другой стороны, со структурной точки зрения, одним из наиболее важных сдвигов в системе явилось включение s в ряд, ранее состоявший только из смычных. После развития фрикативных f, θ, x в германском s было включено в один с ним ряд, что в конечном итоге повлияло на возникновение оппозиции глухих: звонких фрикативных, параллельной аналогичной оппозиции смычных, как, например, в английской фонологической системе: $f : v$, $\theta : \delta$, $s : z$, $\check{s} : \check{z}$. Этот важный процесс не получил достаточного внимания в СГГЯ. Хотя развитие протоиндоевропейских смычных в германском рассматривается в СГГЯ очень подробно и глубоко (включая обзор предшествующих теорий в этой области), все же s трактуется скорее в духе младограмматических грамматик: основное внимание обращается на комбинаторные изменения, которые оно претерпевает, а не на те важные следствия, которые имело его включение в германскую систему шумных для последующей истории германских языков. В связи с тем, что, с нашей точки зрения, образование ряда фрикативных, включающего ранее изолированное s, представляет принципиальный сдвиг в германской системе согласных, оно безусловно заслуживает подробного обсуждения в грамматике германских языков.

То же относится к сонантам. Для младограмматиков в этой области не было никаких проблем. Согласные аллофоны в общем оставались неизменными, если не считать комбинаторных изменений, на что в должной мере указывалось. Конечно, как это делается и в СГГЯ, развитие гласных аллофонов r, l, m, n рассматривалось как одна из главных отличительных характеристик германского. Но ввиду его последовательного характера оно рассматривалось весьма кратко. Если, однако, подойти к анализу индоевропейских сонантов с точки зрения Зиверса и Эджертона и считать эти фонемы индоевропейским рядом, включающим гласные и согласные аллофоны, например /y/ [i y iy], /r/ [r r̥ rr̥], то различие между протоиндоевропейским и протогерманским оказывается намного более разительным в системе сонантов, чем шумных фонем. По этой причине сонанты также должны рассматриваться подробно и исчерпывающе. К сожалению, их рассмотрение занимает в СГГЯ сравнительно немного места, особенно если вспомнить то внимание, которое им уделялось в младограмматических работах. Приводится соответствующая библиография; отмечаются сложные процессы, связанные с ларингальными. Однако разрыв между протоиндоевропейским и протогерманским в этой части фонологической системы не получает того внимания, которого он заслуживает. Если рассматривать язык как систему, то вряд ли можно касаться развития шумных, не освещая в той же мере другие части фонологической системы.

Фактически сонанты в тех разрозненных местах тома, где о них говорится, рассматриваются как самостоятельный ряд. При обсуждении последовательностей *ei*, *eu*, *ai*, *au* они определяются не как дифтонги, но скорее как сочетания двух отдельных элементов. С точки зрения германской фонологической системы, из которой авторы постоянно исходят, слияние «гласных» и «сонантов» в дифтонги можно связать непосредственно с германской тенденцией к ассимиляции гласных под ударением, которая подчеркивается в книге. Авторы также указывают, что ассимиляция гласных в свою очередь связана со сдвигом ударения в германских языках. В связи с этими двумя явлениями вполне можно объяснить возникновение дифтонгов. Ввиду того, что сильное ударение на корне вело к образованию фонологических единиц, в сочетании с которыми гласные подвергались ассимиляции, последовательности «гласная плюс сонант», существовавшие ранее, также ассимилировались друг с другом, что и давало дифтонги.

Связь развития германских дифтонгов с акцентуационными процессами представляет интерес также для относительной хронологии. Дело в том, что такая связь влечет за собой необходимость допустить существование отдельного ряда сонантов вплоть до раннего протогерманского.

Хотя рассмотрение сонантов в последующих изданиях СГГЯ необходимо расширить, следует отметить, что развитие самих германских гласных в различных диалектах получило в СГГЯ подробное описание, причем хорошо разрабатывается вопрос о постепенной связи системы кратких и системы долгих гласных. Обсуждение спорных проблем (невозможность признания протогерм. *o* даже для неударных слогов, необходимость допустить, что /e/ и /i/ были отдельными фонемами в позднем протогерманском), несмотря на скудность данных, подтверждающих это положение, дается весьма основательно; то же можно сказать и в отношении теории происхождения *ē*². Превосходно наблюдение, что развитие *ē*² из *ēi* следует рассматривать как происшедшее в результате невозможности обычного понижения и.-е. *ē* в протогерм. *æ* в связи с наличием *i*, ибо здесь опять частные явления связываются с общими германскими процессами, с точкой зрения авторов на германскую ассимиляцию гласных. Это наблюдение также хорошо согласуется с положением об умлауте как явлении, существование которого следует допустить начиная с протогерманского периода. В свете указанного наблюдения отпадает необходимость постулировать мистическое морфологическое происхождение *ē*². Как указывают авторы (стр. 125—126), точный источник *ē*² можно установить в двух небольших рядах форм. Одна из них аналогична по фонетическому окружению глаголам седьмого класса, для которых был необходим показатель претерита. Новая гласная оказалась вполне пригодной для выполнения этой роли и отсюда получила большую функциональную нагрузку в различных германских диалектах. Таким образом, разбор гласных, насколько это позволяют имеющиеся факты, дал возможность наиболее удовлетворительно разрешить вопросы, связанные с этим участком германской фонологической системы.

Очень основательно разбираются проблемы фонологии слова; при этом излагаются последние теоретические взгляды относительно суперсегментных элементов, а также детально обсуждаются соответствующие явления в различных диалектах вплоть до наших дней. Указанный раздел не ограничивается строго рассмотрением «слова», но, к счастью, кратко касается и фразы (phrase).

Именно такой подход явился основой обширного разбора аблаута, содержащего полный анализ различных концепций его развития в протоиндоевропейском. Ввиду того, что явление аблаута, в связи с его соотношением с суперсегментными элементами, следует признать одним из наиболее сложных в индоевропейских языках, изложение этого явления не может быть простым. Возникает, однако, вопрос, важен ли подробный обзор предшествующих теорий в работе, посвященной одному из индоевропейских диалектов; возникает также вопрос, является ли наиболее правильным такой способ изложения фактов германских языков, когда эти факты соотносятся с индоевропейскими «ступенями аблаута». Более удобным представляется придерживаться методов, используемых при разборе шумных сначала дать синхронное описание германских и протоиндоевропейских данных с необходимыми комментариями. Хотя можно восхищаться той тщательностью, с которой собраны факты в СГГЯ, ценность этого раздела скорее состоит именно в самих фактах, а не в ясном разборе вопроса, который позволил бы исследователю понять морфофонемные взаимоотношения в протоиндоевропейском, с одной стороны, и в протогерманском — с другой.

Обсуждение «законов конца слова» также весьма основательно. Можно опять удивляться той скрупулезности, с которой учитываются прежние теории (ср., например, воспроизведение составленных Хиртом в «Indogermanische Grammatik» списков, приводившихся им в подтверждение своих взглядов на различные типы ударения в индоевропейских конечных слогах, в особенности поскольку в наши дни эта теория вряд ли признается доказательной). Если же сравнить то основное, что сказано в СГГЯ о конечных

слогах (стр.315 и сл.) ,надежный материал оказывается гораздо более ограниченным, чем у Хирта. Основной трудностью при рассмотрении конечных слогов, несомненно, является то, что в большинстве случаев мы имеем дело с негативными данными. В некоторых формах можно быть относительно уверенными; если, например, в германском засвидетельствована форма 2-го лица ед. числа императива без конечного гласного, например гот. *bair*, то с определенной уверенностью можно полагать, что более древняя форма оканчивалась на *-e* (это становится очевидным при сравнении греч. φέρε и т. д., а также других форм, в которых в германском не обнаруживается предполагаемого п.-е. *-e*). Однако когда мы формулируем «законы конца слова» на основе форм, для которых нет надежного индоевропейского этимона, их доказательность весьма невелика. Ненадежны п.-е. *-dhēm*, *-dhōm* *-dhēt*, *-dhōt*, на основе которых путем сравнения с формами типа гот. *nasida* и т. д. делаются выводы о «поведении» фонем в конечных слогах. Как хорошо известно, наши предшественники значительно охотнее, чем современные исследователи, восстанавливали фонологические единицы в целях объяснения их германских рефлексов, возникших, как они считали, но не имеющим исключений звуковым законам. Если учесть все возможные аналогические модификации при редукции окончаний, резко ограничивается число конечных фонем, которые можно с уверенностью отнести к индоевропейскому. СГГЯ также очень осторожна при приведении соответствующих форм. Однако «рефлексы» индоевропейских долгих дифтонгов, приведенные на стр. 335, не внушают доверия. Строгий подход к проверенным фактам представляется нам более предпочтительным при изучении конечных фонем, чем реконструкция индоевропейских этимонов для всех германских форм.

В общем в томе II дается сжатое и вполне надежное изложение германской фонологии. Желание отдать должное предшествующим исследователям иногда отвлекало внимание авторов в сторону библиографии, хотя гораздо полезнее было бы вместо этого сконцентрировать внимание на более полном описании протогерманского состояния. Нельзя не признать, однако, что, собрав в компактной форме библиографию и материал, занимающие более пятидесяти страниц убористого шрифта в конце тома, авторы оказали большую услугу германистике.

5. Уже то обстоятельство, что в томе III (авторы — М. М. Гухман, Е. С. Кубрякова, Э. А. Макаев, О. И. Москальская, С. А. Миронов, под общей редакцией М. М. Гухман) встречается меньшее число ссылок на предшествующие работы, наводит на мысль, что при его составлении пришлось проделать значительно больше самостоятельной работы, чем в предыдущих двух. Нельзя сказать, что в томе отсутствуют ссылки; наоборот, создается впечатление, что все основное учтено. Но в особенности в разделах, посвященных словообразованию, авторы провели весьма значительное самостоятельное исследование материала.

Том начинается мастерски написанным, компактным разделом, посвященным структуре германского слова (стр. 7—38). Затем разбирается именное словопроизводство (стр. 39—131), после чего дается обширный анализ флексии имени существительного (стр. 132—302); далее рассматриваются местоимение (стр. 303—347) и числительные (стр. 348—402). Введение дает хорошую основу для последующего детального анализа, намечая развитие в пределах германских языков от типичных индоевропейских сочетаний корня и аффикса к более свободным сочетаниям элементов (как это засвидетельствовано в дошедших до нас готских памятниках, например *ga-þ-þanmi-sandidêdum*) и далее к словосложению.

Раздел, посвященный словообразованию, наглядно показывает, как много потребовалось труда, для того чтобы добиться компетентного обобщения германского фактического материала. После рассмотрения основных средств именного словообразования следуют три раздела: один посвящен префиксации, второй — суффиксации, а третий — собственно словосложению. При разборе аффиксов авторы старались не только представить германское состояние, но и отразить те изменения, которые характерны для различных диалектов. Префиксы, например, классифицируются на следующие четыре группы: 1) префиксы, употребляющиеся при словообразовании; 2) префиксы, которые также могут соответствовать предлогам; 3) префиксы, которые также могут соответствовать предлогам и наречиям; 4) префиксы, которые также могут соответствовать наречиям. Затем приводятся сами аффиксы, причем выводы суммируются в таблицах. Чтобы проиллюстрировать сказанное приведем анализ одного префикса из 23 разобранных в книге; гот. *faura-*, *faur-* включен в группу 3; др.-исл. *for-* в группу 1; др.-англ. *for-*, *fore-* и др. -сакс. *for-*, *far-* в группу 2; др.-в. -нем. *fora* в группу 3. Реконструируемая форма дается в виде герм. *fra-*. Хотя можно не соглашаться с частностями, например с предложенной германской формой *fra-* (ее можно считать приемлемой в качестве этимона в том случае, если считать, что она представлена в фонемной транскрипции с вариантом *fr-*), приведенный материал будет полезен для работ в области германской префиксации или словообразования вообще.

Можно сделать еще несколько замечаний. Возможно, следовало бы дать более полный анализ акцентуационных мо

делей сложных слов; может быть, например, поставлен вопрос, не являются ли вариантами модели ∠ — и ∠ ∠ или — ∠ и ∠ ∠. Отдельные примеры следовало бы рассмотреть подробно; например, разбор спорного др.-в.-нем. слова *sunufatarungo* был бы уместен при обсуждении соответствующего суффикса (стр. 87—88); когда же это слово приводится на стр. 113, оно только снабжено переводом «сын и отец», как будто бы суффикс не имел никакого значения даже в архаическом языке германского эпоса. Хотя подобная интерпретация встречается в литературе о «Песне о Гильдебранде», она вряд ли имеет силу для протогерманского состояния.

Цель настоящих замечаний состоит только в том, чтобы показать широту подхода к проблемам и значительный объем привлекаемого материала при удивительной сжатости изложения трудного вопроса.

Рассмотрению флексий также уделено большое внимание. Мы особенно благодарны за тщательно выполненные списки форм, например, за факты рунических надписей, приводимых в той мере, в какой они засвидетельствованы. Хотя в вводных замечаниях говорится, что можно выделить три этапа развития флексии — общеиндоевропейский, общегерманский и диалектный — реконструируемые парадигмы даются только для общегерманского. СГГЯ следует здесь обычному порядку изложения, хотя вместо подразделения основ на гласные и согласные предлагается подразделение на *o*-основы, *ā*-основы, *i*-основы и *n*-основы, с одной стороны, и *u*-, *s*-, *r*-, *nt*-основы и корневые основы — с другой. Можно признать правильным отказ от классификации на гласные и согласные основы, ибо она скорее отражает индоевропейскую, а не германскую систему, хотя в том, что сохраняются определенные индоевропейские названия типа «*o*-основы» остается некоторое противоречие. Однако в исторической грамматике, основанной на длительной исследовательской традиции, нецелесообразно полностью порывать с предшествующей научной практикой; вряд ли стоит также придерживаться догматической точки зрения в отношении отклонений от более старой классификации.

Поскольку анализ флексии был как раз сильной стороной науки XIX в., вряд ли можно ожидать здесь каких-либо новшеств. Недавние попытки разрешить некоторые трудности, связанные, например, с готским окончанием род. падежа мн. числа *-e* тщательно документированы, как это и вообще типично для работ Э. А. Макаева. Отрадно также и то, что он не реконструирует протогерманский этимон для формы, засвидетельствованной только в одном германском диалекте.

Некоторые из предложенных реконструкций заслуживают дальнейшего рассмотрения. Например, дат. падеж *a*-основ, представлен в виде протогерм. *gebōi*, несмотря на то, что наличие «долгих дифтонгов» не постулируется для протогерманской фонологической системы. Хотя можно согласиться с допущением протоиндоевропейского *-āy* как возможного источника разнообразных германских рефлексов, целесообразно все же вместо протогерм. *-ai* предположить две протогерманские формы, одна из которых является этимоном готского окончания, а другая — этимоном окончаний в других диалектах. Такая же осторожность относится и к предложенной протогерманской форме *sunēu* (стр. 216, 221).

Было бы также желательно более подробно рассмотреть некоторые частные проблемы, например те, которые возникают в связи с готской *jā*- основой *mawi*. Как указано на стр. 185, здесь мы скорее имеем дело с формой им. падежа существительного с долгой (типа *bandī*), а не с краткой основой (типа *banja*). Подобно Прокошу, Э. А. Макаев объясняет *-i*, постулируя более раннюю форму **magwī*. Однако в связи с тем, что при рассмотрении германской фонологии, он считал протогерманские лабиовелярные отдельными фонемами, в данном случае можно было бы ожидать окончания *-ja*. Если исходить из обоих приведенных допущений, то мы приходим к выводу, что в определенный период существования протогерманского лабиовелярные распались на две фонемы, когда оба окончания могли еще быть подвергнуты перераспределению. Исходя из форм типа *mawi*, можно расширить наше понимание развития протогерманского, т. е. как раз одной из тех областей исследования, которой интересуется Э. А. Макаев.

В связи с опечаткой в одной из др.-в.-нем. форм инструментального падежа на стр. 194, нельзя определить, имели ли авторы в виду представить формой, вынесенной за скобки, «консервативную» форму *gastu* или более позднюю *gestiu*. Предпочтительной кажется нам более давняя форма; вообще было бы хорошо следовать практике приводить только одну форму склонения для каждого диалекта. Только в одном древневерхненемецком языке можно найти такое обилие форм, что громоздкость соответствующих таблиц сделала бы их трудными для педагогических целей. Более того, в случае, когда даются несколько форм, возникают разного рода трудности, как это получилось в отношении форм дат. падежа ед. числа *n*-основ (стр. 197); вероятно, последнее из приведенных здесь окончаний следует читать *-en-i*.

Вообще именное склонение рассматривается с большой тщательностью, особенно те формы, которые в германском сохранились только как реликты индо-

европейских парадигм, например корневые основы. Несмотря на иногда возникающие частные вопросы (типа приведенных выше), написанный Э. А. Макаевым раздел будет весьма полезен для всех занимающихся именной флексией в протогерманском.

Рассмотрение местоимений подразделяется на две части: в первой обсуждаются парадигмы, а во второй дается анализ основ. Разбор, как и в предыдущих разделах, отличается тщательностью и компетентным подходом. Результаты суммируются в таблицах. Композиционно раздел о местоимениях построен так же, как остальные.

То же относится к числительным. Формы количественных и порядковых числительных (включая флексии) полностью приводятся в тексте. Полно излагаются предшествующие исследования. Как и разделы, посвященные существительным и местоимениям, раздел о числительных оканчивается общими выводами, касающимися их особенностей в германском. При такой композиции становится возможным, несмотря на большое количество частностей, не упустить рассмотрение более общих процессов.

6. В заключение следует приветствовать отдельных авторов за квалифицированное изложение соответствующих разделов. Три рецензируемых тома отличаются тщательностью изложения германского фактического материала и основных проблем. Новые интерпретации сведены к минимуму, как это и должно быть во всяком компендиуме. Жизнеспособность «Urgermanische Grammatik» Штрайтберга объясняется насыщенностью ее фактическим материалом; хотя теоретической основой автора является младограмматизм, основное его внимание сконцентрировано скорее на фактах, а не на каком-либо новом аспекте рассмотрения проблемы. Благодаря этому обстоятельству грамматика Штрайтберга сохранила свое значение до сих пор.

СГГЯ может сохранять свое значение столь же долго, хотя мы надеемся, что компетентная группа специалистов, создавшая ее, выпустит переработанное издание. Но стоит пытаться предсказать те пути, по которым пойдет переработка. Видимо, наиболее заметным преимуществом СГГЯ по сравнению с грамматикой Штрайтберга и другими предшествующими грамматиками является структурный подход и учет социолингвистических установок. Более совершенное рассмотрение германской фонологической системы связано именно со структурным подходом. Может ли более сложная структурализация трансформационной грамматики оказаться полезной в применении к праязыку, где мы располагаем весьма незначительными данными, покажет будущее. Если на этот вопрос будет дан положительный ответ, то данные, собранные в СГГЯ, представят принципиальную важность для составления протогерманской трансформационной грамматики.

Социолингвистический фон оказался особенно необходимым для связи дошедших до нас лингвистических данных, для более углубленного понимания различных германских диалектов, в том числе материалов типа руничских памятников. Штрайтберг и другие младограмматики, ограничиваясь рассмотрением строго лингвистических проблем, достигли общего описания узкого отрезка языка. Последующие исследования дали возможность дополнить такое описание определенными деталями и некоторыми сдвигами в общих положениях. Все это и отражено в СГГЯ.

Заслуги отдельных авторов не будут преуменьшены от того, что мы обратим особое внимание на В. М. Жирмунского. Хотя СГГЯ и подобные ей по объему работы делаются группой ученых, какой-нибудь один исследователь может занимать преимущественное положение хотя бы за его большие достижения в данной области, что в конце концов ведет к более полному рассмотрению материала. СГГЯ с этой точки зрения можно рассматривать как особое достижение В. М. Жирмунского. Вместе со своими коллегами он показал пример того, как следует составлять компендиумы в будущем. Расширение знаний за последние полвека было настолько велико, что большинство лингвистических исследований по сути дела представляют собой монографии по узкому кругу проблем. Это существенно. Однако в связи с отсутствием нового компендиума мы обычно пользуемся старыми работами, по-своему модифицируя содержащиеся в них положения. Успех последующих томов СГГЯ, возможно, во многом определит появление и содержание компендиумов в будущем. В настоящем своем виде СГГЯ будет иметь большое значение для исторической грамматики германских языков. Мы надеемся, что она представит особую важность в связи с тем, что явится примером для других научных начинаний, которые необходимы для поднятия различных исторических грамматик на уровень современных знаний.

У. Ф. Леман

Перевел с английского *М. М. Маковский*

«Основные направления структурализма». — М., Изд-во «Наука», 1964. 360 стр.

Современное состояние языкознания нередко определяют как состояние «кризиса», причем этому слову приписывают разные значения. С точки зрения одних кризис — это тупик, упадок, вырождение[1]; с точки зрения других — это симптом стремительного движения, бурного роста нашей науки, критически пересматривающей свои собственные логические и методические основы, свое прошлое и настоящее, и атакующей новые, более высокие рубежи научного знания[2].

Мы согласны с определением современного состояния языкознания как состояния кризиса только лишь во втором значении этого слова, в значении быстрого роста, «переоценки ценностей» и порожденной этими процессами «парадоксальной ситуации»[3]. Нет сомнения, что главной виновницей нынешнего кризиса (в указанном смысле) языкознания является структурная лингвистика. Именно в структурной лингвистике проявились с наибольшей полнотой некоторые тенденции, издавна присущие языкознанию: стремление к «самопознанию», т. е. к выяснению и проверке исходных понятий и принципов лингвистики, желание превратиться в точную науку, в науку в строгом и специальном смысле этого слова и связанная с этим процессом «математизация»[4] и т. д. Неудивительно, поэтому, что структурная лингвистика оказалась в центре внимания современного теоретического языкознания. Одним из выражений такого пристального внимания к структурной лингвистике является выход в свет обширной и фундаментальной монографии «Основные направления структурализма», выполненной группой сотрудников Института языкознания АН СССР под руководством М. М. Гухман и В. Н. Ярцевой.

По мысли авторов, задача этой монографии — на основе анализа четырех основных направлений структурной лингвистики — Пражской школы, глоссематики, американского дескриптивизма и Лондонской школы, показать то общее, что их объединяет и вместе с тем особенно выделить «специфические черты, характеризующие каждую школу и определяющие ее существование как индивидуальной лингвистической системы» (стр. 3). Большое место в книге уделяется разбору «методики лингвистического анализа, разработанной в структуральной лингвистике, так как — по справедливому замечанию авторов — именно в этой области структуралисты внесли немало нового и ценного в практику лингвистического исследования» (стр. 4).

Рецензируемая монография состоит из «Введения» (написанного проф. М. М. Гухман) и четырех глав. Книга снабжена списком сокращений и именным указателем. Первая глава (автор Т. В. Булыгина) посвящена Пражской лингвистической школе. Предметом рассмотрения второй главы (автор В. П. Мурат) является глоссематическая теория. В третьей главе (авторы Н. Д. Арутюнова, Г. А. Климов, Е. С. Кубрякова) читатель знакомится с американским структурализмом. И наконец, в четвертой главе (автор Е. С. Кубрякова) излагаются основные черты и этапы становления английского структурализма — Лондонской лингвистической школы. Теория и методы Лондонской лингвистической школы вплоть до настоящего времени привлекали к себе гораздо меньше внимания и были менее известны, чем идеи и методы остальных трех направлений структурной лингвистики, уже успевших стать как бы «классическими» разновидностями структурализма. Однако, как убедительно показано в соответствующей главе книги, Лондонская школа заслуживает самого серьезного внимания. Можно полагать, что рецензируемая работа послужит стимулом к дальнейшему бо-

---

[1] Для выхода из этого «тупика» отдельные авторы предлагают свои «рецепты». Считают, например, что стóит отказаться от «модернизма» и «дегуманизации» лингвистики (т. е., очевидно, возвратиться к «старым, добрым» традициям), заняться «большими» проблемами (язык и мышление, язык и общество, язык и история... Впрочем, как заняться? Так, как занимался ими Н. Я. Марр?), сделать специальные лингвистические исследования, печатающиеся на страницах научных журналов, достоянием миллионов людей, и лингвистика будет «спасена»! (Ср.: В. И. Абаев, Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке, ВЯ, 3, 1965).

[2] Ср.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, II, М., 1965, стр. 467.

[3] См.: Ю. В. Рождественский, О современном строении языкознания, ВЯ, 3, 1965, стр. 65.

[4] Уже выдвижение младограмматиками принципа регулярности звуковых изменений и, в связи с этим, разработка полуформализованной техники установления строгих схем соответствий между родственными языками и реконструкции праязыкового состояния путем исторической интерпретации этих схем знаменуют собой начало «математизации» (в широком смысле) лингвистики. Неслучайно, что у противников структурализма можно часто обнаружить также и резко отрицательное отношение к младограмматизму (см., например, В. И. Абаев, указ. соч., стр. 27—30).

лее детальному изучению опыта английских ученых.

Давая общую оценку монографии, можно сказать, что она в основном достигает своей цели. Круг проблем, рассматриваемых в монографии, чрезвычайно широк. Проделана огромная, исключительно трудоемкая работа по сбору и анализу первоисточников. Нам не известна другая книга, в которой можно было бы найти такую полную и во многих случаях объективную картину современного этапа развития структурной лингвистики, какую раскрывают перед читателем авторы рецензируемой монографии. Разумеется, нельзя утверждать, что суждения и оценки, которые мы находим в книге, являются единственно правильными и окончательными. Но нет сомнений, что монография обогащает наши знания о важнейшем течении современной лингвистической мысли и тем самым вносит свой вклад в теоретическое языкознание.

Переходя к более подробному разбору содержания рецензируемой монографии, нам кажется целесообразным выделить две основные проблемы, от правильной постановки и решения которых, по нашему мнению, зависит решение некоторых других проблем, связанных с оценкой достижений и неудач, а также дальнейших перспектив структурной лингвистики: 1) степень зависимости лингвистических теорий от философских (а также психологических, социологических и т. д.) концепций; 2) проблема единства структурной лингвистики. Естественно, мы не претендуем на решение этих сложных и фундаментальных проблем, но, тем не менее, позволим себе высказать ряд соображений, в определенной мере расходящихся с точкой зрения авторов монографии.

Просматривая работы по истории языкознания, можно нередко заметить, что история этой научной дисциплины изображается как последовательная смена вассальных зависимостей. Эволюционистская биология Дарвина (а также философия Гегеля) — натурализм и эволюционизм А. Шлейхера; естественнонаучный позитивизм XIX в.— младограмматизм; социологическая теория Дюркгейма — лингвистическая концепция Ф. де Соссюра; неопозитивизм и прагматизм (а также бихевиоризм в психологии) — американская дескриптивная лингвистика и т. д.

Было бы, конечно, бесполезно отрицать влияние философии непосредственно или через соответствующие социологические, психологические и т. д. доктрины на лингвистику[5]. Однако, акцентируя зависимость лингвистики от философии и других наук, в первую очередь — гуманитарных, часто оставляют без должного внимания внутреннюю историю лингвистики, подчиняющуюся своей собственной логике, которая, в свою очередь, в значительной степени определяется разработкой методического аспекта этой научной дисциплины, теснейшим образом связанного с практикой исследования конкретного языкового материала[6].

Будучи конкретной и объективной по своей природе и устремлениям наукой, лингвистика автономна в известных пределах и, стремясь ко все более полному и глубокому познанию своего объекта, развивается не только в зависимости от философских и других концепций, но и независимо от них, а иногда даже вопреки им. Для лингвистики как позитивной науки характерно поступательное движение, и вне зависимости от расцвета или упадка философских, социологических, эстетических и т. д. учений лингвистика второй половины XX в. с точки зрения объема положительных знаний, разнообразия идей и замыслов и совершенства методов исследования стоит неизмеримо выше, чем лингвистика конца XIX в., не говоря уже о более ранних этапах развития нашей науки. Каждое направление лингвистики вносит что-то новое, открывает новые аспекты изучаемого объекта, обогащает арсенал приемов лингвистического исследования и таким образом вносит свой вклад в общий прогресс науки о языке[7]. Этим объясняется, например, тот факт, что аппарат сравнительно-исторического языкознания, разработанный языковедами XIX в. и, в первую очередь, представителями младограмматической школы, не только сохраняется, но и непрерывно совершенствуется и mutatis mutandis с успехом применяется представителями структурной лингвистики в диахронических исследованиях[8].

[5] Причем, это влияние может оказаться как положительным, так и отрицательным.

[6] Мы уже ничего не говорим о том, что проблема влияния лингвистики на другие науки до сих пор остается недостаточно разработанной.

[7] Быть может, единственным исключением из этого правила является «новое учение о языке» Н. Я. Марра с его методом четырехэлементного палеонтологического анализа, оказавшимся совершенно бесплодным. Причину полного крушения марровской концепции следует искать именно в чрезмерной и неправомерной «идеологизации» языка и языкознания, приведшей к игнорированию объективной природы лингвистики как науки и, прежде всего, ее методического аспекта, в наименьшей степени зависящего от какой бы то ни было идеологии.

[8] См., например, H. M. Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction, Chicago, 1960; W. P. Lehmann, Historical linguistics, New York, 1962 и др.

Автономность лингвистики как науки в той или иной мере, по-видимому, признается и авторами рецензируемой монографии, хотя это положение и не сформулировано ими эксплицитно. Во всяком случае, как уже было сказано, авторы подробно разбирают структурные методы лингвистического анализа, тем самым так или иначе признавая важность методического аспекта языкознания и в основном объективно оценивая вклад структурной лингвистики в разработку этого аспекта. Но, вместе с тем, в книге находят свое отражение и концепция «пассальной зависимости» лингвистики от философских, психологических и других воззрений, что особенно наглядно проявляется во «Введении». Это обстоятельство, по нашему мнению, отрицательно повлияло на решение второй основной проблемы, проблемы единства структурной лингвистики.

При решении проблемы единства структурной лингвистики, очевидно, придется ответить на два взаимосвязанных вопроса: 1. Является ли структурная лингвистика единым направлением современного языкознания, или под названием «структурализм» механически объединяются различные, имеющие между собой очень мало общего, течения лингвистической мысли? 2. Возможно ли в принципе построение единой структурной лингвистики, синтезирующей наиболее плодотворные идеи и методы, выдвинутые различными школами структурализма? Второй вопрос, собственно, и не ставится в рецензируемой работе [9]. Что же касается первого вопроса, то он остается без определенного ответа[10].

Рассматривая различные направления структурализма (за исключением, пожалуй, Пражской школы) как производные от соответствующих философских, психологических и т. д. концепций, авторы монографии в сущности закрывают себе путь к эффективным поискам тех внутренних связей, которые существуют или могут существовать между отдельными школами структурной лингвистики. Этим объясняются некоторые противоречия, обнаруживаемые в рецензируемой монографии.

Например, соглашаясь с мнением некоторых чешских лингвистов (аналогичного мнения придерживается также и Ч. Хоккет), автор первой главы (Т. В. Булыгина) пишет: «Считая, что под названием „Пражская школа" кроется понятие скорее хронологическое, чем географическое, правильнее всего было бы, видимо, рассматривать ее как особый этап (разрядка автора.— *Г. М.*) в развитии структурализма» (стр. 47). Но это утверждение находится в очевидном противоречии с сомнениями того же автора насчет существования некоего «инварианта» структурализма (стр. 47, примеч. 5) и, в еще большей степени, с фактическим отрицанием существования структурализма как единого направления (стр. 44—45)[11].

Анализируя и сравнивая исследовательские методы, разработанные различными школами структурной лингвистики, авторы монографии, естественно, находят между ними много общего, но увлекаясь поисками больших и малых расхождений между отдельными направлениями структурализма, они порой упускают возможность найти именно те «инварианты», явное или неявное существование которых и является объективной основой нашего — отчасти интуитивного — ощущения единства этого направления современной лингвистики.

Например, легко можно показать, что методы фонологического анализа Пражской школы и дескриптивной лингвистики (в известной степени также и Лондонской школы) идентичны в своей основе[12]. Этого, в сущности, не отрицают и авторы монографии (стр. 171, 326). Однако, с другой стороны, они придают преувеличенное значение некоторым, на наш взгляд, малосущественным расхождениям, обнаруживаемым между указанными направлениями структурной лингвистики. Взять, хотя бы, принцип «фонетического сходства», привлекаемый в качестве одного из критериев при идентификации позиционных вариантов фонем. Почему-то у авторов рецензируемой книги получается, что этот критерий в руках дескриптивистов является шатким, неопределенным и субъективным, в то вре-

[9] Хотя авторы монографии говорят о наличии синтезирующих тенденций и даже синтезирующих школ в современной структурной лингвистике (см., например, стр. 26, 210).

[10] Скорее всего, создается впечатление, что авторы отрицают существование структурализма как целого (см., например, стр. 44—45, а также стр. 47). Надо отметить, что коллективу авторов, по-видимому, не во всех случаях удалось выработать единую точку зрения, вследствие чего порой проглядывают расхождения во взглядах между авторами различных частей книги.

[11] Т. В. Булыгина возражает против сомнений «в принадлежности Пражской школы к структурализму», высказывавшихся «одно время как в самой Чехословакии, так и за ее пределами» (стр. 123). Но как может принадлежать Пражская школа к направлению, которое в итоге объявляется несуществующим?

[12] Ср. также метод коммутации Л. Ельмслева, в принципе ничем не отличающийся от метода нахождения дистинктивных оппозиций у пражцев и метода субституции (или минимальных пар) в дескриптивной лингвистике (ср. стр. 171).

мя как применение Н. С. Трубецким того же принципа находит у них одобрение (ср. стр. 67, 75 и 216—217). Конечно, надо согласиться с Т. В. Булыгиной, что Н. С. Трубецкой пытался найти объективный критерий определения «фонетического сходства» (стр. 75), тогда как американцы в аналогичных случаях полагаются скорее на интуицию, но это обстоятельство не должно заслонить собой тот фундаментальный факт, что явно или неявно всякая фонология апеллирует к принципу «фонетического сходства» в процессе сведения аллофонов (вариантов) к соответствующим фонемам (инвариантам)[13].

У представителей различных направлений структурализма нередко можно обнаружить не коренное расхождение в методах, а неодинаково последовательное и точное, или неодинаково умеренное применение одних и тех же методов (ср. стр. 26). Это создает благоприятную основу для взаимного восполнения пробелов и выработки единых структурных методов лингвистического исследования, включая и анализ и синтез, а также важнейшие аспекты диахронического изучения языка. Единство структурной лингвистики (единство реальное и в еще большей степени — потенциальное) заключается прежде всего в принципиальном единстве методов. Опираясь на анализ самих методов, возможно, удастся найти импликации, лежащие в основе общей теории структурной лингвистики.

Отметим ряд более частных моментов.

Одним из достоинств первой главы, посвященной Пражской школе, надо признать тот факт, что, в отличие от некоторых других аналогичных по теме работ, в этой главе рецензируемой книги подчеркивается роль местных, чешских традиций в возникновении и развитии указанной школы (см. стр. 47 и след.). По нашему мнению, следует признать убедительным обоснование автором первой главы теории «автономности» различительных признаков (дифференциальных элементов) как минимальных фонологических единиц, выдвинутой представителями Пражской школы, и защиту дихотомической теории Р. О. Якобсона и его коллег от необоснованной критики (см. стр. 63—66). Вообще, Т. В. Булыгина дает высокую оценку достижениям Пражской школы в области не только фонологии, но и грамматики, и с этим так же нельзя не согласиться.

Однако вряд ли можно солидаризироваться с Т. В. Булыгиной, когда она дает положительную оценку попыткам пражцев ввести понятие эволюции в синхроническое исследование языка (стр. 50—52). Нетрудно увидеть, что такие попытки ведут к логическому противоречию. В этом отношении другие направления структурной лингвистики нам представляются более последовательными[14].

Вторая глава содержит ясное и последовательное изложение взглядов Л. Ельмслева и других глоссематиков, что, ввиду сложности глоссематической теории, является нелегкой задачей. Рассматривая глоссематику как «одну из первых попыток построения аксиоматической теории в области лингвистики» и отмечая важность этого эксперимента (стр. 176), В. П. Мурат разъясняет и опровергает ряд недоразумений, возникших вокруг глоссематики, интерпретируемой в качестве универсальной теории языка, претендующей заменить собой все другие теории и методы (стр. 170—176). Универсализация глоссематической теории решительно осуждается автором рассматриваемой главы (стр. 176), с чем, по-видимому, следует согласиться.

Анализ теории и методов американской школы, пожалуй, наиболее динамичного и неоднородного направления структурализма (ср. стр. 25) — задача довольно трудная. Надо сказать, что авторы третьей главы рецензируемой книги в целом успешно справились с этой задачей. Особенно интересной и содержательной показалась нам часть главы, посвященная грамматике (автор Н. Д. Арутюнова). Следует особо выделить проблему взаимоотношения порождающей и аналитической моделей языка, представляющую собой одну из актуальных проблем современного теоретического языкознания. По нашему мнению, Н. Д. Арутюнова справедливо отвергает утверждения представителей порождающей грамматики об абсолютном превосходстве порождающей модели над аналитической, разрабатываемой дескриптивистами и представителями других направлений «таксономического» структурализма (стр. 288—306)[15]. Справедливым также кажется мнение авторов рассматриваемой главы, что трансформационное языкознание представляет собой следующую фазу развития дискриптивного направления.

---

[13] Точно так же, фактор значения (если не «референтного», то во всяком случае «дифференциального») всегда учитывается при идентификации морфем. Более того, «дифференциальное» значение присутствует и в фонологическом анализе. В частности, отличить свободное варьирование (факультативное чередование звуков в парадигматическом плане) от контраста (оппозиции) можно лишь с помощью критерия «дифференциального» значения.

[14] К сожалению, здесь нет возможности рассмотреть этот вопрос более подробно.

[15] Ср. также C h. F. H o c k e t t, Linguistic elements and their relations, «Language», XXXVII, 1, 1961, стр. 50—52.

Сравнивая Лондонскую и американскую школы, авторы монографии (в частности, Е. С. Кубрякова) обвиняют американцев в априоризме и отдают предпочтение подходу ad hoc английских лингвистов (см. стр. 312, 333, 352). С этим положением авторов, однако, едва ли можно согласиться.

Во-первых, описывать разные языки с помощью одних и тех же методов не значит навязывать изучаемому языку готовую схему описания. Как указывает З. Харрис, исследовательские методы лингвиста могут быть приблизительно одинаковыми для многих языков, но полученные в результате анализа определения элементов и их взаимных отношений применимы только к данному языку[16].

Во-вторых, лингвистика как единая наука не может не оперировать некоторыми понятиями и категориями, общими для всех или большинства языков, например дифференциальные элементы, фонема, морфема и т. д. К тому же применение единых принципов и методов исследования к языкам различных систем создает необходимую предпосылку для построения структурной типологии языков на подлинно научных основах и стимулирует дальнейшие плодотворные поиски лингвистических универсалий.

Универсализация лингвистики в той мере, в какой это достижимо в условиях существования большого числа разнотипных языков, не только допустима, но и в высшей степени желательна.

Г. И. Мачавариани (Тбилиси)

[16] Z. S. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 8 (примеч. 6). З. Харрис говорит также о необходимости некоторых модификаций процедур анализа в зависимости от изучаемого языка. Z. S. Harris, указ. соч., стр. 6.

Р. Я. Удлер. **Молдавские говоры Черновицкой области в сравнении с говорами Молдавской ССР, Закарпатской области УССР и других смежных областей дако-романского массива. Консонантизм.** — Кишинев, Гос. изд-во «Картя Молдовеняскэ», 1964. 276 стр.

Исследование Р. Я. Удлера является итогом длительного изучения обширного, самостоятельно собранного материала. Автор обследовал говоры 40 населенных пунктов Северной Буковины, 6 населенных пунктов Закарпатья и около 70 сел северной части Молдавской ССР (см. стр. 10—12 и карту № 1). В молдавской диалектологии это первая работа, основанная на материалах почти сплошного анкетирования. Обследуемая территория — промежуточный участок древних переселений — представляет богатый лингвистический материал, имеющий весьма важное значение как для исследования вопроса истории молдавского языка, его современного состояния во взаимодействии с другими соседними языками и говорами, так и для сравнительно-исторического изучения балкано-романских языков и их диалектов *.

Консонантизм молдавских говоров Черновицкой области в сравнении с говорами Закарпатской области УССР, Молдавской ССР (северные районы Бессарабии и Заднестровья), Запрутской Молдовы и других смежных областей дако-романского массива стал предметом рецензируемой работы еще и потому, что именно в области согласных молдавские говоры представляют большое разнообразие типов восточнороманского консонантизма, отражают различные стадии общих процессов, содержат много индивидуального, дают богатый материал для изучения истории междиалектных связей.

Работа Р. Я. Удлера состоит из предисловия, введения, основной части, включающей *пять разделов*[1], заключения, приложения и атласа.

В каждом разделе автор придерживался, как правило, одного плана: краткий критический обзор имеющихся мнений по данному вопросу в зарубежной и советской лингвистике, предположения относительно периода возникновения явления и этапов его развития, физиологии явления, определение территориального распространения явления на основе анализа карт «Румынского лингвистического атласа» (ALR) и «Лингвистического атласа дако-румынского языкового массива» Г. Вейганда (WLAD), обзора специальных диалектологических работ, а также его личных сведений по говорам северных районов Бессарабии и Заднестровья. Затем следует материал, собранный Р. Я. Удлером по говорам Закарпатья и Черновицкой области. Поведение определен-

* См. рецензию М. А. Бородиной на рассматриваемую книгу Р. Я. Удлера в журн. «Лимба ши литература молдовеняскэ», 1964, 4. стр. 64—66

[1] В работу не включены уже опубликованные разделы, посвященные развитию щелевого губно-зубного *в*, аффрикат *дз*, *ч*, *дж* и фрикативного *ж*, явлению ротацизма и развитию *р* (см. стр. 8).

ного звука рассматривается в условиях различной позиционности (в начале, в середине и в конце слов перед гласными переднего ряда, перед другими звуками и др.), в зависимости от этимологической характеристики слова (романизмы, славянизмы, тюркизмы и др.), в различных грамматических классах слов (существительные, прилагательные, местоимения, глаголы и др.), в именных и глагольных флексиях, а также исходя из жанрово-стилистической принадлежности слова (архаизмы, неологизмы, терминологическая лексика и др.). Примеры даны в алфавитном порядке. Этимология указана в скобках после «контрольного слова». Обобщения и выводы сделаны по разделам. Села, в которых бытуют те или иные отмеченные формы, указаны соответствующим порядковым номером.

В «Предисловии» (стр. 3—7) определяется предмет, задачи и цели исследования говоров Черновицкой области, дается критико-библиографический обзор имеющихся работ по говорам Буковины и других смежных областей дакороманского массива[2].

Методика этих исследований страдала рядом недостатков: несовершенством системы фонетической транскрипции и вытекающей из этого неточностью записей (у Г. Вейганда, Т. Гартнера, Э. Хайваса и др.): 1) соблюдением жильероновского принципа опроса одного лишь информатора (у С. Попа и др.), что не давало возможности обнаружить параллельные варианты (в зависимости от пола, возраста, профессии и др.), которые, как правило, сосуществуют в говоре одного населенного пункта, чем можно объяснить наличие многих неточностей, случайный и необоснованный выбор населенных пунктов (в основном по долинам рек и вдоль дорог), что обусловило пропуск многих интересных с лингвистической точки зрения населенных пунктов (см. стр. 4—6), 2) одновременным опросом людей из разных сел, опросом на базарах, празднествах в явно неблагоприятных для анкетирования условиях (у Г. Вейганда, Т. Гартнера и др.), 3) отражением на одной карте четырех слов, что вынудило Г. Вейганда отказаться от показа параллельных форм, бытующих в одном и том же населенном пункте, и др. Все эти недостатки находят правильную критику в монографии Р. Я. Удлера.

Во «Введении» (стр. 8—13) вкратце излагаются принципы и методы исследования консонантизма говоров Северной Буковины.

По сравнению с предыдущими работами других авторов, исследование Р. Я. Удлера выгодно отличается тем, что, сосредоточивая свое внимание на сравнительно небольшой языковой территории, автор смог подвергнуть анализу диалектные особенности сравнительно густой сетки сел. Расстояние между ними колеблется от 0,5 до 9 км, в зависимости от значения данного населенного пункта для диалектологического исследования. Выбор населенных пунктов, предназначенных для анкетирования, определялся следующими целями: а) установить старые языковые границы, б) получить данные по современному молдавскому просторечью, в) выявить детали межъязыкового контакта, г) отразить динамику развития говоров и др. С этой последней целью преднамеренно были включены населенные пункты, обследованные Г. Вейгандом, Э. Петровичем, С. Попом и др.

Записи сделаны на основе наблюдений над обычной непринужденной речью местных жителей. Материал собирался по программе, включающей лишь фонетические вопросы, сгруппированные по отдельным явлениям. Опрос проводился, как правило, косвенным путем. Искомой в данном пункте считалась форма, типичная для нейтрально окрашенной речи среднего и старшего поколений. Для проверки достоверности и типичности собранного материала использовалось сравнение полученного материала с данными ALR и WLAD, его сопоставление с аналогичными формами из связных текстов и из монографических описаний.

Поскольку выбор объектов наблюдения в значительной степени обусловливает достоверность записанных материалов, во всех селах строго соблюдались одни и те же критерии. В каждом селе было привлечено к анкете не менее трех информаторов различного возраста и пола. Всего было анкетировано 203 человека (см. «Приложение 1», стр. 173—184).

Собранный таким тщательным и подробным образом материал позволил уточнить и дополнить сведения «Румынского

[2] Консонантизм молдавских говоров Черновицкой области до появления монографии Р. Я. Удлера был представлен весьма фрагментарно Г. Вейгандом в «Die Dialekte der Bukowina und Bessarabiens» (Leipzig, 1904), а также в «Linguistischer Atlas des dacorumanischen Sprachgebietes» (Leipzig, 1909), где отражены особенности говоров 13 населенных пунктов, С. Попом и Э. Петровичем в «Atlasul lingvistic romîn» (I—II, Cluj-Sibiu, 1938—1942) — материалы по 9 населенным пунктам. Особенности говоров Северной Буковины установлены и по сборнику диалектных текстов Э. Петровича. Суммарные сведения о говорах отдельных сел содержатся в статьях Т. Гартнера («Fünf rumänische Mundarten der Bukowina», ZfromPh, XXVI, 1902), Э. Хайваса («Graiul romînilor din Roşa», Cernăuţi, 1936), П. Ироае («Cernăuţul folcloric», «Făt-Frumos», IX, 1, 1934) и в книге М. Фридвагнера («Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder». Würzburg. 1940) и др.

лингвистического атласа», атласа Г. Вейганда, различных монографий и статей, которые касались, как было указано выше, тех или иных особенностей северо-буковинских говоров. Материалы монографического описания молдавских говоров Черновицкой области представляют особую ценность в тех случаях, когда изучаемое явление отсутствует в ALR или же в WLAD.

Первый раздел основной части работы (стр. 14—79) посвящен исследованию процесса палатализации согласных *п, б, м, в* и *ф*. Проблема палатализации губных занимала почти всех исследователей истории румынского и молдавского языков. Они, как видно из рассмотренных автором работ, не пришли к единым выводам. Одни считали, что палатализация губных народнолатинского происхождения, как и в других романских языках (П. Майор, Ф. Миклошич), другие считали ее древним диалектным явлением, восходящим еще к прарумынской эпохе (В. Мейер-Любке). Для Д. Ончула и О. Денсушяну палатализация — явление арумынского происхождения, а для Ал. Ламбрнора и Ал Росетти — новое лингвистическое явление, появившееся после XVI в. и развивавшееся самостоятельно на севере и на юге от Дуная. В. Ф. Шишмарев считал палатализацию губных согласных явлением, существовавшим еще до XVI в., а отсутствие его в старых памятниках, например в документах бистрицкого архива, он объясняет тем, что некоторые особенности местной фонетики «...воспринимались, очевидно, как слишком местные и шли наперекор „сублимации"...». Мнения других лингвистов, во многом сходные с рассмотренными выше, в отношении палатализации губных согласных изложены в обстоятельной работе Д. Макри «Palatalizarea labialelor în limba romînă», а также в отдельных работах С. Пушкариу, Ал. Росетти и др., на которые автор часто ссылается.

Р. Я. Удлер рассматривает географическое положение данного явления в настоящее время, выясняет динамику явления, направление его распространения, его интенсивность в одних районах и изолированный характер в других. Им установлены характерные ступени для говоров Черновицкой области, варианты, типичные для того или иного микрорайона, для социальной или возрастной группы, для речи мужчины или женщины. Сравнение данных по Черновицкой области со сведениями смежных областей позволило автору установить их сходство с говорами Молдавской ССР, Молдовы (главным образом, ее северной части), Южной Буковины и в меньшей мере с говорами Трансильвании, Марамуреша и Закарпатской области. Наличие ступеней m'' (<*п*) и ∂'' (<*б*) на левом берегу Днестра подтверждает известное в диалектологии положение о том, что на окраинах языкового массива могут сохраняться более древние формы. Поэтому М. В. Сергиевский не прав, утверждая, что m'' и ∂'' являются последней ступенью в палатализации *п* и *б*. Кроме того, данные Т. Папахаджи, Т. Фрынку и Г. Кандря, И. А. Кандря и др., а также сведения Р. Я. Удлера по Закарпатской и Черновицкой областям УССР и по северным районам МССР свидетельствуют о наличии m'' и ∂'' и в говорах указанных выше районов. Следовательно, существование m'' и ∂'' в Заднестровье не является характерной чертой только лишь этих говоров, как утверждал М. В. Сергиевский. Указанные выше материалы свидетельствуют также о наличии вариантов s'' (<*в*) и c'' (<*ф*) в северо-восточной части дако-романского массива. Поэтому объяснять наличие s'' и c'' в северных говорах бывшей АМССР воздействием (происходящим именно на востоке от Днестра) «польского говорения», как утверждал М. В. Сергиевский, ошибочно.

Некоторые формы, отмеченные Р. Я. Удлером в Северной Буковине, могут быть объяснены при помощи исторических данных и лингвистических фактов следующим образом.

1. По статистике 1773 г. на Буковине находилось большое число трансильванцев, эмигрировавших именно из района большого ареала ступени $p\hat{c} — \hat{c}$, $b\hat{g} — \hat{g}$ северо-востока Трансильвании, в основном в первой половине XVIII в. В указанной выше статистике отмечено с. Тереблеча (ныне Порубное) как чисто трансильванское село и частично трансильванское село Чудей (Межречье). Говоры этих сел были исследованы С. Попом, отразившим в атласе ступени $p\hat{c} — \hat{c}$, $b\hat{g} — \hat{g}$. Отсутствие в этом районе переходных форм $p\hat{c}(t')$, $b\hat{g}$ (d') подтверждает предположение о том, что они были привезены из района большого ареала северо-восточной Трансильвании.

2. Предположение некоторых исследователей (М. В. Сергиевского, Э. Петровича, И. Пэтруца и др.) о значении влияния славянского произношения для палатализации губных согласных в говорах молдавского (и румынского) языка обосновано, тем более, что молдавское население Черновицкой области издавна испытывает влияние украинского языкового окружения, а украинский и русский языки известны в определенной мере всем молдаванам.

3. Говоры Северной Буковины в области палатализации характеризуются пестротой форм, обусловленной историческим развитием носителей данной речи. Бытующие здесь палатализованные формы ставят говоры Черновицкой области как бы на стыке более крупных массивов и подтверждают тезис Ал. Филиппиде и

В. Ф. Шишмарева о генетической связи разных областей восточной Романии и о месте Буковины в этом процессе.

Второй раздел (стр. 80—122) посвящен развитию переднеязычных *л*, *н*, *т*, *д* и заднеязычного *к'*.

Различные варианты *л*, *н*, *т*, *д* зафиксированы в памятниках XVI—XVII вв. Следы *cl'* (*cl*) сохранились в документах и литературных памятниках молдавского языка до XV в., когда впервые был установлен переход *cl'* в *k'*. В устной народной речи они, вероятно, бытовали и до указанных столетий. Развитие *т*, *д* и *к'* совершилось, по мнению одних ученых (Ал. Росетти, И. Пэтруца и др.), под влиянием норм венгерского произношения, по мнению других (например, Э. Петровича),— сначала под влиянием славянского и усилилось впоследствии под влиянием венгерского произношения. По мнению Р. Я. Удлера, ступени *t'*, *d'*, *k'* (как и $\hat{z}$, $\hat{c}$ и др.) являются фонетическим следом, свидетельствующим о направлениях заселения Буковины, Молдовы и Молдавской ССР.

Данные ALR и WLAD по отдельным населенным пунктам, как устанавливает Р. Я. Удлер, отличаются от его сведений. Параллельные формы отражают диалектное разнообразие, существующее в говоре одного и того же села, раскрывают динамику его развития.

Анализ карт ALR представляет следующую общую картину. Порядок, в котором следуют один за другим ареалы различных ступеней с их многочисленными переходными формами, расположенными вдоль границ соответствующих ареалов, образуют, как полагает Р. Я. Удлер, лестницу фонетической эволюции явления палатализации рассмотренных здесь явлений.

Тот же порядок последовательности ареалов с востока и юга к западу и северу, который позволяет определить ступени фонетической эволюции палатализации, показывает одновременно различные этапы в хронологическом развитии явления. Карты согласных *t* и *d* иллюстрируют наиболее наглядно это развитие.

Основой утверждений Р. Я. Удлера являются следующие данные: а) порядок последовательности ареалов, б) наличие более древних вариантов на окраинах дако-романского массива, в) наличие определенных ступеней в македо-, меглено- и истро-румынском диалектах, г) предположения и доводы лингвистов.

Третий раздел (стр. 123—140) содержит рассмотрение особенностей развития заднеязычных согласных *г*, *г'*, *х* и *h*. В итоге анализа автором сделан ряд обобщений и выводов.

Ко времени появления первых молдавских памятников развитие *г* и *г'* (как в словах латинского, так и в словах иного происхождения) было в основном закончено. (Следы *gl'* сохранились в документах и в литературных памятниках до XV в.) Развитие *g'* в *d'*, $\hat{g}$ и *dz*, по мнению И. Пэтруца,— следствие влияния венгерского произношения. Широкое распространение фрикативного *h*, как утверждают Ф. И. Кожухарь, В. А. Лисицкий и др.,— результат фонетического влияния речи окружающего украинского населения.

Поскольку *h* был утрачен очень рано в народной латыни, в систему согласных молдавского (и румынского) языка *h* был включен вместе с потоком славянских, венгерских, турецких и других заимствований. Широкое распространение *h* в устной народной речи и до XVI—XVII вв. подтверждается его наличием в литературных памятниках, где в редких случаях *h* этимологический уже заменен *v* и *f*.

Ступень *дж"* (< *г'*) встречается в основном в речи представителей старшего поколения, пришедших в прошлом из сел Бидка, Виков и др. (Южная Буковина); *к* (< *г*) бытует, как правило, в новых иноязычных заимствованиях, будучи в одних случаях результатом диссимиляции (регрессивной или прогрессивной), в других — следствием аналогии со старыми молдавскими словами. В отдельных словах спорадически выступают и другие варианты. Во многих говорах типичным является афереза, апокопа или синкопа *х*. В отдельных случаях *h* и *х* едва уловимы. Таким образом, в говорах Северной Буковины в одних случаях сохраняются устаревшие, близкие к этимону, формы, в других — бытуют варианты, развитие которых протекало под влиянием нормы окружающей украинской речи.

В четвертом разделе (стр. 141—153) рассматривается вопрос об отвердении аффрикатных, свистящих и шипящих согласных *ц*, *з* (*дз*), *с*, *ж* и *ш*.

Язык молдавских памятников XVI—XVIII вв. характеризуется наличием твердых аффрикатных, свистящих и шипящих согласных. В устной речи процесс отвердения указанных выше согласных датируется XV в. Это явление объясняется Г. Ивэнеску изменением артикуляционной базы молдаван вследствие их смешения с другими народами.

Данные исследователей восточнороманских языков и диалектов свидетельствуют о распространении *ц*, *з* (*дз*), *с*, *ж* и *ш* и их вариантов. Ареалы твердых *ц*, *з* (*дз*) и *с* шире ареалов твердых *ж* и *ш*. Несомненным результатом влияния литературного языка является наличие мягкого произношения *ц*, *з*, *с*, *ж* и *ш* в основном в речи представителей молодого поколения.

Пятый раздел (стр. 154—165) посвящен рассмотрению вопроса о раз-

витии зубного и передненёбного щелевых *с* и *ш*.

Переход *с* в *ш* и *ш* в *с* в группах согласных отражен в языке памятников XVI—XVII вв., созданных в Марамуреше, в Молдове и в Буковине. Произношение *с* вместо *ш* характерно, как утверждают Г. Вейганд и Ал. Филиппиде, для населения бывших новогреческих колоний и поселений чангыев.

ш вместо *с* в группах *с* + *к*, *с* + *т*, *с* + *п*, *с* + *ф*, *с* + *м*, *с* + *л* и др. бытует в основном в речи представителей старшего поколения, усвоивших некоторые из перечисленных в разделе слов в иноязычном (немецком, украинском, русском) фонетическом оформлении. В отдельных словах переход *с* в *ш* совершился по аналогии или же в результате прогрессивной (частичной и полной) ассимиляции.

с вместо *ш* в ряде сочетаний (*ш* + *т*, *ш* + *п* и др.) встречается также больше всего в речи представителей старшего поколения. В отдельных говорах в нескольких словах сохраняется этимологический *с*.

В «Заключении» (стр. 166—167) Р. Я. Удлер подводит итоги своего исследования.

Проведение анкеты в большом количестве сел, опрос информаторов различного возраста и пола по широкой программе позволили ему уточнить, дополнить или же подтвердить сведения ALR, WLAD, а также специальных работ, посвященных особенностям говоров Северной Буковины.

В работе Р. Я. Удлера конкретизируются или же опровергаются отдельные предположения ученых о периоде появления, происхождении, эволюции, территориальном распространении определенных явлений.

Говоры Северной Буковины, находящейся на стыке крупных лингвистических массивов, характеризуются, с одной стороны, наличием многих черт, общих с говорами Южной Буковины, северной части Трансильвании, Марамуреша, Закарпатья, Цара Оашулуй и других западных районов, с другой стороны — с говорами Запрутской Молдовы, Бессарабии, Заднестровья и др. Значительными являются и особенности, свойственные, по данным Р. Я. Удлера, только северобуковинским говорам.

В Черновицкой области автором выделены три группы говоров: а) южная — на территории Сторожинецкого, Глыбокского, Черновицкого сельского и Садгорского районов, б) юго-восточная, охватывающая Герцаевский район, и в) северо-восточная, в состав которой входят Хотинский и Новоселицкий районы. Р. Я. Удлер подчеркивает, что изоглоссы явлений не совпадают с административными границами.

Результаты исследования, нашел в заключении Р. Я. Удлер, свидетельствуют о правильности предположения Ал. Филиппиде и В. Ф. Шишмарева об этническом и языковом единстве носителей данных говоров; частные различия, отделяющие одну группу говоров от другой, обусловлены самостоятельным политическим развитием обследованных областей, влиянием разных языков и культур и т. д. Наличие отдельных вариантов лишь в говорах нескольких сел объясняется исторически: миграциями из ареалов широкого распространения данных форм, политико-административным делением в прошлом и др. (см. стр. 78—79, 120—122, 166—167 и др.).

В приложениях к монографии (стр. 168—184) даны некоторые сведения об обследованных селах Черновицкой и Закарпатской областей УССР (официальное и местные названия населенного пункта, район, количество дворов, национальный состав, социальные группы, сведения об основании села, наличие школ и др.) и список информаторов, который включает 203 человека. О каждом сообщаются необходимые данные (имя, год рождения, образование, специальность, национальность и т. п.).

В основе системы фонетической транскрипции (стр. 185—188), используемой в работе, лежит графическая система молдавского языка, дополненная диакритическими знаками. Характеристика звуков дается на русском и молдавском языках. Для облегчения их понимания после каждого звука в скобках дан пример из исследованных говоров. С этой же целью указаны соответствующие знаки, употребляемые в системе транскрипции «Румынского лингвистического атласа» и международной фонетической транскрипции.

Около 300 работ содержит список цитируемой литературы (стр. 190—199). Автор монографии использовал почти все советские и зарубежные изданные до последних лет работы (лингвистические атласы, монографии, статьи и т. п.), касающиеся фонетической системы указанных буковинских говоров и смежных с ними наречий, и др. Указаны многие работы по русской и украинской диалектологии, по романскому языкознанию, по истории заселения данных районов и др.

К работе как приложение дан лингвистический атлас, состоящий из 144 карт и краткого к нему введения (стр. 200—275). Они посвящены основным фонетическим явлениям, анализируемым в работе, и отражают поведение того или иного звука в определенном положении в слове. Последние обобщающие карты подводят итоги исследования. Методика лингвогеографического обследования (обоснованный выбор населенных пунктов и более густая сетка, неоднократный опрос большого количества анкетируемых лиц —

представителей разного поколения, пола, социального положения и т. п., большое количество «контрольных слов», включение «контрольных слов», засвидетельствованных ALR, WLAD и т. д.) заслуживает высшей оценки. Сравнение карт, составленных Р. Я. Удлером на основе лично им собранных материалов во всех населенных пунктах, со сведениями предыдущих работ (атласов, монографий, статей), данных в нижнем правом углу карт в последовательности частоты употребления того или иного варианта, позволяют установить ведущие тенденции в развитии консонантизма северобуковинских говоров, проследить их эволюцию на протяжении примерно последних 70 лет. В молдавской лингвистической географии настоящая работа представляет собой первый опыт составления диалектологического атласа.

*

Само собой понятно, что работа Р. Я. Удлера не лишена и некоторых недостатков. Так, славянские (старославянские, болгарские, украинские и др.) этимоны даны в латинской транскрипции (например, болг. *sabja*, стр. 40, ст.-слав. *lonka*, стр. 91, укр. *holub*, стр. 136 и др.). Автор не использует многотомный этимологический словарь А. Чорэнеску, изданный недавно в Мадриде. Иногда при определенном «контрольном слове» указывается его лексический вариант в различном фонетическом оформлении, но не дана, чего требовала бы последовательность, его этимология (например, *бундушкы*, стр. 28, *ковал'*, стр. 69, *плумб*, стр. 128 и др., соответственно при «контрольных словах» *пептар*, *ферар*, *гюля*); наличие *дж"* (<*в*) и *ч"* (<*ф*) в словах типа *дж"ис,сы ч"ийи* и др. (стр. 56, 58, 67), по нашему мнению, следовало бы объяснить как результат гиперурбанизма, но не как закономерное для языка развитие согласных, как это делает автор (см. стр. 65—79). Карты регионального лингвистического атласа Р. Я. Удлера, как и всех остальных атласов романских языков, отражают различное произношение отдельных слов, на основании которых делаются выводы о фонетическом явлении. В связи с этим считаем, что автору следовало бы увеличить количество сводных карт, применяя, таким образом, и опыт советской лингвистической географии. В рецензируемую работу, как указано во «Введении» (стр. 8), не включены уже опубликованные разделы, что отражается на ее целостности.

Монография Р. Я. Удлера имеет большое практическое и научное значение для работы над «Молдавским лингвистическим атласом» как пособие по молдавской диалектологии и для сравнительно-исторического изучения молдавского языка.

В заключение хочется отметить, что выход в свет рецензируемой монографии Р. Я. Удлера, завершение работ над «Молдавским лингвистическим атласом» и др. свидетельствуют о расширении деятельности в области молдавской диалектологии и лингвистической географии, которая ведется в Институте языка и литературы Академии наук Молдавской ССР.

В. С. Сорбало

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

17—19 мая 1965 г. в г. Орджоникидзе проводилось совещание по вопросам стилистики и культуры речи, созванное Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» совместно с Институтом русского языка АН СССР, Московским гос. университетом и Министерством просвещения РСФСР. В работе совещания приняли участие представители большинства союзных и автономных республик, областей, преподаватели русского языка национальных институтов РСФСР, а также широкие круги общественности Северной Осетии.

Участники совещания заслушали и обсудили шесть докладов.

В докладе «Основные тенденции развития языковой культуры народов СССР» Ю. Д. Дешериев и И. Ф. Протченко остановились на различных аспектах возможного изучения вопросов культуры речи в многонациональном Советском государстве, выделив специально вопросы: а) культура родного языка и речи у людей, которые живут в своей национальной среде; б) культура речи и языка межнационального общения; в) культура родного языка и речи у людей, живущих среди других народов; г) культура языка и речи в связи с взаимодействием родного языка и языка межнационального общения.

Р. А. Будагов в докладе «Язык и стиль лингвистических исследований» подверг критике работы структуралистского характера, в которых преобладает малопонятная для широких филологических кругов терминология; он оспаривал также правомерность и целесообразность обильного употребления в лингвистических исследованиях терминологии математических наук.

В. П. Григорьев в докладе «Некоторые вопросы культуры современной русской поэтической речи» поставил ряд вопросов: соотношение понятий «поэтический язык» и «поэтическая речь»; поэтическая функция языка и экспрессия поэтического текста; понятие «экспрессема» и «экспрессоид» на лексическом и морфологическом уровне; как варианты в пределах поэтического языка в докладе рассматривались «поэтические вольности».

В. Г. Костомаров в докладе «Понятие культуры применительно к языку и речи» сделал попытку рассматривать культуру речи в широком контексте языковой политики — теории и практики целенаправленного руководства речью, функционированием языка, а также сознательного воздействия на его эволюцию. В докладе предлагается условно разграничить культуру языка и культуру речи по аналогии с понятиями «язык» и «речь», указывающими на разные подходы к одному реальному объекту.

М. И. Исаев в докладе «О задачах и принципах составления очерков по культуре речи» выделил различные этапы языкового строительства в нашей многонациональной стране, отмечая, что основным содержанием языкового строительства на современном этапе, наряду с дальнейшей работой по усовершенствованию систем графики и орфографии, терминологии литературных языков, становится борьба за повышение культуры речи народов. Важнейшим научным предприятием в этой области является работа над очерками по культуре родного и русского языков народов нашей страны, которая по инициативе Научного совета по комплексной проблеме развернулась почти во всех национальных республиках.

В докладе Х. А. Токазова (Орджоникидзе) «Некоторые вопросы культуры осетинской речи» подняты основные проблемы орфоэпии, орфографии и терминологии языка, от правильного разрешения которых зависит повышение культуры речи.

Поставленные в докладах актуальные вопросы развития языковой культуры народов СССР обсуждались в выступлениях. Выступили: К. Х. Ханазаров (Ташкент), Х. Р. Курбатов (Казань), И. Ф. Мокряк (Кишинев), К. М. Ульвидас (Каунас), Р. С. Амиров (Алма-Ата), Б. А. Ахмедов (Баку), Х. М. Икрамова (Самарканд), М. М. Михайлов (Чебоксары), Н. Я. Судакова (Махач-Кала), Г. О. Ваганян (Ереван), М. И. Адилов (Баку), С. И. Ибрагимов (Ташкент), Н. Х. Кулаев (Орджоникидзе), З. У. Блягоз (Майкоп), Т. А. Гуриев (Орджоникидзе), Г. Л. Гадельшин (Сыктывкар), А. Худалов (Орджоникидзе), М. Ф. Саруева (Черкесск), М. Ф. Названова (Саранск).

В рекомендациях, принятых совещанием, была подчеркнута актуальность и важность двуединой задачи овладения культурой родного и русского языков, в свете которой представляется недопустимой недооценка в некоторых республиках работы над созданием научно-популярных изданий по культуре речи. Было отмечено также, что разработка теоретических проблем развития языковой культуры должна отвечать задачам оказания конкретной помощи работникам печати, преподавателям вузов и школ в борьбе за повышение культуры родного языка и языка межнационального общения.

М. И. Исаев (Москва)

*

17—19 мая 1965 г. в Оренбурге проходила VI межвузовская конференция языковедов Урала, посвященная различным проблемам общего и русского языкознания. С докладами и сообщениями выступило 56 научных работников, представлявших пед. ин-ты и университеты 10 городов Урала, а также вузы Москвы, Калинина, Саратова, Рязани, Астрахани, Бийска, Тобольска, Мозыря, Майкопа и других городов.

На пленарных заседаниях было прослушано и обсуждено восемь докладов. В докладе А. Д. Наседкина (Оренбург) «Взаимодействие функций наименования и описания на различных языковых уровнях» механизм формирования мысли в языковом сообщении объясняется наличием в языковой системе двух реализуемых возможностей — называть и описывать. Язык обнаруживает постоянное взаимодействие функций наименования и описания; это взаимодействие строго изоморфно, хотя на каждом языковом уровне обе указанные возможности располагают различным материалом.

В. Г. Руделев (Оренбург) в докладе «К критике некоторых базисных понятий фонологии» выразил мысль об относительной точности содержания, вкладываемого в термин «фонема». По мнению докладчика, всякая асимметрия парадигмы свидетельствует о нейтрализации фонологических оппозиций еще в системе, до ее реализации в тексте. Уровень наблюдения, таким образом, дает возможность вычленять только первичные архифонемы — дистинктивные единицы оперативной системы языка. Симметричная система фонем есть лишь потенциальная возможность языка, в каждую эпоху реализуемая по-разному.

Доклад Р. Р. Гельгардта (Калинин) «Язык и словесное искусство» был посвящен вопросу об отношениях между языком как собранием лингвистического материала и теми художественными композициями, какие из него создаются. Докладчик полагает, что назрела потребность уточнить понимание филологии — ее предметов и объектов, методов и задач. Отношения между филологическими науками, по мнению докладчика, определяются отношением структурных уровней языка и «надстроенных» над ними речевых композиций в виде произведений художественно-речевой деятельности. Отношения между языком и речью могут быть охарактеризованы как двусторонние зависимости (интердепенденции). Наличие инвариантов на каждом уровне языка и инвариантов в пределах речевых композиций не исключает возможности перенесения методов изучения, сложившихся при анализе структурных уровней, на более высокие уровни языка и на «надстроенные» над ним образования (художественные тексты).

И. П. Распопов (Уфа) в докладе «Система синтаксиса и синтаксическая система языка» подверг критике принятую в большинстве учебников логическую схему синтаксиса и перечислил преимущества такого подхода к изучению синтаксического строя языка, при котором явления речевой действительности последовательно рассматриваются в двух планах — конструктивно-синтаксическом и коммуникативно-синтаксическом.

В. П. Тимофеев (Шадринск) в докладе «Некоторые проблемы социальных языковых исследований» отметил актуальность социологических исследований языка в современных условиях и указал на ряд проблем такого рода лингвистических работ. Доклад М. А. Новгородова (Бийск) «О метаязыке в русистике» был посвящен проблеме использования достижений математической логики в лингвистических описаниях. Вопросы методики преподавания русского языка были затронуты в докладе Е. М. Заморзаевой (Орск) «О некоторых эффективных приемах повышения орфографической и пунктуационной грамотности учащихся». В. М. Никитин (Рязань) выступил с докладом «Структурно-функциональные особенности глагольно-адъективных и смежных с ними словосочетаний в русском языке», в котором выдвинул доказательства в пользу того, что сочетания указанного вида не представляют собой особого типа сказуемого.

На секционных заседаниях проблемам фонологии и фонетики были посвящены доклады Р. Р. Каспранского (Уфа)

«К вопросу об императивности фонологических моделей» и В. Л. Козловой (Тобольск) «Из фонетики старожильческого тобольского говора». Вопросы структурной орфографии рассматривались в докладе В. Г. Руделева «К построению структурной орфографической модели русского языка» и в сообщении (содокладе) К. М. Байгильдиной (Оренбург) «Дистрибутивная характеристика некоторых графем узбекского языка». В докладе Б. Ф. Любченко (Шадринск) «К вопросу о традиционном написании в орфографии» содержались предложения относительно возможных усовершенствований русской орфографии.

Некоторые общие проблемы грамматической теории, а также вопросы словообразования и морфологии (в описательном и историческом аспектах) разрешались в докладах Б. Ф. Любченко «О природе грамматических категорий языка», В. М. Никитина «Об отношении связки к частям речи и к структуре предложения», Л. Х. Цыпленковой (Майкоп) «Результаты языковых контактов (по материалам адыгейско-русских взаимосвязей)», Е. П. Калечиц (Свердловск) «Сопутствующие явления при морфологическом способе словообразования», Л. А. Шкатовой (Челябинск) «Морфологические модели имен лиц в названиях профессий», Г. Г. Кухтенковой (Челябинск) «К вопросу о природе вида и способов действия», В. М. Огольцева (Магнитогорск) «О степенях сравнения прилагательных в современном русском языке», В. Б. Духаниной (Оренбург) «Пути перехода сравнительной степени в превосходную в литературном языке XVIII в.», Р. П. Сысуевой (Курган) «Из истории именного склонения в русском языке (основы на *-i* и их отдельные флексии в составе других типов склонения по данным памятников древнерусской письменности XI—XIV вв.)», С. Ю. Адливанкина (Пермь) «Существительные с добавочным значением количественно-качественной характеристики обозначаемых реалий». Истории становления русской грамматической терминологии был посвящен доклад Р. М. Трифоновой (Москва) «Терминологическая деятельность Мелетия Смотрицкого».

На секции синтаксиса было сделано 12 докладов. Вопросы общей теории синтаксиса ставились в докладах В. С. Юрченко (Саратов) «Классы слов и структура предложения» и Б. И. Фоминых (Тюмень) «К вопросу о простом „безглагольном“ предложении». Описание отдельных синтаксических явлений русского языка содержалось в докладах К. З. Чуриловой (Оренбург) «О явлениях неполноты и незавершенности в диалогической речи», А. Н. Карпова (Мозырь) «Типы периодов с паратаксической связью между повышением и понижением», И. П. Чиркиной (Свердловск) «О способах выражения модальных отношений (модально-сравнительные частицы)», В. И. Безрукова (Тюмень) «Синтаксическая структура и семантика заголовков (на материале газет)», М. А. Лецкина (Тюмень) «Диалектные модели функционально-связанных глагольно-именных словосочетаний в говорах Вагайского района Тюменской области», С. Г. Шулежковой (Челябинск) «Глагольные устойчивые сочетания в языке официально-деловых бумаг документов южноуральских крепостей XVIII в.», А. М. Щукиной (Рязань) «Сложные предложения с несколькими придаточными причины в русском литературном языке XVIII в.», Н. П. Потаповой (Пермь) «Синтаксические функции типа „именительный падеж + „С“ + творительный“ в составе предложения (на материале говоров Пермской области)», М. Е. Шафиро (Оренбург) «Из наблюдений над семантическими сдвигами некоторых сочинительных союзов в присоединительной функции», Г. И. Гаевской (Пермь) «Из истории русской пунктуации середины XVIII в.».

Секция лексики и фразеологии была представлена 16 докладчиками. Наибольший интерес на секции вызвал доклад Э. А. Московой (Оренбург) «О единице лексического уровня», в котором отстаивалась системность лексического состава языка, разрешался вопрос о лексической позиции и о нейтрализации лексических противопоставлений. На секции были прослушаны и обсуждены два доклада В. П. Тимофеева «Русские фамилии с диалектными корнями» и «Принципы составления словаря омонимов русского языка», а также доклады Ф. Л. Скитовой (Пермь) «К вопросу о взаимодействии письменно-литературной речи и народных говоров», А. П. Шварц (Пермь) «Опыт системного анализа наречий со значением времени», М. Ф. Скорняковой (Свердловск) «Сложные эмоционально-экспрессивные названия лица в современном русском языке (к вопросу о специфике эмоционально-экспрессивных слов)», В. А. Сенкевича (Магнитогорск) «Лексика фольклора старых заводских поселений Южного Урала», Б. А. Моисеева (Оренбург) «К изучению лексики оренбургских говоров», Б. Б. Максимова (Магнитогорск) «Лексика одежды в говоре поселка Краснинск», В. Н. Суетенко (Магнитогорск) «Сельскохозяйственная и бытовая лексика с. Кизил», С. Г. Гаврина (Пермь) «О закономерности функционирования и развития фразеологического состава русского языка (грамматический аспект)», К. В. Тощигина (Курган) «Историческая судьба неологизмов, воз-

никших в русском языке в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции», А. В. Волосковой (Свердловск) «Иноязычные слова в дипломатической терминологии начала XVIII в.», З. И. Малярчук (Шадринск) «Фразеологический оборот и синонимичное к нему слово», Л. А. Грузберг (Пермь) «Вводные элементы со значением наибольшей степени достоверности (на материале говора д. Акчим Пермской области)», М. В. Лабзиной (Магнитогорск) «К вопросу о некоторых безаффиксальных образованиях имен существительных говора с. Ларино Челябинской области», Н. А. Кирсановой (Саратов) «Лексико-грамматические варианты фразеологических единиц».

На секции стилистики было прослушано семь докладов: С. М. Лубэ (Оренбург) «К вопросу о стилистических слоях в русском литературном языке». Л. А. Туркиной (Орск) «Синонимические сочетания народно-поэтического характера в романе Мельникова-Печерского „В лесах"», К. М. Медведева (Курган) «К вопросу о метафоричности определительных словосочетаний с согласованием в художественной речи (на материале автобиографической трилогии М. Горького)», М. И. Корной (Курган) «Безличные предложения как средство эмоционально-психологической окрашенности авторского повествования в рассказах А. П. Чехова», И. М. Поляковой (Магнитогорск) «Просторечная и разговорная лексика в повести А. И. Куприна „Поединок"», Д. Е. Горелик (Астрахань) «О разновидностях разговорно-просторечной лексики в романе Д. А. Фурманова „Чапаев"», Н. З. Чуриловой «Из практики художественного перевода некоторых польских поэтов».

На секции методики преподавания русского языка было прослушано десять докладов.

В. Г. Руделев (Оренбург)

*

С 20 по 22 мая 1965 г. в г. Волгограде была проведена IX зональная конференция языковедов Среднего и Нижнего Поволжья. В работе конференции приняли участие, кроме научных работников пединститутов и университетов зонального объединения, представители Московского пед. ин-та им. Н. К. Крупской, Рязанского, Таганрогского, Оренбургского, Тбилисского, Луганского, Марийского, Мозырского, Йошкаролинского пед. институтов.

На конференции было прослушано и обсуждено 70 докладов, в том числе пять докладов на пленарных заседаниях: В. А. Малаховского (Куйбышев) «О технике лингвистических исследований»; А. А. Дементьева (Куйбышев) «О терминах „суффиксы субъективной оценки" и „формы субъективной оценки"»; С. В. Фроловой (Куйбышев) «О языке и стиле произведений А. М. Шолохова» (К 60-летию со дня рождения); В. А. Никонова (Москва) «Основы теории собственных имен».

Большой интерес вызвал доклад Л. И. Баранниковой (Саратов) «О внутреннем (диалектном) членении языка», в котором был рассмотрен вопрос о взаимоотношении языка и входящих в него диалектов. В функциональном плане это соотношение, по мнению докладчика, для каждого периода решается по-своему в зависимости от общественно-исторических условий. Чем глубже в прошлое, тем функциональная самостоятельность диалектов больше, а функциональные различия между языком и диалектами слабее. Естественно, что степень функциональной самостоятельности диалекта по отношению к языку зависит также и от частных конкретных условий. На характер различий между языком и диалектом оказывают влияние не только экстралингвистические факторы, но и собственно лингвистические. Как известно, диалектные системы являются частными по отношению к языковой системе, однако и отдельные периоды частные диалектные системы выступают как самостоятельные и равноправные, не имеющие иерархических отношений. В других условиях частные диалектные системы выступают как реликтовые явления.

В дальнейшем работа конференции сосредоточилась в пяти секциях: 1) лексика, фонетика и морфология современного русского языка; 2) синтаксис современного русского языка; 3) стилистика современного русского языка; 4) история и диалектология русского языка; 5) методика преподавания русского языка в школе и вузе.

На секциях современного русского языка было прочитано 29 докладов. Н. С. Дмитриева (Уфа) выступила с докладом «Типология лексических значений фразеологизмов». А. Н. Кожин (Москва) в докладе «О лингвистическом „водоразделе" пословиц и поговорок» показал, что эти устойчивые формулы ситуационно-речевого применения выступают как средство подтверждения мысли и непосредственно не связаны ни с актом номинации явления действительности, ни с актом эмоционально-оценочной характеристики уже обозначенного.

М. В. Коровникова (Балашов) сделала доклад «О структурных и семантических изменениях фразеологизмов», в котором на материале словаря М. И. Михельсона «Русская мысль и речь» показала, что такие изменения

проявляются в утрате фразеологизмом одного или нескольких компонентов, в замене одних компонентов другими, во включении в состав фразеологизмов новых компонентов, в изменении грамматической формы и порядка следования компонентов. Чем прочнее соединены компоненты, тем больше возможность потери одного или нескольких из них.

На секции были прочитаны также доклады М. В. Черепанова (Саратов) «Префиксоиды в системе русского словопроизводства» и Ю. Долина (Орск) о послеложном употреблении некоторых предлогов в современном русском языке (*ради, навстречу, вопреки, наперекор*), которые могут находиться и перед и после тех слов, с которыми они сочетаются. В докладе Н. И. Маевской (Волгоград) «Наблюдения над слово- и формообразованием слов с корнями *-им-, -ем-, -я-, ним-, -ня-* и др.» была поставлена проблема членимости связанных корней рассматриваемых слов и намечены пути разрешения этой проблемы.

Большой интерес вызвал доклад Н. С. Антошина (Таганрог) «О принципах составления словаря произведений А. П. Чехова». Докладчик считает, что в словарь писателя необходимо включать все знаменательные слова, а также те служебные и полузнаменательные слова, которые имеют какую-нибудь стилистическую окраску. Словарь может состоять из нескольких частей. Например, словарь Чехова может иметь четыре части: 1) словарь собственных имен; 2) словарь знаменательных слов произведений, включенных Чеховым в собрание сочинений; 3) словарь знаменательных слов произведений, не включенных Чеховым в собрание сочинений; 4) словарь иностранных слов и выражений, написанных латинской транскрипцией.

Н. Я. Сердобинцев (Саратов) доложил о принципах подбора терминов и о подаче их в «Словаре языковедческих терминов». Этот словарь создается коллективом языковедов Куйбышевского и Саратовского пед ин-тов. О своих наблюдениях над семантическим освоением русским языком лексики немецкого происхождения рассказал Г. М. Сидоров (Мелекесс). Г. А. Панов (Волгоград) сделал доклад «О словаре народной мудрости».

Ряд докладов был посвящен разработке теоретических вопросов синтаксиса: В. М. Никитин (Рязань) «Соотношение между семантикой сказуемого и подлежащего»; В. С. Юрченко (Саратов) «О предикативности (методологический аспект проблемы)»; А. В. Турасова (Ульяновск) «Структура простого предложения в современном русском языке».

В докладах А. Н. Назарова (Пенза), Л. М. Васильева (Уфа), Р. М. Гайсиной (Уфа), В. А. Федосова (Волгоград), П. П. Колесникова (Тбилиси) были рассмотрены частные вопросы синтаксиса.

Различным вопросам синтаксиса посвятили свои доклады также Т. А. Кильдибекова (Уфа), Ю. И. Щербаков (Мелекесс), А. Н. Карпов (Мозырь), О. Б. Сиротинина (Саратов), А. Ф. Кулагин (Ульяновск), С. И. Морозов (Балашов). Доклады К. П. Орлова (Астрахань) и А. П. Журавлева (Балашов) были посвящены классификации сложных предложений.

На секции стилистики было сделано 12 докладов. Г. Г. Полищук (Саратов) в докладе «Прилагательные в разных стилях речи» привела интересные наблюдения: коммуникативная избыточность прилагательных может быть показателем стиля. Так, в лирических произведениях прилагательные часто выполняют роль художественных определений, в сатирических произведениях прилагательные обычно подчеркивают контрастность, гиперболу, создают излишнюю детализацию, придавая лишь стилевую окраску и не влияя на смысловое содержание текста. В официально-деловых документах прилагательные обычно выступают в устойчивых сочетаниях. Трафаретность делает их привычными, и их большое количество (13—15%) определяет рисунок стиля. На секции были прослушаны также доклады И. М. Подгаецкой «Сочетания с однословными приложениями при выражении метафорических значений в поэзии В. В. Маяковского», М. П. Демидовой «Синтаксические средства выражения сравнения в поэзии М. Ю. Лермонтова», Н. С. Кононовой (Саратов) «Речевая архаика на службе сатиры», А. С. Сычева (Пенза) «К вопросу о количественной и качественной характеристике словаря районной газеты», М. Д. Мишаевой (Ульяновск) «О характере экспрессивного взаимодействия лексических и синтаксических факторов в публицистике В. И. Ленина», М. Г. Свотиной (Балашов) «Подчинительные союзы в присоединительном употреблении в критических статьях Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова» и др.

На секции истории русского языка и диалектологии было прослушано и обсуждено 11 докладов. Большинство докладов были посвящены вопросам словообразования: Н. К. Жученко (Саратов) «Приставки *пре-* (*пере*), *при-* в исторических и деловых памятниках древнерусского языка»; И. Н. Бондарь (Саратов) «О глаголах говорения в древнерусском языке»; С. В. Фролова (Куйбышев) «Притяжательные прилагательные типа *олъжинъ — ольинъ, лучинъ — луцинъ* в древнерусском языке»; В. Б. Духанина (Оренбург) «Особенности упот-

ребления степеней сравнения в XVII в.»; В. Я. Ильин (Саратов) «Префиксальные глаголы в основных диалектных группах русского языка»; А. Л. Шибаева (Уральск) «Словообразование имен существительных в диалектах бывших уральских казаков»; Н. А. Паковская (Балашов) «О материалах морфологической аналогии в говорах Свердловской области».

В докладе В. Е. Гольдина (Саратов) была сделана удачная попытка обоснования одного из принципов классификации диалектной лексики. В докладе В. Ф. Барашкова (Ульяновск) получил освещение вопрос об особенностях усвоения русского языка нерусским населением. Доклад Г. Г. Оксмана (Саратов) показал наличие сложных явлений вокализма в первом предударном слоге после шипящих в южнорусских говорах.

На специальном заседании были обсуждены план и принципы работы над «Атласом говоров Среднего и Нижнего Поволжья». Была также рассмотрена и одобрена новая программа по диалектологии, представленная кафедрой русского языка Куйбышевского пед. ин-та (ред. проф. В. А. Малаховский).

На секции методики русского языка было сделано 13 докладов.

Конференция приняла резолюцию, определяющую очередные задачи, стоящие перед кафедрами русского языка зонального объединения Среднего и Нижнего Поволжья. Материалы конференции будут опубликованы в виде сборников.

З. А. Потиха (Волгоград)

*

Отделением философии и права и Отделением литературы и языка АН СССР была организована научная дискуссия по проблеме «Язык и мышление», которая проводилась с 26 по 29 мая 1965 г. Для обсуждения на этой дискуссии было представлено 36 докладов и сообщений *. На семи заседаниях присутствовало около 400 представителей многочисленных научных учреждений и высших учебных заведений нашей страны. При обсуждении докладов и сообщений выступило 18 человек.

Открывая дискуссию, директор Института языкознания АН СССР чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин подчеркнул актуальность проблемы «Язык и мышление», необходимость исследования ее различных аспектов, недостаточность односторонне (например, чисто формализованного) подхода как к языку, так и к мышлению, недопустимость разрыва языка и мышления или их отождествления.

В докладе И. И. Мещанинова (Ленинград) «Язык и мышление» отмечается определяющая роль трудовой деятельности человека в формировании и развитии языка и мышления и установлении связи между ними. Каждый язык, указывает автор доклада, при его длительном социальном использовании вырабатывает свои структуры, но они устанавливаются в нем не самостоятельно, а в зависимости от действующих законов мышления. Логические категории ложатся в основу синтаксического построения предложения, но непосредственно не отождествляясь с грамматическим оформлением его членов.

В докладе А. Г. Спиркина (Москва) «Социально-историческая сущность языка и мышления» проблема языка, мышления и их взаимной связи характеризуется как кардинальная проблема философии, социологии, языкознания, психологии, физиологии высшей нервной деятельности и кибернетики. Язык есть средство общения и орудие человеческого мышления. В этих социальных функциях и заключена его сущность. Степень применения методов формализации, математики и кибернетики в изучении языка определяется мерой допустимости чисто формальной, количественной характеристики языковых явлений, абстрагирования от их качественного своеобразия. Несмотря на примат мышления над языком, конкретная языковая структура оказывает влияние на структурные особенности мышления. В докладе подвергаются критике идеалистические и механистические концепции языка и мышления, а также упрощенческие положения И. В. Сталина по вопросам мышления и языка. В докладе также отмечаются позитивные и ошибочные моменты в воззрениях Н. Я. Марра на мышление и язык.

М. Н. Алексеев (Москва) в сообщении «О двух подходах к проблеме „Мышление и язык“» указывает на возможность двух путей изучения языка и мышления. При первом подходе язык и мышление первоначально рассматриваются обособленно как отдельные явления. Затем они сопоставляются: сначала выявляются их общие признаки, потом — различные. При последовательном использовании такого метода исследователь неизбежно приходит к признанию противоречий между языком и мышлением. Рассмотренный подход несостоятелен в самой своей основе, ибо в действительности язык и мышление не представляют разных, лишь внешне связанных между собой сущностей. В реальной действительности существует «язык —

* См.: «Тезисы докладов и сообщений на научной дискуссии по проблеме „Язык и мышление“», М., 1965.

мышление», определенное внутреннее единство, которое у греков обозначалось словом «логос». Поэтому при правильном подходе (это и есть второй подход) язык и мышление признаются лишь двумя сторонами, моментами одного целого.

В докладе, представленном А. С. Чикобава (Тбилиси), «К вопросу о взаимоотношении мышления и языка, сущности внутренней речи и роли коммуникации» отмечается, что сама постановка проблемы взаимоотношения языка и мышления возможна лишь в случае, если признается факт существования мышления как специфического психического явления, которое не может идентифицироваться ни с физиологическим процессом, ни с внутренней речью, ни с «формой действия». Язык — и средство общения, и орудие мысли. Язык — система знаков, функционирующих в качестве средства коммуникации и инструмента мысли. Научный подход к языку требует изучать язык в его отношении к культуре и ее истории, а также в его отношении к мысли и ее истории. Все приемы исследования языка (в том числе и такие, как математические и структурные) в конечном счете оправдывают себя (в части не прикладной) постольку, поскольку выявляют закономерности языка в этих двух направлениях.

Н. С. Мансуров (Москва) в сообщении «О мышлении с точки зрения общественной психологии» констатирует факт использования термина «мышление» для выражения двух объективно различных явлений: процесса мышления, физиологического по своей материальной основе, и результата этого процесса, состоящего из последовательного ряда результатов мыслительной деятельности. Неразличение этих аспектов создает значительные трудности, их разграничение плодотворно для научного исследования. Так, «мышление» машины можно сравнить с мышлением человека только по результатам, но не с точки зрения процесса. Связь языка и мышления превращает мышление как процесс в общественное явление, протекающее по общим законам, мышление как результат — в общественно-исторический факт.

Доклад Д. П. Горского (Москва) «Проблема значения знаковых выражений как проблема их понимания, усвоения». В докладе делается попытка проанализировать на примере естественных языков понятие понимания в широком семиотическом смысле с помощью более или менее эффективных правил введения и исключения знаковых выражений. Эти правила и критерии понимания знаковых выражений формулируются по отношению к различным этапам понимания знаковых выражений: 1) этапу усвоения знаковых выражений остенсивным путем (с помощью наглядной демонстрации); 2) этапу усвоения знаковых выражений вербальным путем, не предполагающим систематического обучения; 3) этапу усвоения знаковых выражений в процессе обучения; 4) этапу понимания знаковых выражений в научном познании. Значение знакового выражения естественного языка есть его усвоение, понимание человеком, расширяющим свой язык за счет овладения уже существующим языком или в результате творческой деятельности. Критерии понимания знаковых выражений основываются на правилах введения и исключения знаковых выражений, сформулированных в докладе по отношению к различным уровням и этапам овладения языком.

В. С. Швырев (Москва) выступил с докладом «Неопозитивистская гносеология и проблема взаимоотношения языка и мышления». В докладе констатируется бурный прогресс математизации и формализации научного знания в современную эпоху, при котором объектом логико-методологического исследования выступают формы выражения научного знания. Исследование различных форм и способов выражения научного знания идет по линии изучения «языка науки». Тот факт, что объектом логико-методологического исследования становятся языковые формы, лишь подтверждает марксистское положение о языке как непосредственной действительности мысли. Однако в определенных пределах формально-логический анализ может отвлечься от мышления как психической деятельности и рассматривать логический процесс лишь как формирование и преобразование языковых построений по установленным правилам. Забвение пределов этой абстракции приводит к ошибкам неопозитивистской гносеологии.

В докладе «Логика и грамматика», представленном В. З. Панфиловым (Москва), вопрос о соотношении языка и мышления рассматривается с учетом как коммуникативной, так и экспрессивной функций языка. Содержательная сторона мышления, по утверждению автора, тождественна содержательной стороне речи, но отличается от значения языковых единиц, употребляемых в процессе речи. Большинству конкретных единиц мышления не соответствуют какие-либо конкретные языковые единицы, так как конкретные словосочетания и конкретные предложения являются принадлежностью речи, а не языка. Только слова с их значениями принадлежат языку. Центральное место в докладе занял вопрос о соотношении основных типов языковых единиц и форм мышления. Докладчик высказывает положение о том, что предложение имеет два структурных уровня — синтаксический (соответственно его делению на члены предложения) и логико-грамматический (соответственно его членению на логико-грамматиче-

ские субъект и предикат). Второй вид членения предложения производится в соответствии с расчленением выражаемой мысли. Предложение в его отличии от других языковых единиц выделяется только по признакам логико-грамматического уровня.

В сообщении И. Ф. Вардуль (Москва) «Об актуальном синтаксисе» утверждается, что в языке существует два синтаксических уровня и соответственно две синтаксические единицы — предложение и сообщение. Уровень, образуемый «формально-грамматическим» членением (на члены предложения), предлагается назвать потенциально-синтаксическим; уровень, образуемый «актуальным членением», — актуально-синтаксическим, а соответствующие отделы грамматики — потенциальным синтаксисом и актуальным синтаксисом.

В сообщении П. В. Чесноокова (Таганрог) «Взаимосоответствия формальных типов языковых и логических построений» слово выделяется в плане внутреннего строя единиц наряду с фонемой, морфемой и языковой конструкцией (любым сочетанием грамматически связанных слов). В сфере мышления к аналогичному плану относятся концепт (минимальная, нерасчлененная мысль, соответствующая слову) и логическая конструкция (любое сочетание концептов). Понятие выделяется в плане внешнего отношения непредикативных единиц наряду с релятой и комбинантой. Понятие отражает предмет как самостоятельный объект, не раскрывая его отношения к другим объектам («человек», «космический корабль»), релята отражает лишь отношение как некоторый несамостоятельный факт («из», «для»), комбинанта объединяет то и другое («быстро» значит «с быстротой»). В языке эти формы выражаются соответственно номинативной, релятивной и комбинаторной единицами. Предложение и суждение выделяются в одном формальном плане. Но предложение связано с более высоким уровнем обобщения, ибо характеризуется любой соотнесенностью содержания с действительностью. Ему соответствует логема, объединяющая вопрос, побуждение и суждение. Последнее характеризуется лишь определенным видом отнесения содержания к действительности. Сложному синтаксическому целому эквивалентна логическая цепь. Для умозаключения нет соответствующих формальных построений в языке, так как умозаключение выражается в основном за счет субстанциальных (лексических) средств.

Автор доклада «К проблеме соотношения значения и понятия» С. Д. Кацнельсон (Ленинград) не разделяет попыток ликвидировать языковое значение под видом его замены валентностью, или соотнесением звукорядов с предметами, или отношением языковых единиц к ситуации. Значение слова, в интерпретации С. Д. Кацнельсона, — это прочное минимальное знание о предмете, которое связано со словом, которое необходимо для употребления слова, которое более или менее нивелировано у различных людей. С психологической стороны значение слова тождественно формальному понятию. Последнее не следует смешивать с содержательным понятием, представляющим собой более или менее полное знание о предмете, которое может быть различным у разных людей. Однако значение слова в то же время и не совпадает с формальным понятием.

Проблема языкового значения рассматривается также в сообщениях Е. М. Галкиной-Федорук, М. Б. Мачавариани (Тбилиси), Н. Г. Комлева (Москва), Э. В. Кузнецовой (Донецк), Д. И. Рамишвили (Тбилиси), В. Л. Архангельского (Ростов-на-Дону).

В сообщении, представленном В. С. Юрченко (Саратов), проводилась мысль о том, что наряду с предложением как языковой единицей необходимо выделять фразу, которая есть принадлежность речи, а не языка.

Отправным положением сообщения А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону) «Части речи и категории мышления» являлось утверждение о том, что система частей речи складывается в прямой зависимости от логической структуры мышления. В частях речи объединяются логические категории двух типов: 1) отражающие основные элементы действительности (предмет, движение, качество, количество и др.); 2) отражающие свойства познания (субстанция как носитель признака и признак).

В сообщениях В. И. Кодухова (Ленинград) и К. Г. Крушельницкой (Москва) центр тяжести переносится на грамматические значения. Сообщение К. Г. Крушельницкой было посвящено специфике грамматических значений в плане взаимоотношения языка и мышления. В. И. Кодухов в своем сообщении дал сопоставительный анализ грамматических значений и функций грамматических форм.

В докладе А. С. Мельничука (Киев) «О роли мышления в формировании структуры языка» отмечается, что соответствие между общими свойствами мышления и языковой структуры, по-видимому, не обусловлено влиянием общих свойств и законов мышления на структуру языка, а определилось природой обеих сторон в процессе их непрерывного взаимодействия. В процессе исторического развития общее воздействие мышления на языковую структуру усиливается, а обратное влияние структуры естест-

венного языка на мышление ослабевает.

В докладе Н. И. Жинкина (Москва) «О кодовых переходах во внутренней речи» доказывается существование особого кода внутренней речи. Опыты позволяют утверждать, что в большинстве случаев внутренняя речь осуществляется на субъективном коде в виде зрительных образов, схем и отрывочных неречевых движений. Этот код свободен от языковой избыточности, и поэтому внутренняя речь часто осуществляется моментально. Однако его формирование возможно только на основе натурального языка. При следовании друг за другом целого ряда предложений мы часто удерживаем в сознании содержание всех этих предложений, так как в противном случае понимание последующих предложений было бы невозможно. Такое удержание осуществляется с помощью средств внутренней речи.

В докладе М. М. Кольцовой (Ленинград) «Физиологическое изучение явлений обобщения и абстракции» был поставлен вопрос о физиологической сущности процессов обобщения и отвлечения и их взаимоотношения. Докладчик выделила три фазы в процессе превращения слова в сигнальный раздражитель: 1) слово действует как слабый компонент в комплексном раздражителе; 2) слово действует как сильный компонент в комплексном раздражителе; 3) слово приобретает значение самостоятельного условного сигнала (замещая теперь собой все непосредственные компоненты раздражения). На третьей ступени имеет место первое проявление обобщающей функции слова: сходные комплексные раздражители, замещаемые словом, все же различаются между собой, следовательно, слово замещает целый ряд таких раздражителей. Производным от процесса обобщения является процесс отвлечения, состоящий в том, что слово приобретает способность вызывать определенный эффект независимо от других компонентов комплексного раздражителя.

В сообщении В. В. Бабайцевой (Мичуринск) обосновывалось положение о том, что в языке выражается взаимодействие между чувственной и абстрактной ступенями познания действительности.

В сообщении Ф. Н. Шемякина (Москва) «Язык и чувственное познание» в качестве исходного выдвигается положение о необходимости разграничить чувственное познание и повседневный опыт. Восприятие трехмерного пространства осуществляется на основе чувственной системы отсчета нашего тела («вверх — вниз», «вперед — назад», «направо — налево»). Эта система отсчета не зависит от повседневного опыта, но на ней основана система названий пространственных отношений во всех языках. Связь восприятия пространства с передвижением отражается в совпадении названий для пространственных и временных отношений. Ф. Н. Шемякин остановился также на вопросе об отражении в языке цветовых и звуковых ощущений.

Л. Б. Баженов и Б. В. Бирюков (Москва) в своем сообщении поставили задачу показать значение результатов, полученных в семиотике, и применяемых в ней методов исследования для анализа философского аспекта проблемы отношения языка и мышления. Знак — любая материальная вещь, несущая информацию о чем-то, что непосредственно с ней не связано. У словесных знаков значение неотделимо от знака. У несловесных знаков значение обладает автономностью, оно задается с помощью других знаков. Совокупность словесных знаков и их значений незамкнута и может пополняться. Ведущим аспектом значения является предметная отнесенность словесного знака, которая в абстракции бинарна, хотя, разумеется, предполагает человека, язык, общество и другие условия. Отражение — это изоморфность знаков и их сочетаний с вещами и их отношениями.

А. Ф. Демьяненко (Киев) в сообщении «О методологических направлениях и основах семиотики» отмечает, что семиотика не может рассматриваться как «наука наук». В роли объекта семиотики выступают и естественные объекты (объекты наук), и сами науки как своеобразные системы. Следует различать «естественную» семиотику, изучающую знаки живой речи, различные явления, вовлекаемые в качестве знаков в коммуникацию — слуховую и оптическую, и «абстрактную» семиотику, изучающую неинтерпретированные знаки (логический, математический и иные знаки). Такое разделение общей семиотики дает возможность провести более четкую методологическую грань между различными семиотическими направлениями.

В сообщении Б. С. Грязнова и Ю. А. Петрова (Москва) «Гносеологическая роль формализованных языков» говорится, что алгоритмическое построение формализованного языка предполагает его символический характер. С символами можно оперировать как с материальными объектами. Это дает возможность использовать формализованный язык в качестве модели самых различных объектов исследования и передоверить решение познавательных задач машине, поскольку само решение превращается в операцию над символами. Метод формализованных языков позволяет глубже проникнуть в сущность исследуемых объектов, более корректно сформулировать ряд задач, не поддававшихся ранее решению, и на этой основе дать их точное решение. Вместе с тем сами же средства формализованного языка позволили об-

наружить и ограниченность его возможностей.

В. А. Смирнов (Москва) выступил с сообщением «Искусственные языки как средство изучения мышления». Соотношение между лингвистической и логической структурами в разговорных языках сложно и неоднозначно. Некоторые искусственные языки строятся таким образом, что в них внешняя форма точно воспроизводит логическую форму. Поэтому конструкция и изучение подобного рода систем является хорошим средством для изучения способов мышления. Искусственные языки в символической логике строились прежде всего с учетом возможности формализации логической дедукции. В настоящее время начаты поисковые работы в построении языковых систем, в которых могли бы быть описаны процессы эвристического рассуждения, поиска доказательства и других видов логической деятельности.

Сообщение В. И. Полушкина (Москва) — «К вопросу об определении информации». В последнее время имеются попытки описать мышление в терминах кибернетики, основным из которых является термин «информация». Такие описания опираются на идею единства мышления и языка. Информация — это объективное содержание связи между взаимодействующими материальными объектами, проявляющееся в изменении состояний этих объектов. В зависимости от степени организации приемника информации последняя выступает в трех видах: элементарная, биологическая и семантическая. Семантическая информация по характеру целенаправленности может быть подразделена на научную, производственную и т. д.

Ю. С. Маслов (Ленинград) представил сообщение «Какие языковые единицы целесообразно считать знаками?» Коммуникативный знак, по его определению, — это всякий преднамеренно воспроизводимый материальный факт (включая и материальный нуль), рассчитанный на чье-то восприятие и предназначенный служить средством передачи информации о чем-то, находящемся вне этого факта. Основными типами знаков являются знаки-информаторы, непосредственно несущие информационную нагрузку, и знаки-дистинкторы, представляющие лишь строительный материал для первых и служащие для их различения. В языке знаками-дистинкторами являются дифференциальные признаки фонем, фонемы и некоторые просодические и другие суперсегментные особенности. Знаками-информаторами следует признать морфемы, «супрасегментные морфемы» дескриптивистов, разного рода устойчивые объединения морфем (например, производные основы), слова, устойчивые сочетания слов. Не являются знаками в силу их незакрепленности в языке свободные сочетания слов, окказиональные слова типа *двадцатишестиметровый*, «инкорпорированные комплексы» и громадное большинство предложений.

В сообщении Н. А. Слюсаревой (Москва) делается попытка раскрыть понятие знаковой ситуации. Знаковая ситуация, по ее мнению, — это идеальный, т. е. имеющий место в сознании людей, противочлен процесса общения, с которым он неразрывно связан. Компонентами знаковой ситуации являются смысл и знак. Будучи идеальным явлением, знак обладает материальным противочленом — материальной формой (для слова это его звуковой состав). Знак выступает как единство двух сторон — материальной и идеальной. Идеальная сторона в свою очередь есть единство образа материальной формы и значения. Значение знака непосредственно соотносится со смыслом как вторым компонентом знаковой ситуации, но они не тождественны: смысл не зависит от системы языка, значение всегда связано с системой определенного языка.

В сообщении В. М. Павлова (Ленинград) «Философские основы неогумбольдтианского языкознания» отмечалось, что основу лингвистической концепции Л. Вейсгербера составляют философские взгляды В. Гумбольдта, что его концепция языка зиждется на идеях главенствующей роли субъективного фактора в познании, о самодеятельности духовного начала «языковой силы», о «языковом мировоззрении», своеобразном у каждого народа, которое опосредует все отношения человека к внешнему миру.

Сообщение Г. В. Колшанского (Москва) — «Принцип лингвистической дополнительности». Критикуя теорию лингвистической относительности Уорфа и Вейсгербера, Г. В. Колшанский отметил, что в ее основе лежит методическая ошибка сопоставления изолированных единиц разных языков и методологическая ошибка оценки языков в их формальной части, отождествляемой с семантикой, как фактора, определяющего систему восприятия мира человеком. Способы обозначения предметов еще не определяют образа предметов в мышлении. Каждое отдельное слово передает своим значением какую-либо одну группу признаков вещи из бесчисленного количества ее признаков, но мощность лексико-грамматической системы любого языка в целом достаточна, чтобы путем различных сочетаний и грамматических конструкций передать все доступное человеку на данной ступени развития богатство знаний о мире. Необходим подход к языку, базирующийся на понятии системы языка. Он может быть сформулирован как принцип лингвистической дополнительности.

В сообщении И. И. Короткиной и М. И. Сусловой (Ленинград) «О некоторых особенностях реакций сигнальных систем на речевые воздействия в бодрствующем и гипнотическом состояниях» рассматриваются особенности образования условных рефлексов (положительных и тормозных) на словесные раздражители. Первоначально наблюдается генерализация на любое слово вне зависимости от его смыслового значения. После образования дифференцировки на смысловое значение слова наступает избирательное обобщение раздражителей по смысловому содержанию. Образование условных рефлексов на неизвестные по смыслу слова и их генерализация протекает так же, как и на несловесные раздражители. В гипнотическом состоянии имеет место облегченная общая иррадиация и ухудшение избирательной иррадиации по смысловому значению словесных раздражителей.

После докладов и сообщений были развернуты прения.

Г. П. Мельников (Москва) отметил, что проблема языка и мышления в настоящее время приобретает практическое значение в связи с развитием кибернетических методов. Уже существуют кибернетические устройства, которые, получив общую задачу, могут составлять и корректировать программу сами. Очень важной становится задача обмена информацией между машинами. Автор пытается дать определение мышлению и языку с кибернетической точки зрения. Мышление определяется как динамическая прогнозирующая модель внешнего мира. Язык — посредник между структурой одного и структурой другого сознания.

А. Д. Наседкин (Оренбург) говорил о необходимости выделять у языковых единиц, кроме функции наименования, функцию описания. В предложении *Иванов — комсомолец и рационализатор* все слова имеют функцию наименования, но единицы *комсомолец* и *рационализатор* выступают также в функции описания, так как относят свое содержание к отдельной стороне предмета мысли. Объединение двух указанных функций порождает функцию изображения (содержание предмета частично раскрывается). Если функции описания и наименования получают направленность от говорящего к слушающему возникает функция коммуникации.

Г. П. Щедровицкий (Москва) поддержал ту точку зрения, согласно которой язык и мышление — это не два объекта исследования, а один объект (речевое мышление). Абстракции «язык» и «мышление» не разделяют этот объект на части, а как бы снимают с него разные проекции: язык получается при одном повороте этого объекта, а мышление — при другом повороте.

С. Н. Зыков подчеркнул важность решения проблемы языка и мышления для осуществления многих практических целей, в частности для выработки правильной методики обучения глухонемых языку, он также обосновал целесообразность наблюдений за развитием речи и мышления у глухонемых при исследовании проблемы языка и мышления.

Т. П. Ломтев (Москва) высказал ряд соображений в связи с докладом С. Д. Кацнельсона. Последний выделил формальное и содержательное знание о предмете, не указав четко их критериев. Первое знание он признал языковым значением. Чтобы выделить объект, нужно взять его во множестве и указать его дифференциальные признаки (семантические элементы). Эти элементы выявляются с помощью особой операции разбиения множества объектов. Для лингвиста достаточно знать лишь отличительные признаки вещи. Эти признаки и составляют значение слова. Понятие же отражает все существенные признаки предмета. В отдельных случаях набор дифференциальных признаков может совпасть с понятием.

Э. Б. Магазаник считает, что категория имени собственного имеет два тесно связанных аспекта: с одной стороны, это одна из самых абстрактных категорий, с другой — одна из самых конкретных. Все зависит от характера употребления слова (для выражения единичного понятия или общего опустошенного понятия).

Н. З. Котелова (Ленинград) подчеркнула важность изучения вопроса об актуальном членении предложения в плане соотношения языка и мышления. Она поддерживает в общем взгляды В. З. Панфилова по этому вопросу, высказанные им в докладе и в ряде других работ. Признается, что актуальное членение может помочь при отграничении фразеологических сочетаний от слов свободных, поскольку фразеологическое сочетание не может делиться на части со стороны актуального членения.

В выступлении К. К. Кошевого отстаивается точка зрения на язык, согласно которой последний является отражением объективной действительности.

П. С. Кузнецов (Москва) в связи с докладом А. Г. Спиркина акцентировал необходимость критического отношения к наследию Н. Я. Марра, а также указал на то, что проблема взаимоотношения языка и мышления является значительно более сложной, чем это представляется некоторым исследователям.

Выступление В. В. Сенкевич-Гудковой (Петрозаводск) посвящено проблеме звукоизобразительных слов.

В. В. Левицкий (Черновцы), отмечая большой интерес, вызванный докладом Н. И. Жинкина о кодовых перехо-

дах во внутренней речи, стремился подойти к этой же проблеме с точки зрения деления мышления на механическое, образное и понятийное. Из них вербальным является лишь третий тип мышления.

Г. М. Керт (Петрозаводск) остановился на соотношении логических и грамматических категорий, логического членения мысли и грамматического членения предложения и на некоторых других вопросах.

М. Б. Мачавариани признала правильным положение о том, что язык и мышление образуют одно целое, выступая лишь как разные стороны этого целого. Но вместе с тем она отметила, что для детального изучения, в целях моделирования первоначально нужно брать каждую сторону абстрагированно от другой.

Н. А. Сыромятников (Москва) выступил против преувеличения А. Г. Спиркиным роли Н. Я. Марра в решении проблемы языка и мышления и других проблем языкознания. Он выдвинул также требование о том, чтобы лингвистические концепции строились на исследовании действительных фактов языка, а не на общих рассуждениях.

Г. А. Хабургаев (Москва) считает, что язык и мышление — это не абстракции, а реально существующие явления. Допускается существование мышления вне связи с языком (например, у животных). В связи с рассмотрением проблемы языка и мышления предлагается различать четыре основных понятия: мышление, рассуждение, язык и речь, т. е. делается попытка разграничить в мыслительной сфере две стороны соответственно языку и речи.

Г. В. Рамишвили говорил о влиянии языка на сознание, о его роли в сегментации нашего опыта.

В прениях приняли участие также Б. Г. Миркин и В. А. Головин.

В конце дискуссии некоторые из докладчиков выступили с заключительным словом. Н. И. Жинкин остановился на вопросе об изобразительных компонентах речевой деятельности, рассматривая их как результат переработки представлений с помощью слов.

Д. П. Горский сосредоточил внимание на значении формализации в области языка. С. Д. Кацнельсон подчеркнул необходимость более четкого разграничения различных точек зрения, дальнейшего развития творческой дискуссии, объединения усилий многих специалистов для решения проблемы языка и мышления. А. Г. Спиркин затронул проблему социальности языка и мышления.

Дискуссия в известной мере показала состояние исследовательской работы, проводимой представителями различных наук по проблеме «Язык и мышление» и выявила основные направления дальнейших исследований. На заключительном заседании было принято решение опубликовать материалы дискуссии и провести через два года дискуссию или симпозиум по более ограниченному кругу вопросов этой проблемы.

П. В. Чесноков (Таганрог)

*

С 10 по 13 июня 1955 г. в Нью-Йорке состоялось совещание по диалектологии еврейского языка (идиш), созванное Еврейским научным институтом и Атласом языка и культуры ашкеназийского еврейства при Колумбийском университете. В конференции приняли участие молодые ученые — сотрудники Атласа, наряду с языковедами старшего поколения как из США, так и из Европы.

Ряд докладов был посвящен особым диалектным районам еврейского языка. У. Вайнрайх (Нью-Йорк), руководитель Атласа, в докладе «Географический строй белорусского идиш» представил контуры распространения еврейского языка на территории нынешней БССР как результат трех процессов, протекавших с середины XVIII в.: влияний с юга, излучений с юго-запада, и местного раздробления под влиянием сосуществующих на той же территории белорусских диалектов. М. И. Херцог (Нью-Йорк), заместитель руководителя Атласа, прочел доклад «Идиш на Украине: изоглоссы и исторические выводы». Докладчик выдвинул тезис, что много черт украинского идиш, переходных между «литовскими» и «польскими» диалектами, появилось на промежуточной территории Полесья еще до еврейского заселения Украины. В связи с этим в докладе была представлена детальная схема относительной хронологии всех главных фонологических новшеств восточноевропейских идиш. Ш. Нобл (Нью-Йорк) в докладе «Дифференциация диалектов в одном пункте» охарактеризовал фонетические различия в разговорном идиш и в произношении древнееврейской литургии в г. Санок (Польша). Сохранение этих различий, соответствующих разным временным стадиям в развитии идиш, объясняется, по мнению докладчика, расщеплением галицийского еврейства на разные хасидские толки. Ю. Марк (Нью-Йорк) в докладе «Идиш в Литве» привел образцы трех литовско-еврейских поддиалектов, сопоставляя свои собственные наблюдения 20—30-х годов с предварительными результатами опроса для нового Атласа.

Значительная часть совещания была посвящена западному идиш. Ф. Гуггенхайм-Грюнберг (Цюрих) со-

общила о своей собирательной работе среди сельских евреев Швейцарии и юго-западной Германии. Автор продемонстрировала магнитофонную запись нескольких разговоров. По выводам Р. Цукермана (Нью-Йорк), проведшего две экспедиции в Эльзасе, современный эльзасский идиш в основном сходится с немецкими диалектами Эльзаса в морфологическом плане, но отличается от них как в фонологии, так и в лексике. Это различие наблюдается даже в Страсбурге, где языки евреев и христиан вообще наиболее близки друг к другу. В докладе «Теоретические и практические проблемы в западноевропейской диалектологии» М. Хуттерер (Будапешт) указал, что в условиях Венгрии, где старый западный идиш вытесняется центральным еврейским диалектом Закарпатской Украины и городским немецким языком, необходимо уделить внимание не только географическому, но и социальному измерению диалектных явлений. С. Левенштейн (Нью-Йорк) дал отчет о «Результатах опросов немецких евреев для Атласа». Оказывается, что, вопреки ожиданиям многих ученых, ответы эмигрантов из Германии, Австрии и Голландии на анкеты, сосредоточивающиеся на темах религиозной жизни и фольклора, до сих пор дают возможность восстановить ареалы еврейских диалектов, область употребления которых сузилась уже в XIX в. На картах, сопровождавших этот доклад, западный идиш представлен не просто как механическая «приставка слева» к обыкновенным еврейским диалектологическим картам, но как неотъемлемая часть давнишней языковой территории, охватывающей почти всю Европу. Так, например, некоторые реликтные ареалы, связывающие Голландию с Литвой — Белоруссией, контрастируют с более новыми ареалами Чехии — Польши — Украины.

Четыре доклада были посвящены общим вопросам. М. Л. Вольф (Нью-Йорк) обсудил «Региональные колебания в грамматике еврейского существительного». По указаниям докладчика совпадение косвенных падежей жен. рода ед. числа распространялось в идиш из двух фокусов — польского и литовского. На северо-востоке, однако, этот процесс связан с упрощением падежной системы вообще (т. е. охватывает даже личные местоимения) и с глубокой перестройкой системы грамматического рода. Ю. Грин (Нью-Йорк) в докладе «Акцентные контрасты в славянском компоненте еврейского языка» указал на то, что славянские лексические заимствования не всегда сохранили свое ударение в идиш. В своем докладе М. Шехтер (Нью-Йорк) указал, что при создании новой литературной нормы еврейского языка в XIX в. большое внимание, особенно в области грамматики, имели формы немецкого языка. Открытие этого влияния новонемецкого языка, которое можно доказать как современными высказываниями писателей, так и фактами, зафиксированными в новом Атласе, вносит равновесие в понимание развития еврейского литературного языка, где принято было подчеркивать лишь стремление оторваться от немецких норм.

Э. Станкевич (Чикаго) начертал программу исследования еврейских антропонимов. По мнению докладчика, пора отказаться от исключительно этимологического подхода к собственным именам и проанализировать их варьирование в пределах современного языка.

Группа докладов была посвящена методологическим вопросам, которых касались, между прочим, в вышеупомянутых выступлениях Ю. Марк и М. Хуттерер. В. Равид (Нью-Йорк) сообщила о своей работе над подготовкой предварительных карт для атласа. Докладчица остановилась на трудностях определения числа говорящих по-еврейски по данным переписи разных государств. Совещание также выслушало сообщение о работе Л. Вилепкина над «Атласом еврейского языка СССР» (Минск, 1931). У. Вайнрайх дал обзор собирательной работы для Нью-Йоркского атласа, которая должна завершиться в 1967 г. Докладчик сообщил об опытах использования быстродействующего электронного вычислителя в классификации огромного материала и особенно в автоматической обработке карт, изображающих корреляции любых диалектных черт в их пространственном расположении.

У. Вайнрайх (Нью-Йорк)

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Орфография собственных имен. [Ин-т русского яз. АН СССР].— М., 1965, 48 стр.

Новости ЮНЕСКО. Информационный бюллетень.— 1965. 2. 22 стр.

В. П. Григорьев. Словарь языка русской советской поэзии — М., 1965. 224 стр.

Б. А. Успенский. Структурная типология языков.— М., 1965. 286 стр.

М. В. Федорова. Лексико-грамматические очерки по истории русских местоимений.— Воронеж, 1965. 202 стр.

М. П. Івченко. Сучасна українська літературна мова.— Київ, 1965. 504 стр.

Glurmime albanologjike. E përkohshme shkencore e Katedrës Albanologjike të Fakultetit Filozofik të Prishtinës. 2.— Prishtinë, 1965. 354 стр.

Beiträge zur Geschichte der Slawistik.— Berlin, 1964. 529 стр.

Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung W. Steinitz zum 60. Geburtstag am 28. Februar 1965 dargebracht. — Berlin, 1965. 454 стр.

Československa rusistika. X, 3.— 1965. Стр. 129—192.

Istoria limbii Române, I.— Limba latină.— Bucureşti, 1965. 437 стр.

Język polski. XLV, 2.— 1965. Стр. 65—128.

Leipziger Beiträge zur slawischen Sprachwissenschaft. [Отд. отт. из «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig». Gesellschafts-und Sprachwissenschaftliche Reihe. 14 Jg. (1965). 1.].

Revue roumaine des sciences sociales.—Psychologie — VIII, 2, 1964, Стр. 117—254.

Slavia orientalis. XIV, 2.— 1965 Стр. 143—272.

Slovo a slovesnost. XXVI. 3.— 1965. Стр. 213—304.

Studii clasice. VII.— 1965. 500 стр.

Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 5.— Warszawa, 1965. 464 стр

Zpravodaj místopisné komise ČSAV, VI, 2.— 1965, Стр. 59—126.

E. Eichler. Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neisse.— Berlin, 1965. 332 стр.

M. I. Herzog. The Jiddish language in Northern Poland: its geography and history.— Bloomington — The Hague, 1965. 323 стр.

H. Jaksche. Slavische Akzentuation, II — Slovenisch.— Wiesbaden, 1965. 131 стр.

E. Richter. Grundlagen der Phonetik des Lchasa-Dialektes.— Berlin, 1964. 271 стр.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1965 г. (№№ 1—6)

СТАТЬИ

Бромлей С. В.— Принципы классификации глагола в современном русском языке . . . 5

Жирмунский В. М. — Общие тенденции фонетического развития германских языков . . . 1

Макаев Э. А.— Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания . . . 4

Макаев Э. А.— Структура и стратиграфия общегерманской лексики 5

Матвеев А. К — Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики . . . 6

Мошинский Л.— К фонологии просодических элементов в славянских языках . . . 2

Роспонд С.— Структура и классификация древневосточнославянских антропонимов (имена) . . . 3

Серебренников Б. А.— О некоторых приемах восстановления архаических черт грамматического строя языков . . . 4

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И — Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке . . . 3

Апресян Ю. Д.— Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам (типам управления) . . . 5

Барсова О. М.— Основные проблемы трансформационного синтаксиса . . . 4

Бондарко А. В.— Об относительном и абсолютном употреблении времен в русском языке (в связи с вопросом о «темпоральности») . . . 6

Гумецкая Л. Л.— Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода . . . 2

Десницкая А. В.— Древние германо-албанские языковые связи в свете проблем индоевропейской ареальной лингвистики . . . 6

Журавлев В. К. — Генезис протезов в славянских языках . . . 4

Коротков Н., Панфилов В. З.— О типологии грамматических категорий . . . 1

Котелова Н. З.— О применении объективных и точных критериев описания сочетаемости слов . . . 4

Лайтнер Т. М.— О циклических правилах в русском спряжении 2

Лосев А. Ф.— О методах изложения математической лингвистики для лингвистов . . . 5

Лыткин В. И.— Еще к вопросу о происхождении русского аканья 4

Падучева Е. В.— О понятии конфигурации . . . 1

Поспелов Е. М.— О балтийской гипотезе в севернорусской топонимике . . . 2

Ревзин И. И. — Структурная лингвистика и единство языкознания 3

Рождественский Ю. В. — О современном строении языкознания . . . 3

Семенюк Н. Н.— Некоторые вопросы изучения вариантности . . . 1

Фалькович М. М.— К вопросу о понятийной стороне слова . . . 6

Филин Ф. П.— Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания . . . 2

Хабургаев Г. А.— О фонологических условиях развития русского аканья . . . 6

Хамм Й.— Некоторые замечания к диахроническим исследованиям 1
Шаумян С. К.— Теория трансформаций 6
Шаумян С. К., Соболева П. А.— Аппликативная порождающая модель и формализация грамматической синонимии 5
Щербак А. М.— Лингвистические заметки 6
Юлдашев А. А.— К проблеме аналитизма в тюркских языках 2

Обсуждение вопросов русской орфографии

Григорьев В. П.— Обсуждение «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» 1

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Бахман К. И.— К проблеме соотношения стихийных и целенаправленных процессов в развитии языка 3
Благова Г. Ф.— Значение данных современной узбекской диалектологии для изучения староузбекского письменного языка 1
Бромлей С. В., Булатова Л. Н.— Об эталоне сопоставительного описания морфологии русских говоров 4
Гаспаров М. Л.— Вольный хорей и вольный ямб Маяковского . . . 3
Горнунг Б. В.— О природе синонимии в языке и теоретических предпосылках составления синонимических словарей 5
Земская Е. А.— Заметки по современному русскому словообразованию 3
Иванчикова Е. А.— О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе 5
Касаткин Л. Л.— К истории задненебных фонем в русском языке . 2
Колмогоров А. Н.— Замечания по поводу анализа ритма «Стихов о советском паспорте» Маяковского 3
Кононов А. Н.— Опыт реконструкции тюркского деепричастия на -(⁰) *п*, -(⁰) *б*, -(*j*)⁰ *б*, - (⁰) *пан*, -(⁰) *бан*, -(⁰) *баны*, (⁰) *баныц* (*н*) (Материалы к сравнительно-исторической грамматике тюркских языков) 5
Копыленко М. М.— К экспериментальному изучению сочетаемости лексем 2
Крейнович Е. А.— О прерывных глагольных основах в кетском языке 3
Кумахов М. А.— Дистрибутивный анализ полисинтетического комплекса 5
Ломтев Т. П.— Об одной возможности истолкования фонологического развития 3
Маковский М. М.— Пути анализа лексических реликтов и инноваций при установлении изоглосс 1
Маковский М. М.— Теория лексической аттракции 6
Мельчук И. А.— О фонологической трактовке «полугласных» в испанском языке 4
Москович В. А.— Опыт квантитативной типологии семантического поля 4
Прокопович Е. Н.— Глагольно-междометные формы в русском литературном языке XIX в. 1
Прокопович Н. Н.— Сложные предложения с приадъективной придаточной частью 6
Редькин В. А.— Об акцентных соотношениях имени и глагола в современном русском литературном языке 3
Соловьева А. К.— О некоторых общих вопросах диалога 6
Степанова З. П.— Ареал распространения глаголов на -ē- в индоевропейских языках 4
Широкова А. Г.— Основное значение многократных глаголов в чешском языке 2

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Абрахам С.— О принципиально возможных перспективах машинного перевода 2
Ахманова О. С., Никитина С. Е. — О некоторых лингвистических вопросах составления дескрипторных языков 6

Головин Б. Н. — Опыт вероятностно-статистического изучения некоторых явлений истории русского литературного языка XIX—XX вв. 3
Якобсон Р. О. — О латинизации международных телеграмм на русском языке 1

ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА

Боровков А. К. — К истории словаря «Мукаддимат ал-адаб» Замахшари 2

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Кибрик А. Е., Коваль А. И. — Вопросы прикладного языкознания в сборнике «Научно-техническая информация» 5
Костомаров В. Г., Шварцкопф Б. С. — Работы по вопросам культуры русской речи (1962—1965) 4
Хаймз Д. Х. — Общение как этнолингвистическая проблема 2

Рецензии

Бахтурина Р. В., Мельчук И. А. — *M. L. Alinei*. Dizionario inverso italiano 5
Вайнрайх У. — «Webster's Third new international dictionary» . . . 1
Виноградов В. А. — *H. Pilch*. Phonemtheorie, I. 5
Горшков А. И. — *В. Д. Левин*. Очерки стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика) 4
Григорьев В. И. — *B. Malmberg*. Structural linguistics and human communication 2
Журавлев В. К. — *M. Samilov*. The phoneme jat' in Slavic 1
Исаченко А. В. — Два пособия по исторической грамматике русского языка 4
Копыленко М. М. — «Проблемы фразеологии. Исследования и материалы» 5
Кубрякова Е. С. — *E. Bach*. An introduction to transformational grammars 3
Леман У. Ф. — «Сравнительная грамматика германских языков», I, II, III 6
Леонтьев А. А. — «Linguistics». 1—8, 1963—1964 2
Мачавариани Г. И. — «Основные направления структурализма». . 6
Мовсесян А. И. — *Г. Джаукян*. История языкознания 5
Николаева Т. М., Успенский Б. А. — О новых работах по паралингвистике 6
Починцов Г. Г. — *Z. S. Harris*. String analysis of sentence structure 1
Ревзин И. И. — *S. Marcus*. Gramatici şi automate finite 1
Сорбало В. С. — *Р. Я. Удлер*. Молдавские говоры Черновицкой области в сравнении с говорами Молдавской ССР, Закарпатской области УССР и других смежных областей дако-романского массива. Консонантизм 6
Удлер Р. Я. — *Н. Корлэтяну*. Студиу асупра системей лексикале молдовенешть дин аний 1870—1890 2
Фиялин Ф. П. — *В. М. Марков* К истории редуцированных гласных в русском языке 4
Шеворошкин В. В. — *R. Gusmani*. Lydisches Wörterbuch 2
Щербак А. М. — *A. F. Sjoberg*. Uzbek structural grammer 2
«Current trends in linguistics», I 3

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Пичурин Л. Ф. — К вопросу о применении математики в языкознании 4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Боргояков М. И. — Языкознание в Хакасском НИИ языка, литературы и истории 4
Хроникальные заметки . . . . . 1—6
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 1,4,5,6

CONTENTS

Articles: A. K. Matvejev (Sverdlovsk). Some problems of linguistic analysis of substrat toponymics; **Discussions:** A. M. Ščerbak (Lemngrad). Linguistic notes; A. V. Desnitskaja (Leningrad). Ancient Germanic-Albanian linguistic relations in the light of Indo-European areal linguistics; A. V. Bondarko (Leningrad). On the relative and absolute use of tenses in Russian (in connection with the «temporality» problem); G. A. Haburgajev (Moscow). On the phonological conditions for the development of Russian «akanje»; S. K. Saumjan (Moscow). The theory of transformations; M. M. Falkovič (Moscow). On the conceptual aspect of the word; **Materials and notes:** M. M. Makovskij (Moscow). The theory of lexical attraction; N. N. Prokopovič (Moscow). Complex sentences with the subordinate clause referring to the adjective; A. K. Solovjeva (Moscow). On some general problems of the dialogue; **Applied and mathematical linguistics:** O. S. Akhmanova, S. E. Nikitina (Moscow). Some linguistic problems of compiling descriptor-languages, **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: A. K. Matvejev (Sverdlovsk). Quelques problèmes d'analyse linguistique de toponymie substrate; **Discussions:** A. M. Ščerbak (Léningrad). Notes linguistiques; A. V. Desnitskaja (Léningrad). Anciennes relations linguistiques germaniques-albanaises au point de vue de linguistique aréale indo-européenne; A. V. Bondarko (Léningrad). Sur l'emploi absolu et relatif des temps en russe (en rapport avec le problème de temporalité); G. A. Haburgajev (Moscou). Conditions phonologiques pour le développement de «akanje» en russe; S. K. Saumjan (Moscou). Théorie de transformations; M. M. Falkovič (Moscou). Sur l'aspect conceptuel du mot; **Matériaux et notices:** M. M. Makovskij (Moscou). Théorie d'attraction lexicale; N. N. Prokopovič (Moscou). Propositions complexes avec la partie subordonnée se rapportant à l'adjectif; A. K. Solovjeva (Moscou). Quelques problèmes généraux de dialogue; **Linguistique appliquée et mathématique:** O. S. Akhmanova, S. E. Nikitina (Moscou). Problèmes linguistiques qu'il est nécessaire à resoudre pour la compilation des descripteurs linguisiques; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

SUBSCRIPTION FOR THIS JOURNAL IS ACCEPTED BY FIRMS DOING BUSINESS WITH V/O «MEŽDUNARODNAJA KNIGA»

Технический редактор *Г. П. Фролова*

Т.-14836	Подписано к печати 3/XI-1965 г.	Тираж 5540 экз.	Зак. 2969
Формат бумаги 70×108¹/₁₆	Печ. л. 14,5	Бум. л. 5	Уч.-изд. листов 15,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *П. С. Кузнецов, Э. А. Макаев, М. В. Панов, В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (отв. секретарь редакции), *О. Н. Трубачев*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55